Ле Карре Джон

Секретный пилигрим



Глава 1

Позвольте мне сразу признаться вам, что, если бы я тут же не взялся за перо и не нацарапал Джорджу Смайли записку, в которой пригласил его выступить перед моей выпускной группой на заключительном вечере подготовительного курса, и если бы Смайли, вопреки моим ожиданиям, не согласился, я не стал бы здесь изливать перед вами свою душу.

Самое большее, я предложил бы вам отредактированные воспоминания, которыми, честно говоря, намеревался угощать своих студентов: подвиги тайных рыцарей – ярких, находчивых и отважных. И всегда, конечно же, приносящих пользу. Я бы увлек вас воспоминаниями о забрасывании ночью наших агентов-парашютистов на Кавказ, рискованных переправах на быстроходных судах, высадках на пляж, мигании береговых огней, нелегальных радиопередачах, которые обрывались на полуслове. О безмолвных героях "холодной войны": сделав свое дело, они скромно растворялись в обществе, которое защищали. О перебежчиках, в самый последний момент выхваченных из лап противника.

Что ж, в общем-то так мы и живем. Мы занимались этим в наши времена, и некоторые из нас даже неплохо кончили. В плохих странах у нас были хорошие люди, которые рисковали ради нас своей жизнью. Обычно им верили, и иногда их разведданные разумно использовали. Надеюсь, что использовали, поскольку даже самый лучший в мире шпион не стоит ничего, если добытые им сведения не используются.

А ради развлечения, за второй порцией виски, я выбрал бы для них историю о том, как группа приема из Цирка в составе трех человек под моим храбрым руководством, действующая в Восточной Германии, лежала, замерзая, на скалах в горах Гарца, молясь, чтобы услышать шум самолета без опознавательных знаков и с выключенными двигателями и увидеть парящий за ним черный благословенный парашют. И что же мы обнаружили, когда молитвы наши были

услышаны и мы скатились по сплошному льду, чтобы забрать свое сокровище? Камни, скажу я своим ошалелым студентам. Глыбы благородного аргайллского гранита. Диспетчеры с нашей воздушной базы в Шотландии по ошибке послали нам тренировочный груз.

Даже если другие мои истории уже к середине обычно теряют своих слушателей, эта, по крайней мере, нашла некоторый отклик.

* * *

Подозреваю, что мой порыв написать Смайли созревал во мне дольше, чем я сам это сознавал. Идея возникла во время одного из моих регулярных визитов к Кадровику, чтобы обсудить достижения моих студентов. Заскочив в буфет для старших офицеров, чтобы выпить пива и съесть бутерброд, я наткнулся на Питера Гиллама. Питер был чем-то вроде Ватсона для Джорджа – Шерлока Холмса – в их долгих поисках предателя Цирка, которым оказался Билл Хейдон, начальник Оперативного отдела. Питер ничего не слышал о Джордже вот уже год, может, даже больше. Он сказал, что Джордж купил себе коттедж где-то в Северном Корнуолле и воплотил в жизнь свою ненависть к телефону. В колледже Эксетер [1] у него была просто синекура, а кроме того, ему разрешали пользоваться библиотекой. Остальное в картине, которую я нарисовал себе, было довольно печально: Джордж, отшельник на фоне пустынного пейзажа, обдумывает что-то во время своих одиноких прогулок. Джордж, прибившийся на склоне лет к Эксетеру в расчете на человеческое тепло и в ожидании занять свое место в пантеоне шпионов.

А его жена Энн? Я спросил у Питера, понизив голос, как это делал каждый, когда речь заходила об Энн, – ведь тайна, что Билл Хейдон был одним из ее многочисленных любовников, была всем известна и довольно тягостна.

Энн в своем репертуаре, сказал Питер, пожав плечами на французский манер. У нее оставалась какая-то семья и имения в устье Хелфорда. Иногда она жила там, иногда – с Джорджем.

Я попросил адрес Смайли. “Не говори ему, что адрес тебе дал я”, – предупредил Питер, пока я записывал. С Джорджем всегда так было: когда речь заходила о его местожительстве, каждый всегда почему-то чувствовал себя виноватым – и я до сих пор еще не знаю почему.

Три недели спустя в Сэррат явился Тоби Эстергази, чтобы выдать нам свою знаменитую лекцию об искусстве скрытого наблюдения на территории враждебного государства. И конечно же, он остался на обед, который еще более удался благодаря присутствию трех наших самых лучших девиц. После схватки, длившейся в течение всего моего пребывания в Сэррате, Кадровик в конце концов решил, что девочки все же не так уж плохи.

И я услышал собственный голос, называющий имя Смайли.

Были времена, когда я не пустил бы Тоби дальше дровяного сарая, а иногда благодарил Создателя за то, что Тоби был на моей стороне. Мне приятно отметить, что с годами привыкаешь к людям.

– О боже, Нед, послушай! – завопил Тоби на своем безнадежно венгерском-английском, приглаживая тщательно напомаженную гриву седых волос. – Ты хочешь сказать, что ничего не слышал?

– О чем? – терпеливо спросил я.

– Дорогой мой, Джордж возглавляет комитет по правам рыболовства. Разве тебе в этом захолустье ничего не сказали? Лучше, я думаю, мне сейчас же поговорить об этом с Шефом – с глазу на глаз. Когда буду в клубе, шепну ему пару слов.

– Может, ты сначала скажешь, что такое комитет по правам рыболовства? – предложил я.

– Знаешь что, Нед? Мне кажется, я начинаю волноваться. Может, они вообще вычеркнули тебя из допуска?

– Может быть, откуда мне знать? – сказал я.

В конце концов он мне все рассказал, в чем у меня не было никаких сомнений, а я должным образом изобразил сильное изумление, что еще больше возвеличило его в собственных глазах. А какая-то часть меня осталась в изумленном состоянии и по сей день. Комитет по защите прав рыболовства, объяснил Тоби во благо лишенных благословения, является неформальной рабочей группой, созданной из офицеров Московского центра и Цирка. Его работа, сказал Тоби, – и я действительно понял, что он утратил всякую способность удивляться, – заключается в том, чтобы определить интересующие обе службы цели разведки и обстоятельно прорабатывать способ участия.

– На самом деле, Нед, идея заключалась в том, чтобы выявить "горячие точки" земного шара, – сказал он с видом исступленного превосходства. – Думаю, сначала они остановятся на Ближнем Востоке. Только не выдавай меня, Нед, хорошо?

– И ты говоришь, что Смайли возглавляет этот комитет? – недоверчиво спросил я, пытаясь переварить эту информацию.

– Что же, может, уже и нет – все течет и тому подобное. Но русские с таким рвением стремились встретиться с ним, что мы привезли его сюда, чтобы разрезать ленточку. Доставьте удовольствие старику, говорю. Немного приласкайте. Да в придачу пачку пятерок в конверте.

Я не знал, чему больше дивиться – тому, что Тоби Эстергази шествует к алтарю с Московским центром, или тому, что Джордж Смайли присутствует при этом в качестве свадебного генерала. Через несколько дней, с разрешения Кадровика, я написал в Корнуолл по адресу, который дал мне Гиллам, и робко добавил, что если Джорджу публичные выступления не по душе хотя бы наполовину так, как мне, то он ни в коем случае не должен соглашаться. В то время я немного хандрил, но когда от него в ответ пришла официальная открыточка, где он сообщал, что чрезвычайно рад, то стажером почувствовал себя я да к тому же и очень разнервничался.

Две недели спустя в новом с иголочки костюме для загородных прогулок, специально надетом по такому случаю, я стоял у перронного барьера на Паддингтонском вокзале, наблюдая, как из видавших виды вагонов выгружаются пассажиры средних лет. Кажется, я никогда еще с такой остротой не ощущал безликость Смайли. Куда бы я ни смотрел, мне казалось, что я вижу его двойников: коротконогих и толстых очкастых джентльменов с видом некоторого превосходства, и каждый из них был похож на Джорджа, когда тот чуть опаздывает сделать что-то такое, чего бы он с удовольствием не делал вовсе. Потом мы неожиданно пожали друг другу руки, и он уже усаживался рядом со мной на заднем сиденье "Ровера", принадлежавшего Главному управлению, и был еще приземистей, чем мне помнился, седовласый, что правда, то правда, но в таком бодром и хорошем настроении, в котором я не видел его с тех роковых пор, когда его жена ушла к Хейдону.

– Ну что, Нед? Как тебе нравится учительствовать?

– А как тебе живется на пенсии? – парировал я, засмеявшись. – Скоро примкну к тебе.

Ах, как нравилось ему на пенсии, уверял он меня. Просто то, о чем мечтал всю жизнь, сбивчиво рассказывал он; да и мне не следует иметь по этому поводу никаких страхов. То,

Нед, поднатаскаю кого-нибудь, иногда бывает, что и лекцию прочитаю; прогуляюсь (он даже завел собаку).

– Слышал, тебя снова впрягли в работу и заставили возглавлять какой-то странный комитет, – сказал я. – Говорят, заговор с Медведем против Багдадского вора.

Джордж не дает втянуть себя в беседу, но я вижу, как лицо его расплывается в улыбке.

– Неужели? И, уж конечно, узнал ты об этом от Тоби, – сказал он и довольно засиял, глядя на унылый пейзаж, и, чтобы переменить тему, начал рассказывать о каких-то двух старых дамах из его деревни, которые ненавидели друг друга. У одной была антикварная лавка, другая была очень богата. Но когда "Ровер" стал продвигаться по некогда сельскому Хартфордширу, я понял, что размышляю не столько о дамах из деревни Джорджа, сколько о нем самом. Я думал, что это был заново родившийся Смайли, который рассказывал о старых дамах, заседал в комиссиях с русскими шпионами и взирал на весь окружающий мир с удовольствием человека, только что вышедшего из больницы.

Вечером же, втиснутый в видавший виды смокинг, тот же самый человек сидел рядом со мной в Сэррате за высоким столом, добродушно вглядываясь в стоящие рядом отполированные серебряные канделябры и старые, снятые бог знает когда, групповые фотографии. И для полноты картины – ожидание на лицах его молодых слушателей, жаждущих услышать слово учителя.

– Дамы и господа, мистер Джордж Смайли, – поднявшись, чтобы представить его, строго объявил я. – Живая легенда Службы. Спасибо.

– Ну, какая уж я легенда, – возразил Смайли, тяжело вставая. – Просто я старый толстяк, который застрял между портвейном и пудингом.



Потом легенда начала говорить, и я подумал, что ведь никогда раньше не слышал, как Смайли выступает перед публикой. Я предполагал, что к этому он был не способен от рождения: например, навязывал людям свою точку зрения или обращался к Джо [2], называя его настоящим именем. Поэтому блестящая речь, с которой он обратился к нам, удивила меня еще до того, как я начал постигать ее суть. Я услышал несколько его первых предложений и посмотрел на лица моих студентов – не всегда они бывают такими любезными, – приподнятые, расслабленные и озаренные, одарившие его сначала своим вниманием, затем доверием и, наконец, преданностью. И я подумал, внутренне улыбаясь запоздалому признанию: да, да, конечно, это вторая натура Джорджа. Это актер, который всегда в нем жил, тайный Пайд Пайпер [3]. Это был человек, которого любила Энн Смайли, которого обманул Билл Хейдон, за которым преданно, озадачивая непосвященного, шли все остальные.

В Сэррате существует мудрая традиция: наши застольные речи не записываются ни на пленку, ни в блокнот, и впоследствии на то, что было сказано, не принято делать никаких официальных ссылок. Таким образом, почетному гостю предоставлялось то, что Смайли на немецкий манер называл "свободой для дурака", хотя он меньше, чем кто-либо другой, нуждался в этой привилегии. Но я-то ведь профессионал, выученный, чтобы слушать и запоминать, и вы должны также учесть, что не успел Смайли произнести и несколько слов, как я понял – и сразу же заметили мои студенты, – что говорил он, обращаясь прямо к моему сердцу еретика. Я имею в виду того, другого, менее послушного субъекта, живущего также

внутри меня, которого, честно говоря, отказывался признавать с тех пор, как открыл последнюю страницу своей карьеры – имею в виду тайную анкету, которая была моим неудобным спутником еще до того времени, как мой упирающийся джо по имени Барли Блейр переступил за осыпающийся Железный Занавес и, подстрекаемый любовью, а также соображениями чести, спокойно продолжал продвигаться вперед, хоть Пятый этаж в это и не верил.

Чем лучше ресторан, говорим мы о Кадровике, тем хуже будут новости.

– Настало время, Нед, чтобы ты передал свою мудрость новым мальчикам, – сказал он мне во время подозрительно хорошего обеда в "Конноте". – И новым девочкам, – добавил он с отвратительной ухмылкой. – Кажется, скоро их допустят в церковь. – Он вернулся к более приятной теме: – Ты же знаешь правила игры. Ты тертый калач. Уже поднатаскался. Очень лихо руководил Секретариатом. Пришла пора извлечь из этого пользу. Мы считаем, что тебе надо взять детский сад, так сказать, передать эстафету завтрашним шпионам.

Если мне не изменяет память, он пользовался такими же спортивными терминами, когда снимал меня с поста главы Русского Дома после дезертирства Барли Блейра и сослал меня на живодерню, в Следственный отдел.

Он заказал еще две порции арманьяка.

– Кстати, а как твоя Мейбл? – продолжал он, словно только что о ней вспомнил. – Мне сказали, что она играет в гольф с форой в двенадцать, боже, даже десять. Что ж, надеюсь, ты против меня ее не выпустишь. Ну, так что скажешь? Будни – в Сэррате, на выходные – домой, в Танбридж-Уэлс, – это ли не триумфальное завершение карьеры? Так что скажешь?

Ну что тут скажешь? Ты говоришь то, что другие уже говорили до тебя. Тот, кто может, делает. Тот, кто не может, учит. А учат они тому, чего сами делать уже не могут, потому что их тело или душа, а может, и то и другое утратили единство цели, поскольку они видели слишком много, скрывали слишком много и слишком многим рисковали, а в конце так мало вкусили. И вот они разжигают в новых молодых душах свои старые мечты и греются у огня.

И это снова возвращает меня к вступительным аккордам речи Смайли в тот вечер, поскольку слова его вдруг доходят до меня и захватывают. Я пригласил его, потому что он был легендой прошлого. Однако – ко всеобщему нашему восторгу – он оказался еще и иконоборческим пророком грядущего.

* * *

Я не стану докучать вам подробностями о том, как во вступительном слове Смайли пропутешествовал по всему свету. Он рассказал им о Ближнем Востоке, о чем, очевидно, все время думал, и исследовал границы колониальной власти в предположительно послеколониальные времена. Он рассказал о "третьем мире", о "четвертом", обрисовал "пятый" и поразмышлял вслух, заслуживают ли бедность и человеческое отчаяние серьезного беспокойства для любой богатой страны. Казалось, он был абсолютно уверен, что не заслуживают. Он посмеялся над мыслью о том, что теперь, когда кончилась "холодная война", шпионаж становится умирающей профессией: с каждой новой нацией, которая выбирается из ее торосов, сказал он, с каждой новой перегруппировкой, когда народы обнаруживают свою старую суть и страсти, с каждым разрушением устоявшегося статус-кво шпионам придется работать по 24 часа в сутки. Впоследствии я обнаружил, что он говорил вдвое дольше обычного, но я не услышал ни скрипа стула, ни звяканья стакана, этого не было даже тогда, когда его перетащили в библиотеку и усадили на почетный трон у камина в жадном ожидании

продолжения – еще ереси, еще ниспровержения. Мои дети, все такие закаленные, влюблены в Джорджа! Я не услышал ничего, кроме уверенного голоса Смайли и энергичных всплесков смеха после неожиданных насмешек над самим собой или признаний в неудачах. Старость дается раз в жизни, подумал я, слушая вместе с ними и разделяя их возбуждение.

Он рассказал нам истории дел, о которых я никогда не слыхивал и которые, уверен, никто раньше даже в Главном управлении не мог бы разъяснить – и, уж конечно, не мог бы разъяснить наш юрисконсульт Палфри, в ответ на гласность наших извечных врагов задраивающий все щели и запирающий на двойные замки всякий бесполезный секрет, на который ему удается наложить свою лапу.

Он подробно остановился на их будущей роли агентов применительно к изменяющемуся миру, вплетая в нее традиционный образ Службы – образ наставника, пастыря, родителя и самозваного друга, опоры и советника в брачных делах; человека, который прощает, развлекает, защищает; человека, обладающего даром воспринимать чудовищные предположения как самое обыкновенное дело, что превращает его в партнера по иллюзиям своего агента. Ничто из этого не изменилось, сказал он. И никогда не изменится. Он перефразировал Бернса: "Шпион останется шпионом и все такое прочее".

Едва успев убаюкать их этой милой перспективой, он предостерег от разрушения их собственной личности, к чему легко могут привести манипуляция другими людьми и подавление естественных чувств.

– Став всем на свете для всех шпионов, рискуешь стать ничем в собственных глазах, – с грустью признался он. – И умоляю, не думайте, что методы, которые вы используете, вам не повредят. Цель может оправдывать средства, а если бы это не подразумевалось, то, осмелюсь сказать, вы не были бы здесь. За это надо платить, а платить, скорее всего, надо кем-то. В вашем возрасте продать душу легко. Позже – труднее.

Он перемежал самые серьезные вещи с совершенно пустячными, а разницу между ними делал практически незаметной. Иногда, казалось, он задает себе вопросы, которые я сам не раз задавал себе в течение большей части моей трудовой жизни, но никогда не мог их сформулировать, например: "Было ли это нужно?" А также: "Что это мне дало?" И еще: "Что теперь станет с нами?" Иногда сами вопросы его были ответами: Джордж, говорили мы, никогда не задавал вопроса, не зная ответа.

Он заставил нас смеяться, заставил чувствовать и, со своей непомерной почтительностью, потряс нас своими противоречиями. Более того, он поставил под удар наши предубеждения. Он избавил меня от примирения со своей участью и пробудил во мне дремлющего бунтаря, которого заставила замолчать ссылка в Сэррат. Джордж Смайли ни с того ни с сего вновь подтолкнул меня на поиск и здорово запутал меня.

Я где-то читал, что запуганные люди не могут ничему научиться. В таком случае они уж наверняка не имеют права учить других. Я человек не запуганный – во всяком случае, запуганный не больше, чем любой другой, кто смотрел смерти в глаза и знал, что она пришла за ним. Все равно, опыт и небольшие страдания заставили меня намного осмотрительнее относиться к правде, даже по отношению к самому себе. Джордж Смайли разложил все по полочкам. Джордж был для меня больше, чем наставник, больше, чем друг. И хотя он не всегда был рядом, он вел меня по жизни. Временами я считал, что он мне вроде отца, которого у меня не было. И теперь, когда у меня есть свободное время для воспоминаний, которыми я собираюсь с вами поделиться, я приглашаю вас с собой в это путешествие в прошлое, чтобы вы могли задать себе те же вопросы.

Глава 2

– Есть люди, – довольно заявил Смайли, подбадривая своей оживленной улыбкой хорошенькую девочку из оксфордского Тринити-колледжа, которую я предусмотрительно посадил напротив него через стол, – которые, если ставится под угрозу их прошлое, боятся потерять все, что, как они полагали, у них было, а, может, также все, чем, по их мнению, они являлись. Теперь я себя так отнюдь не чувствую. Цель моей жизни заключалась в том, чтобы завершить период, в котором я жил. Поэтому, если мое прошлое сегодня все еще было бы здесь со мной, вы могли бы сказать, что я потерпел неудачу. Но его рядом нет. Мы выиграли. И не скажешь, что победа хоть что-нибудь значит. А может, мы и не выиграли. Может, просто проиграли они. А может, когда нас больше не сдерживают путы идеологического конфликта, наши беды только начинаются. Дело не в этом. Важно то, что долгая война позади. Важна надежда.

Сняв очки, он стал что-то встревоженно нащупывать у себя на груди в поисках чего-то для меня непонятного, пока я не сообразил, что он ищет широкий конец галстука, которым привык протирать стекла очков. Однако неловко завязанный черный галстук-бабочка таких удобств не имел, и вместо этого пришлось вынуть из кармана шелковый платок.

– Если я вообще о чем-нибудь и сожалею, так это о том, как мы растрачивали время и способности. Все эти ложные пути, фальшивые друзья, неправильное применение нашей энергии. И это заблуждение по поводу того, кем мы были.

Он надел очки и, как мне показалось, обратил свою улыбку ко мне. Вдруг я почувствовал себя одним из своих собственных студентов. Снова были шестидесятые годы. Я был только что оперившимся шпионом, а Джордж Смайли – сдержанный, терпеливый, умный Джордж – наблюдал за моими первыми попытками взлететь. В те дни мы были хорошими парнями, а дни казались длиннее. Может, мы были и не лучше, чем мои студенты сегодня, но наше патриотическое мировоззрение было более отчетливым. По окончании подготовительного курса я готов был спасти мир, даже если бы мне пришлось прошпионить его для этого из конца в конец. В моей группе было десять человек, и после нескольких лет тренировки – в яслях Сэррата, в горных долинах Аргайлла и в боевых лагерях Уилтшира – мы ждали нашей первой оперативной работы, как чистокровные борзые томятся в ожидании охоты.

Мы тоже достигли зрелости в по-своему великий исторический момент, хотя он и был противоположностью нынешнего. Из каждого уголка земного шара на нас пялились застой и вражда. Красная Опасность была повсюду, даже у самого нашего священного очага. Берлинская стена стояла уже два года, и, глядя на нее, можно было предположить, что она простоит еще лет двести. Ближний Восток, как и теперь, дышал огнем, с той лишь разницей, что объектом нашей британской ненависти был избран Насер, и не в последнюю очередь потому, что он возвращал арабам утраченное достоинство да в придачу еще валял дурака с русскими. На Кипре, в Африке и в Юго-Восточной Азии против своих старых колониальных хозяев поднимались, попирая закон, второсортные народы. И если мы, немногочисленные отважные британцы, время от времени чувствовали, что власть наша этим подрывается, что ж, Американский Брат на то и существовал, чтобы всегда вовремя вернуть нас в мировой расклад.

Как тайные герои в процессе создания, мы имели все, что необходимо: справедливое дело, злого врага, терпимого союзника, кипящий мир, женщин (но только вне игры), способных воодушевить нас, и лучшее, что можно было унаследовать от Великой Традиции, поскольку Цирк в те дни все еще грелся в лучах своей военной славы. Почти все наши лучшие люди приобрели имя, шпионя за немцами. Когда их спрашивали на наших серьезных неофициальных семинарах, они соглашались, что, если речь заходила о том, чтобы защитить человечество от своих же собственных эксцессов, мировой коммунизм был еще большей угрозой, чем немчура.

– Вам, господа, досталась в наследство опасная планета, – любил говорить нам начальник спецподготовки, наш легендарный Джек Артур Ламли. – Но если вы интересуетесь моим личным мнением, вам чертовски повезло.

О, его мнение нас еще как интересовало! Джек Артур был человеком безоглядной храбрости. Три года он провел в оккупированной немцами Европе, мотаясь туда и обратно, словно постоянный друг дома. Он в одиночку взрывал мосты. Его ловили, он бежал, его ловили снова – никто не знает, сколько раз это происходило. Он убивал людей голыми руками, с несколькими покончил во время драки, а когда "холодная война" пришла на смену "горячей", Джек почти не заметил разницы. В пятьдесят пять лет он все еще мог с двадцати шагов нарисовать пулевыми отверстиями из 9-миллиметрового "браунинга" ухмылку на мишени размером в человеческий рост, открыть дверной замок канцелярской скрепкой, за тридцать секунд прицепить мину-ловушку к цепочке от унитаза или одним броском прижать любого из нас к мату так, что и не пошевельнешься. Джек Артур выбрасывал нас на парашюте из бомбардировщиков "Стерлинг", высаживал в надувных лодках на пляжи Корнуолла и перепивал нас за столом накануне операции. И если уж Джек Артур сказал, что это опасная планета, мы верили ему безоговорочно!

Но ждать было все равно невыносимо. И если бы рядом со мной не было Бена Арно Кавендиша, с которым я делил это ожидание, было бы еще тяжелее. Однако даже в Главном управлении есть несколько подразделений, через которые можно пройти до того, как энтузиазм сменится тошнотой.

Мы с Беном родились под одной звездой. Мы были одного возраста, кончили одну школу, были одинакового сложения и почти одного роста с разницей в один-два сантиметра. Чтоб Цирк да не свел нас, возбужденно твердили мы друг другу, скорее всего, там это знали уже давным-давно! У обоих у нас были матери-иностранки, хотя его уже умерла, имя "Арно" появилось с его немецкой стороны, и оба, может, в качестве компенсации убежденно льнули к типу английского экстраверта – были атлетически развитыми, жизнелюбивыми мужчинами, окончили частную школу и появились на свет, чтобы если не править, то управлять. Хотя, глядя на групповую фотографию нашего выпуска, я вижу, что Бен преуспел намного больше меня, поскольку выглядел более зрелым, чем в те времена я не мог похвастаться: линия волос у него на лбу образовывала мысик, подбородок решительный, словом, человек старше своей молодости.

Поэтому-то, насколько я понял, Бен и получил вместо меня страстно желаемую работу, гоняя по Восточной Германии агентов из плоти и крови, в то время как меня снова назначили дублером.

– Мы одолжим тебя на пару недель наблюдателям, наш юный Нед, – сказал Кадровик с дядюшкиной безапелляционностью, которая начинала меня возмущать. – Станет для тебя хорошим испытанием, а им как раз будет кстати лишняя пара рук. Полно всякой разведывательной работенки. Тебе ведь это нравится.

Все, что угодно, подумал я, храбро ринувшись в бой. Ведь в течение последнего месяца в секретном помещении на Третьем этаже я направлял всю свою изобретательность на то, чтобы саботировать деятельность Всемирной конференции мира, скажем в Белграде. Следуя инструкциям занудного начальника, который часами обедал в буфете для старших офицеров, я с энтузиазмом изменял маршрут делегатских поездов, засорял в их гостинице водопровод и анонимно сообщал, что в их конференц-зале подложена бомба. А за месяц до этого я каждое утро в шесть часов храбро лез на карачках в вонючий подвал рядом с египетским посольством и ждал подкупленную мной уборщицу, которая в обмен на пятифунтовую купюру приносила в конце рабочего дня содержимое мусорной корзины посла. Исходя из таких скромных стандартов, пара недель с лучшими в мире наблюдателями была все равно что отдых.

– Тебя назначают на операцию "Толстяк", – сказал Кадровик и дал мне адрес конспиративного дома недалеко от Грин-стрит в Уэст-Энде. Войдя внутрь, я услышал стук шарика для пинг-понга и звуки треснутой граммофонной пластинки с записью Грейси Филдз. Сердце мое упало, и снова я, молясь, позавидовал Бену Кавендишу и его героическим агентам

в Берлине, в этом вечном городе шпионов. Монти Эрбак, наш начальник отдела, проинструктировал нас в тот же вечер.

* * *

Позвольте мне заранее перед вами извиниться. В те времена я очень мало знал о других званиях. Я происходил из офицерской касты – в буквальном смысле слова, поскольку служил в Королевском флоте, – и считал абсолютно естественным то, что рожден для высших слоев социальной системы. Цирк – это только маленькое зеркальце той самой Англии, которую он защищает, поэтому мне казалось в равной степени правильным, чтобы наши наблюдатели и люди смежных профессий – ночные взломщики и соглядатаи – были выведены из этого цеха. Вы не можете, надев шляпу-котелок, долго кого-нибудь преследовать. Голос с придыханием, как у диктора Би-би-си, не может гарантировать вашу конспирацию, уж коли вы находитесь за пределами лондонской "золотой мили", и менее всего, если вы изображаете из себя уличного торговца, мойщика окон или почтальона. Поэтому в лучшем случае вы можете представить меня как неоперившегося курсанта морского училища, сидящего среди своих более опытных и менее привилегированных товарищей по плаванию. И вы должны увидеть Монти не таким, каким он был, а таким, каким я видел его в тот вечер: охотником с обостренным чутьем, готовым к схватке. Нас было десять человек, включая Монти: три команды по трое и на всех одна женщина, чтобы можно было охватить женские уборные. Таков был принцип. Монти нас контролировал.

– Добрый вечер, студент, – сказал он, становясь перед доской и обращаясь прямо ко мне. – Думаю, всегда приятно для поднятия тонуса соприкоснуться с чем-то качественным.

Все смеются, я – громче всех, хорошая разминка для его людей.

– Объект на завтра, студент. Его Королевское Суверенное Высочество Толстяк, известный также под именем…

Повернувшись к доске, Монти взял кусочек мела и старательно вывел длинное арабское имя.

– А цель нашей миссии, студент, ОС, – подытожил он. – Надеюсь, ты знаешь, что такое ОС, не так ли? Я не сомневаюсь, что вас учат этому в Итоне для шпионов.

– Общественные связи, – ответил я, удивившись возможности такого развлечения. Но, увы, на языке наблюдателей это были начальные буквы "охранять и сообщать". Наше завтрашнее задание, а также задание на то время, пока наш королевский гость останется под нашей ответственностью, состояло в том, чтобы обеспечить полную его безопасность, а также доложить в Главное управление обо всем, что касается его деятельности – социальной или коммерческой.

– Студент, ты будешь с Полем и Нэнси, – сказал мне Монти, снабжая нас остальной оперативной информацией. – Ты, студент, будешь третьим в группе, и сделай одолжение, исполняй то, что тебе говорят, независимо ни от чего.

И теперь мне самому, а не со слов Монти, хотелось бы дать вам справку о деле Толстяка с позиции человека с двадцатилетним опытом. Даже теперь, вспоминая, кем я себя мнил и каким должен был показаться Монти, Полю и Нэнси, я заливаюсь краской стыда.

* * *

Надо понимать, что признанные торговцы оружием в Великобритании считают себя крутой элитой – как раньше, так и теперь, – и привилегии, которыми они пользуются в полиции, бюрократическом аппарате и разведслужбах, абсолютно несоразмерны. Я никогда не мог понять причин, по которым это ужасное занятие ставит их в доверительные отношения с данными органами. Может, они представляют собой реальную иллюзию пушек, как суровую правду жизни и смерти. Может, их товары в ограниченных умишках наших чиновников наводят на мысль о такой же власти, как и у тех, кто берет это оружие в руки. Понятия не имею. Но у меня было время, чтобы как следует познакомиться с внешней стороной жизни и понять, что влюбленных в войну людей больше, чем тех, кто когда-либо мог принять в ней участие, и что для удовлетворения этой любви покупается больше оружия, чем необходимо на самом деле.

И еще надо усечь, что Толстяк был одним из самых ценных клиентов этой отрасли. И что наше задание "охранять и сообщать" было всего лишь маленькой частью намного более крупного дела – опекать и вынянчивать так называемое дружественное арабское государство. А это означало – и означает поныне – подхалимаж, подкуп и лесть по отношению к их князькам на наш английский манер, чтобы выманить желанные концессии для удовлетворения нашей нефтемании, а заодно и пораспродать достаточно английского оружия, чтобы сатанинские мельницы Бирмингема не переставали вертеться ни днем, ни ночью. Этим и можно было объяснить идущее изнутри отвращение Монти к нашему заданию. Во всяком случае, мне хочется так думать. Известно, что старые наблюдатели любят поучать, и на это есть основания. Сначала они наблюдают, после думают. Монти вступил в "думающую" стадию.

А что касается Толстяка, то основания для такого обращения были безупречными. Он был никчемным братом правителя богатого нефтью эмирата. Он отличался своенравием и имел склонность забывать, что раньше покупал. Он-то и прилетел, что было объявлено, в "Боинге" правителя на военный аэродром под Лондоном, который освободили специально для него, прилетел, чтобы немного поразвлечься и сделать кое-какие мелкие покупки, среди которых, как мы полагали, будут и такие безделушки, как парочка бронированных "Роллс-Ройсов" для себя, половина побрякушек от Картье для его подружек на всем земном шаре, сотня или около того наших не самых последних пусковых установок для ракет "земля – воздух" и эскадрилья или две наших не самых последних боевых истребителей для его коронованного братца. И, уж конечно, смачный контракт с британским правительством на поставку запасных частей, обслуживание и обучение, благодаря которому и Королевские Военно-воздушные силы, и поставщики оружия продержатся без забот еще много лет. Ах да, и нефть. Нам ведь нужно горючее. А как же!

Свита его, не считая личных секретарей, астрологов, подхалимов, нянек, детей и двух учителей, включала еще личного врача и трех телохранителей.

И, наконец, жена Толстяка с совершенно несообразным прозвищем, поскольку с Первого Дня наблюдатели Монти окрестили ее Пандой, углядев темные круги под глазами, когда лицо ее не было закрыто покрывалом, да и своим задумчиво-уединенным поведением походила она на вымирающее животное. У Толстяка была вереница жен, но Панда, хоть и самая старшая, была самой любимой и, возможно, терпеливее всех сносила увеселительные поездки мужа, поскольку он любил ночные клубы и азартные игры – вкусы, за которые мои коллеги-наблюдатели возненавидели его от всего сердца еще до его приезда, потому что знали, что редко когда он засыпает раньше шести часов утра, проиграв при этом обычно сумму, в двадцать раз превышающую их общее годовое жалованье.

Компания остановилась в прекрасном отеле в Уэст-Энде, заняв два этажа, соединенных специально установленным лифтом. Толстяк, как и многие сорокалетние сластолюбцы, очень беспокоился о своем сердце. Его волновали также микрофоны, и лифт он любил использовать как безопасное в этом отношении помещение. Поэтому прослушиватели из Цирка заботливо установили ему микрофон и в лифте, где рассчитывали наслушаться пикантных новостей о последних дворцовых интригах или узнать о любой непредвиденной опасности, грозящей списку военных покупок Толстяка.

Все шло довольно гладко до Третьего Дня, когда на нашем горизонте нежданно-негаданно появился неизвестный араб маленького роста в черном пальто с бархатными отворотами. Или, если быть уж совсем точным, он возник в отделе женского нижнего белья огромного универсального магазина в Найтсбридже, когда Панда и ее свита протискивались к стеклянному прилавку, на котором грудой лежало белое, в оборках и кружевах белье. Ведь и у Панды были свои шпионы. Сорока на хвосте принесла ей, что сам Толстяк накануне с любовью перебирал такие же вещи и даже заказал несколько дюжин, дав адрес, по которому все это должны были послать в Париж, где одна любимая дама постоянно ждала его, окруженная всяческой роскошью на его деньги.

Настал, повторяю, Третий День, и боевой дух нашей группы из трех единиц был в напряжении. Поль – это Поль Скордено, замкнутый человек с рябоватым лицом и талантом к изобретению свирепых ругательств. Нэнси сказала мне, что он в немилости, но не сказала почему.

– Он ударил девушку, Нед, – сказала она, но теперь я думаю, что она имела в виду нечто большее, чем просто "ударил".

В самой Нэнси было всего пять футов роста, и похожа она была на старьевщицу, имеющую разрешение на торговлю. Соответственно ее образу, как она это называла, на ней были фильдеперсовые чулки и удобные, на резиновой подошве, прогулочные туфли, которые она редко меняла. Если ей требовалось еще что-нибудь – шарфы, плащи, вязаные шапочки разных цветов, – она извлекала это из полиэтиленовой сумки.

На дежурствах по наблюдению наша группа работала по девять часов кряду, следуя всегда одной и той же схеме: Нэнси и Поль впереди, а юный Нед тащился сзади, изображая из себя подметальщика. Когда я спросил Скордено, можно ли эту схему поменять, он ответил мне, что надо привыкнуть довольствоваться тем, что есть. В наш Первый День мы проследили за Толстяком до Сандхерста [4], где был дан обед в его честь. Мы втроем в кафе рядом с главным входом ели яйца с жареной картошкой, а Скордено между тем сначала зверски ругал арабов, затем стал выступать против эксплуатации их Западом, а потом, к моему огорчению, понес Пятый этаж, заявив, что они – фашистские игроки в гольф.

– Студент, ты масон?

Я уверил его, что нет.

– Ну, тогда тебе лучше поторопиться и присоединиться к ним, понял? Разве ты не заметил, как вызывающе Кадровик жмет тебе руку, когда здоровается? Если ты не станешь масоном, студент, в Берлин тебе не попасть.

Второй День мы провели, слоняясь по Маунт-стрит, пока сам Толстяк приценивался к двум дробовикам Перди: сначала он лихо вскидывал ружье-образец во всех направлениях, а потом взорвался негодованием, узнав, что ему придется подождать два года, прежде чем ружья будут готовы. Пока разворачивалась эта сцена, Поль дважды посылал меня в магазин и остался, кажется, доволен, когда я сказал ему, что продавцы начали относиться с подозрением к моим пустым расспросам.

– Я думал, что это место придется тебе как раз по вкусу, – сказал он, ухмыляясь, как бедный Йорик. – Охота, стрельба и рыбалка – на Пятом этаже, студент, это любят.

Той же ночью мы все трое сидели в фургоне рядом с публичным домом с закрытыми ставнями на Саут-Одли-стрит, и штаб находился в состоянии, близком к панике. Толстяк пребывал там вот уже два часа, как вдруг позвонил в отель и приказал срочно явиться своему личному врачу. Сердце! – с тревогой подумали мы. Может, нам туда войти? Пока штаб трепетал, мы отвлеклись видениями, воображая нашего преследуемого зверя, умершего от инфаркта в объятиях какой-нибудь чересчур добросовестной проститутки и так и не успевшего подписать чек на свои устаревшие истребители. И только в четыре часа утра прослушиватели развеяли наши страхи. Они объяснили, что Толстяк страдает приступами импотенции и врач призывается для того, чтобы вколоть возбуждающее средство в королевское седалище. Домой мы вернулись в пять. Скордено со злости выпил, но всех нас утешала мысль о том, что к полудню Толстяк должен быть в Лутоне, чтобы присутствовать на большой демонстрации чуть ли не последней модели британского танка, и мы могли рассчитывать на выходной. Но наше чувство облегчения оказалось преждевременным.

– Панда собралась прикупить себе вещичек, – благодушно сообщил нам Монти, когда мы прибыли на Грин-стрит. – Такова ваша доля. Ничего не поделаешь, студент.

Это приводит нас в отдел нижнего белья большого универсального магазина в Найтсбридже и к минуте моей славы. Бен, думал я, Бен, я готов променять один твой день на пять моих. Потом вдруг я перестал думать о Бене и ему завидовать. Я отступил в укромный дверной проем и заговорил в микрофон громоздкого радиоустройства, которое в те времена считалось лучшим из всех. Я выбрал канал, напрямую соединяющий меня с базой. Это был именно тот канал, которым Скордено запретил мне пользоваться.

– К Панде на спину забралась обезьяна, – наиспокойнейшим голосом проинформировал я Монти, употребляя принятый у наблюдателей жаргон, чтобы сообщить о таинственном преследователе. – Рост – пять футов пять дюймов, черные вьющиеся волосы, густые усы, сорок лет, черное пальто, черные ботинки на резиновой подошве, внешне похож на араба. Он был на аэродроме, когда приземлился самолет Толстяка. Я запомнил его. Тот же человек.

– Веди его, – раздался лаконичный ответ Монти. – Пусть Поль и Нэнси следят за Пандой, ты – за обезьяной. Какой этаж?

– Первый [5].

– Веди его, куда бы он ни пошел, держи меня в курсе дела.

– По-моему, он "с начинкой", – произнес я, рассматривая тайком того, ради которого позвонил.

– Хочешь сказать, беременный?

Шутка не вызвала у меня улыбки.

Давайте я поточнее опишу эту сцену, поскольку все было намного сложнее, чем вам может показаться. В этом черепашьем походе по магазину наше трио не было единственным эскортом Панды. Богатые арабские принцессы не приезжают без предварительного уведомления в большие магазины Найтсбриджа. В добавление к паре дежурных администраторов в черных пиджаках и полосатых брюках в каждом сводчатом проходе, совсем не прячась, стояло по два местных сыщика – ноги на ширине плеч, руки по бокам чуть согнуты, готовые в любую секунду схватить любого танцующего дервиша. Словно этого было недостаточно, Скотленд-Ярд в то утро решил и сам предоставить фирменную охрану в виде чугуннолицего мужчины в плаще с поясом, который настоял на том, чтобы идти сразу за Пандой, и сердито зыркал на всякого, кто приближался. И наконец, вы должны представить себе Поля и Нэнси в их лучших воскресных одеждах – они стояли, повернувшись ко всем спиной, и делали вид, что изучают содержимое прилавков с неглиже, хотя на самом деле следили за нашей дичью, отражающейся в зеркалах.

И все это, сами понимаете, происходит в тайном уединении сонного – тшш! – и благоухающего гарема, в мирке тончайшего белья, мягких ковров и томных полуголых манекенов. Да и как не сказать о любезных седовласых продавщицах, одетых в черный креп, которые, как принято считать, с возрастом приобретают достаточно респектабельную осанку, чтобы, не отвлекая внимания на свою особу, стать жрицами в храмах интимных предметов женского туалета.

Как я заметил, другие мужчины предпочитали вообще не заходить в отдел нижнего белья или же спешили мимо, отводя при этом глаза. Мое инстинктивное поведение было бы таким же, если бы я не узнал этого печального человечка с черными усами и страстными карими глазами, которые постоянно, с расстояния пятнадцать шагов, наблюдали за Пандой и ее окружением. Может, я и вообще бы его не увидел или увидел бы, но не в тот момент, если бы Монти не назначил меня подметальщиком. Но сразу стало ясно, что и он, и я из-за наших разных профессий должны были держаться на одинаковом расстоянии от нашей цели: я – с безразличием, он – со значительной и таинственной зависимостью. Он ни на секунду не отвел от нее взгляда. Даже когда его загораживала колонна или какой-то покупатель, он все-таки ухитрялся выискивать ее, вертя темной головой, пока снова не впивался в нее своим горячим и – теперь я был убежден – фанатичным взором.

В первый раз я ощутил это рвение, когда увидел его в аэропорту, в зале для приезжающих, – он стоял на цыпочках около длинного окна, стараясь лучше разглядеть процедуру прибытия королевской четы. Тогда я ничего особенно в нем не заметил. Я рассматривал каждого одинаково критически. Казалось, это просто еще один из многочисленного стада дипломатов, вассалов и прихлебателей, встречавших королевскую чету. Тем не менее мне хорошо запомнился его напряженный вид: вот он, Ближний Восток, размышлял я, глядя, как он прижимается лицом к стеклу, чтобы не упустить прибывших из виду. Вот они, те варварские страсти, которые призвана сдерживать моя Служба, если нам желательно спокойно ездить в своих машинах, жить в теплых домах и торговать оружием.

Обезьяна сделала несколько шагов вперед и уставилась на застекленную витрину с лентами и тесьмой. Походка этого человека – совсем как у обезьяны – была размашистой, но крадущейся; казалось, он движется прямо от колен, шагами заговорщика. Я выбрал витрину с подвязками рядом с ним и стал разглядывать их, при этом изучая украдкой, не выпячивается ли чего подозрительного у него на груди или под мышкой. Его черное пальто классически подходило по форме для ношения оружия – просторное, без пояса: под таким пальто без труда можно скрыть длинноствольный пистолет с глушителем или подвешенный под мышкой полуавтомат.

Я внимательно наблюдал за его руками, хотя у самого руки нервно дрожали. Его левая рука была расслаблена, но правая, казавшаяся сильнее, то двигалась по направлению к груди, то замирала, словно он набирался храбрости для завершающего действия.

Он правша, подумал я, оружие, по всей видимости, находится слева, под мышкой. Наши инструкторы по применению оружия разобрали с нами всякие комбинации.

А его глаза – темные, горящие неярким огнем глаза, в которых отражается душа фанатика, – даже в профиль, казалось, смотрели в загробную жизнь. Он поклялся отомстить ей? Ее домочадцам? Может, муллы-фанатики пообещали ему за это место в раю? Мои знания ислама были скудными и ограничивались несколькими общеобразовательными лекциями и романами П.Рена. Однако даже этого было достаточно, чтобы понять: я нахожусь в присутствии безумного фанатика, дешево ценящего свою жизнь.

А я, увы, вооружен не был. Это было моим слабым местом. Наблюдателям, которые находятся на обычном дежурстве, и мечтать не приходится о том, чтобы иметь при себе оружие, однако тайное наблюдение по охране – совсем иное дело, и Полю Скордено был выдан пистолет из сейфа Монти.

– Одного достаточно, студент, – сказал мне Монти, улыбаясь по-стариковски. – Нам ведь не надо, чтобы ты начинал третью мировую войну, правда?

Поэтому все, что мне оставалось делать, когда я встал и снова тихо последовал за ним, – это выбрать, какой применить прием из тех, которым нас обучали на занятиях по уничтожению противника без оружия. Может, лучше атаковать его сзади – так называемым ударом кролика – и уложить двумя одновременными ударами по ушам? Любым приемом можно было бы мгновенно его убить, тогда как живого человека можно ведь еще и допросить. Может, лучше сначала сломать ему правую руку, чтобы воспользоваться его собственным оружием? Однако, если позволить ему вытащить пистолет, не окажусь ли я сам под градом пуль других телохранителей в зале?

Она его увидела!

Панда посмотрела обезьяне прямо в глаза, и обезьяна ответила тем же.

Узнала ли она его? Я был уверен, что узнала. Но знала ли она, почему он оказался здесь? Может, она тоже была охвачена неким странным припадком восточного фатализма и готовилась к смерти? Мрачные мысли метались у меня в голове, пока я продолжал наблюдать, как они таинственно обменялись взглядами. Их глаза встретились, и Панда на мгновение замерла. Ее унизанные драгоценностями маленькие ручки-клешни, потащившие какую-то вещь с прилавка, застыли и теперь, словно по его команде, безвольно опустились. Она стояла, не двигаясь, не имея ни воли, ни силы, чтобы освободиться от власти пронизывающего взгляда.

И наконец с каким-то жалким и до странного робким видом она отвернулась от него, пробормотала что-то своей спутнице и, протянув руку к прилавку, выпустила какую-то отделанную оборками вещь, которую все еще сжимала в руках. В тот день она была в коричневом одеянии – будь она мужчиной, у меня бы так и чесался язык сказать, что на ней ряса францисканца – с широкими, длиннее, чем ее руки, рукавами, в коричневом платке, туго завязанном над бровями.

Я увидел, как она вздохнула, потом медленно и – я был в этом уверен – безропотно поплыла вместе со своей свитой к проходу под аркой. Следом шел ее личный телохранитель, за ним – сотрудник Скотленд-Ярда. Затем следовали дамы из ее свиты, а за ними дежурные администраторы. И наконец, Поль и Нэнси, которые, якобы в нерешительности, оторвались в конце концов от изучения нижнего белья и пристроились теперь, как обычные покупатели, в хвосте группы. Поль, до которого, конечно же, дошли мои разговоры с Монти, не удостоил меня ни единым взглядом. Нэнси, гордившаяся своими успехами в любительском театре, разыгрывала сценку супружеской ссоры. Я попытался разглядеть, расстегнул ли Поль пиджак, ведь и ему тоже пожаловали портупею. Но он повернулся ко мне своей широкой спиной.

– Давай, студент, показывай, – бодро произнес Монти мне в левое ухо, возникая рядом со мной словно по взмаху волшебной палочки. Сколько же времени он пробыл здесь? Не представляю.

Было уже больше двенадцати часов пополудни, наше дежурство кончилось, но о смене караула не могло быть и речи. Ступая легко, но решительно за Пандой, обезьяна уже находилась от нас в пяти ярдах.

– Можно взять его на лестнице, – пробормотал я.

– Говори громче, – как всегда, без тени смущения в голосе сказал мне Монти. – Говори нормально, никто тебя не слышит. А если будешь еле слышно бормотать себе под нос, они решат, что ты пришел брать кассу.

Поскольку мы находились на первом этаже, стало ясно, что Панда со свитой воспользуется лифтом – или вниз, или наверх. За лифтом находились двери, ведущие на каменную лестницу запасного хода, довольно темного и грязного. Мой план – сама простота – я выложил Монти отрывистыми предложениями, пока мы шли за обезьяной к проходу под аркой. Как только вся группа приблизится к лифту, мы с Монти зажмем его с двух сторон, схватим за руки и вытащим

на лестницу. Дальше – удар в пах, отбираем оружие и мигом на Грин-стрит, где ему будет предложено сделать чистосердечное признание. На тренировках мы этим занимались не раз и не два. Однажды, к нашему смущению, мы применили этот прием к абсолютно безгрешному банковскому служащему, который спешил домой к жене и домочадцам и которого мы по ошибке приняли за одного из наших инструкторов.

Но если Монти и слышал меня, то, к моему сожалению, виду не подал. Он наблюдал, как дежурные администраторы прокладывают в толпе путь к лифту, чтобы Панда и ее эскорт могли воспользоваться им без посторонних. Он и улыбался, как любой простой смертный, который обалдевает, увидев членов королевской семьи.

– Она едет вниз, – с удовлетворением объявил он. – Даю голову на отсечение, ей нужен отдел бижутерии. Можно было бы подумать, что владыки государств Залива и смотреть не должны на искусственные побрякушки, но они их просто обожают; они считают, что это очень выгодная покупка. Давай, сынок. Вот смеху-то. Пошли взглянем.

Приятно думать, что, даже находясь в замешательстве, я отдаю должное блестящему профессионализму Монти. Экзотическая свита Панды – большинство было одето в арабские одежды – возбуждала среди покупателей активное любопытство. Монти был просто одним из толпы зевак, с удовольствием смотревших даровой спектакль. И конечно же, он снова оказался прав – они направлялись в отдел бижутерии, о чем также догадывалась и обезьяна, поскольку, когда мы вышли из лифта, обезьяна поспешила обогнать всех, чтобы занять удобное место рядом со сверкающим прилавком: левым плечом он встал ближе к стене – именно так и полагается стрелку-правше, у которого оружие слева.

Однако же Монти совсем не собирался занимать стратегическую позицию, чтобы вести оттуда ответный огонь: он просто-напросто пошел за обезьяной и, пристроившись рядом, кивнул, подзывая меня. Мне не оставалось ничего другого, как встать таким образом, чтоб посредине оказался Монти, а не обезьяна.

– Поэтому, сынок, я всегда хожу в Найтсбридж, – объяснял Монти так громко, что его могли услышать почти что на всем этаже, – никогда не знаешь, кого встретишь. В прошлый раз я был с твоей матерью. Помнишь, мы ездили в "Харродз Фуд Холл"? Я мог бы сказать тогда: "Привет, а я тебя знаю, ты Рекс Харрисон". Я бы мог протянуть руку и дотронуться до него, только не сделал этого. Найтсбридж – это точка пересечения всех дорог в мире, правда, сэр? – приподняв шляпу, он обратился к обезьяне, которая в ответ выдавила из себя улыбку. – А вот интересно узнать, откуда может быть эта компания? Судя по виду, арабы со всеми сокровищами царя Соломона, нанизанными на пальцы. А они даже налоги не платят, осмелюсь сказать. Я не говорю о королевских особах, с них этого и не спрашивают. В мире нет ни одной королевской семьи, которая платила бы налоги сама себе, это было бы нелогично. Видишь вон там, сынок, громилу-полицейского? Он из спецотделения – посмотри, какой у него дурацкий грозный вид.

Тем временем сопровождающие Панды рассредоточились среди освещенных стеклянных прилавков, а Панда, еле сдерживая оживление, потребовала выложить перед собой лотки для более пристального изучения. Как и в отделе нижнего белья, она брала одну вещь за другой, критически разглядывала ее под яркой лампой, потом возвращала на место и брала другую. Она продолжала один за другим разглядывать и класть обратно каждый предмет, и я заметил, как по нам скользнул ее тревожный взгляд: сначала она посмотрела на обезьяну, потом на меня, словно увидела во мне единственную надежду на спасение.

Монти, несмотря на это, все еще продолжал улыбаться, когда я взглянул на него.

– Совершенно то же произошло в отделе нижнего белья, – прошептал я, забыв про его инструкцию говорить нормальным голосом.

Но Монти продолжал свой шумный монолог.

– Но под одеждой – я всегда это говорю, – под одеждой, будь то короли или нет, это такие же люди, как и мы, с головы до пят. Все мы рождаемся нагими, и все мы на пути к могиле. Богатство заключается в здоровье, и, по-моему, лучше иметь больше друзей, чем денег. У каждого из нас свои маленькие слабости, аппетиты и капризы – так его и несло, словно чтобы нарочно подчеркнуть мою напряженность.

Она попросила принести еще лотки. Прилавок был завален роскошными стразовыми тиарами, браслетами и кольцами. Выбрав колье, состоящее из трех рядов искусственных рубинов, она приложила его к шее, потом взяла зеркальце, чтобы собой полюбоваться.

Может, мне показалось? Да нет же! Она взяла зеркало, чтобы посмотреть на обезьяну и на нас! Сначала один темный глаз, затем другой, направленные прямо в нашу сторону; потом оба вместе, предупреждающие нас, умоляющие, – и только после этого она положила зеркало, повернулась к нам спиной и метнулась как бы в ярости вдоль стеклянного прилавка, где ее уже ждал новый лоток с бижутерией.

В тот же самый момент араб-обезьяна сделал шаг вперед, и я увидел, как его рука потянулась за пазуху пальто. Отбросив всякую осторожность, я тоже шагнул вперед, отводя правую руку назад, согнув на ней пальцы так, что ладонь находилась параллельно полу в лучших традициях Сэррата. Я решил так: локтем в район сердца, затем ребром ладони по верхней губе, где носовой хрящ соединяется с верхней челюстью. Здесь расположено очень сложное сплетение нервов, и хорошо нацеленным ударом можно на некоторое время обездвижить жертву. Араб-обезьяна открыл рот, чтобы вздохнуть. Я ожидал, что сейчас вырвется мольба Аллаху или, может, он прокричит лозунг какой-нибудь секты фундаменталистов, хотя я теперь не уверен в том, что в те дни нас волновали арабы-фундаменталисты и что мы вообще о них знали. Я тотчас же решился крикнуть сам, и не только затем, чтобы сбить его с толку, но и потому, что глубокий вздох увеличит силу моего удара, насытив кислородом кровеносную систему. В тот самый момент, когда я набирал воздуха, я почувствовал, как Монти, словно железным обручем, сжал мне запястье и какой-то необъяснимой силой обездвижил меня, снова подтащив к себе.

– Не делай этого, сынок, этот господин был впереди тебя, – сказал он обыкновенным голосом. – Ему необходимо выполнить кое-какое секретное дело, ведь так, сэр?

Это было действительно так. И пока я не понял, что к чему, Монти не ослабил своей хватки. Араб-обезьяна говорил. Не с Пандой, не с ее окружением, а с двумя дежурными администраторами в полосатых брюках. Сначала они, склонив головы, слушали его снисходительно, потом, обратив свои взоры на Панду, с изумлением и интересом.

– Увы, господа. Ее Королевское Высочество предпочитает обходиться без формальностей, делая свои покупки, понимаете? – говорил он. – Скажем так, без всяких квитанций и упаковок, это неудобно. Она сама себе хозяйка. Три-четыре года назад она торговалась лучше всех. Да-да. Она могла выторговать скидку на все, что ей хотелось купить. Но сейчас, с возрастом, она в буквальном смысле слова берет вещь в свои руки, понимаете? Или, господа, если можно так выразиться, к себе в рукава. Поэтому я уполномочен Его Королевским Высочеством с максимальной щедростью оплачивать подобные неофициальные покупки, конечно, при том понимании, господа, что до общественности не должно дойти даже намека на это, ни устного, ни письменного, если я понятно выражаюсь.

И вот он вытащил из кармана не ужасный автоматический "вальтер", не автомат Хеклера и Коха и даже не один из наших любимых стандартных 9-миллиметровых "браунингов", а бумажник из тисненой марокканской кожи, набитый хозяйскими купюрами всех достоинств.

– Кажется, я насчитал три изящных кольца, сэр, в том числе одно с искусственным изумрудом, одно с белым стразом, а также, господа, ожерелье из искусственных рубинов в три нитки. Желание Его Королевского Высочества заключается в том, чтобы мы по-благородному уладили все неудобства, которые, возможно, причинены вашим замечательным сотрудникам,

понимаете? А также выплатили комиссионные лично вам в силу уже достигнутой между нами договоренности по поводу неразглашения.

Захват Монти наконец-то ослаб, и, когда мы направлялись к залу, я осмелился взглянуть на Монти. К моему великому облегчению, я увидел, что выражение его лица было хотя и задумчивым, но удивительно мягким.

– В этом-то, Нед, вся беда нашей работы, – с чувством удовлетворения объяснял он, впервые называя меня по имени. – Жизнь глядит в одну сторону, мы – в другую. Мне и самому иногда нравится настоящий враг, и я готов это признать. Однако таких не сразу найдешь. Очень много вокруг хороших ребят.

Глава 3

– А теперь, пожалуйста, запомните, – благочестиво призывал Смайли своих молодых слушателей, таким же тоном он мог предложить им перед уходом положить свои деньги в кружку для пожертвований, – что англичанин или, если позволите, англичанка, получившие образование частным образом, – самые что ни на есть отъявленные лицемеры. – Он подождал, пока утихнет смех. – Так было, так есть и так будет до тех пор, пока сохраняется наша позорная система образования. Никто не сможет так, как эти лицемеры, очаровать вас красноречием, скрыть от вас свои чувства, умело замести следы или с большим трудом признаться, что вел себя как дурак. Никто не ведет себя более отважно, когда до смерти напуган, и никто, кроме них, не делает счастливую мину, когда ему жутко плохо. И никто, кроме вашего англичанина или англичанки с открытой натурой из так называемых привилегированных классов, не сможет, ненавидя вас, вам же и польстить больше всех. У него может случиться нервный срыв в 12 баллов по шкале Рихтера, пока он стоит рядом с вами в очереди на автобус, и, пусть даже вы будете его лучшим другом, вы так ничего и не заметите. Поэтому-то некоторые из наших лучших офицеров оказываются худшими. А наши худшие – лучшими. Именно поэтому самым непростым агентом, с которым вам когда-либо придется столкнуться, будете вы сами.

Вне всякого сомнения, Смайли, говоря об этом, подразумевал величайшего среди всех нас обманщика Билла Хейдона. Но мне казалось, он говорил о Бене и еще, пусть это трудно признать, о молодом Неде, а может, и о старом тоже.

Была середина того дня, когда мне не удалось принести в жертву охранника Панды. Вернувшись к себе в квартиру в Баттерси усталым и удрученным, я увидел, что дверь на защелке, а два человека в серых костюмах просматривают бумаги в моем столе.

Когда я вломился, они еле удостоили меня взглядом. Ближним ко мне был Кадровик, а вторым – похожий на сову коротконогий и толстый человек без возраста, в круглых очках, который посмотрел на меня с этаким зловещим сочувствием.

– Когда последний раз ты контактировал со своим другом Кавендишем? – спросил Кадровик, едва взглянув на меня и возвращаясь к моим бумагам.

– Это ваш друг, не так ли? – печально сказал похожий на сову, пока я пытался взять себя в руки. – Бен? Арно? Как вы его зовете?

– Да. Друг. Бен. А в чем дело?

– И когда же ты последний раз с ним общался? – повторил вопрос Кадровик, отодвигая в сторону пачку писем от моей бывшей подружки. – Он звонит тебе? Как вы связываетесь?

– Неделю назад я получил от него открытку. А что?

– Где она?

– Не знаю. Я уничтожил ее. А может, она в столе. Очень прошу, скажите, что, собственно, происходит?

– Уничтожил ее?

– Выбросил.

– “Уничтожил” звучит очень нарочито, не правда ли? Как она выглядела? – сказал Кадровик, выдвигая другой ящик. – Оставайся, где стоишь.

– С одной стороны – фотография девочки, с другой – пара строк от Бена. Да и какая разница, что было на открытке? Пожалуйста, уходите отсюда.

– И что он написал?

– Да ничего. Было написано, что это, мол, мое последнее приобретение. “Дорогой Нед, это моя новая добыча, я так рад, что тебя нет рядом. Целую, Бен”. А теперь убирайтесь!

– Что он хотел этим сказать? – Выдвигается следующий ящик.

– Думаю, был рад, что я не отобью у него девчонку. Это шутка.

– А ты обычно отбиваешь у него женщин?

– У нас нет общих женщин. И никогда не было.

– А что у вас общее?

– Дружба, – зло сказал я. – Что, черт возьми, вы здесь ищете? Думаю, вам лучше немедленно уйти. Обоим.

– Не могу найти, – пожаловался Кадровик своему толстому компаньону, отшвыривая еще пачку моих личных писем. – Никакой открытки. Нед, а ты не врешь?

Похожий на сову не сводил с меня глаз. Он продолжал рассматривать меня с противным состраданием, словно хотел сказать, что всем нам этого не миновать и что ничего не поделаешь.

– Нед, а как открытка была доставлена? – спросил он. Голос его, как и поведение, был вкрадчив и полон сочувствия.

– По почте, как же еще? – грубо ответил я.

– То есть обычной почтой? – грустно предположил очкарик. – А не служебной, например?

– Армейской почтой, – ответил я. – Полевым почтовым отделением. Отправлена из Берлина с британской маркой. Доставлена местным почтальоном.

– Нед, а не помните ли вы случайно номер полевой почты? – спросил, ужасно стесняясь, очкарик. – На штемпеле, я имею в виду.

– По-моему, обыкновенный берлинский номер, – резко ответил я, стараясь сдержать возмущение таким изысканно уважительным отношением. – Кажется, сорок. А почему это так важно? Мне все это уже надоело.

– Но вы сказали, что письмо, во всяком случае, точно было отправлено из Берлина? То есть тогда у вас сложилось именно такое впечатление? Как вам теперь это помнится? Берлинский номер – вы уверены?

– Оно выглядело точно так же, как и все остальные, которые он мне присылал. Я его не рассматривал, – сказал я, и меня снова захлестнул гнев, когда я увидел, как Кадровик вытаскивает следующий ящик и вываливает на стол его содержимое.

– Хорошенькая девочка, Нед? – спросил очкарик с затравленной улыбкой, будто желая извиниться и за Кадровика, и за самого себя.

– Да, обнаженная. Шлюха, скорее всего, с голой задницей. Поэтому я фотографию и выкинул. Из-за моей уборщицы.

– Ах, теперь ты вспомнил! – закричал Кадровик, развернувшись всем корпусом, чтобы посмотреть на меня. – “Я ее выкинул”. Жаль, черт возьми, что ты сразу этого не сказал.

– Не знаю, что и сказать, Рекс, – примирительно сказал очкарик. – Нед, когда вошел, был очень смущен. Да и кто бы на его месте не был? – Его взволнованный взгляд снова остановился на мне. – Вы стажируетесь у наблюдателей, правильно? Монти говорит, что вы неплохо справляетесь. Кстати, а она была цветная? Фотография вашей обнаженной?

– Да.

– Он всегда посылает открытки или иногда письма?

– Только открытки.

– Сколько?

– Три или четыре с тех пор, как он уехал.

– Всегда цветные?

– Не помню. Возможно. Да.

– И всегда девочек?

– По-моему, да.

– Вы ведь на самом деле помните. Конечно же. И всегда голых, я надеюсь?

– Да.

– Где же остальные?

– Вероятно, я выбросил и их.

– Из-за вашей уборщицы?

– Да.

– Чтобы пощадить ее чувства?

– Да!

На этот раз очкарик долго над этим раздумывал.

– Значит, эти вонючие открытки – извините, я никого не хочу обидеть, правда – были у вас чем-то вроде шутки?

– Да, с его стороны.

– А в ответ вы ему ничего не посылали? Пожалуйста, скажите, если посылали. Не смущайтесь. На это нет времени.

– Я не смущаюсь! Я ничего ему не посылал! Да, это было шуткой. И чем дальше, тем более рискованной. Если хотите знать, мне начинало уже немного надоедать, когда пополнение этой коллекции выкладывалось в холле на столе. Да и господину Симпсону тоже. Это наш хозяин. Он предложил мне написать Бену и попросить его больше не присылать их. Он сказал, что иначе дом приобретет дурную репутацию. А теперь пусть кто-нибудь объяснит мне, черт возьми, что происходит?

На этот раз ответил Кадровик.

– Что ж, мы как раз думали, что на этот вопрос ты смог бы нам ответить, – произнес он скорбным голосом. – Бен Кавендиш исчез. Как и его агенты, в некотором смысле. О двух из них написано сегодня утром в “Нойес Дойчланд”. Британская шпионская организация захвачена с поличным. Об этом говорится в последних выпусках лондонских вечерних газет. Его не видели уже три дня. Это господин Смайли. Он хочет с тобой поговорить. Нужно рассказать ему все, что ты знаешь. Абсолютно все. До скорого.

На секунду, наверное, я потерял связь с реальностью, поскольку, когда увидел Смайли снова, он уже стоял в центре ковра, печально глядя вокруг на разгром, который учинили они с Кадровиком.

– У меня на той стороне реки есть дом на Байуотер-стрит, – признался он, словно это было для него тяжким бременем. – Может, отправимся туда, если вы, конечно, не возражаете? Там не очень прибрано, но все же лучше, чем здесь.

* * *

Мы поехали туда на скромном маленьком “Остине” Смайли так медленно, что могло показаться, будто он перевозит инвалида, кем, впрочем, он меня теперь и считал. Наступили сумерки. Отражения белых фонарей моста Альберта плыли на нас по речной поверхности, словно огни старинных карет. Бен, в отчаянии думал я, в чем мы провинились? Бен, что они с тобой сделали?

Байуотер-стрит была забита машинами, и мы припарковались на территории конюшен. Поставить машину на стоянку было для Смайли все равно что ввести судно в док, но он справился с этим, и мы пошли пешком. Я вспоминаю, как невероятно трудно было идти с ним рядом, как шел он – вразвалку и размахивая рукой, словно меня рядом и не было. Я вспоминаю, как он весь подобрался, прежде чем отпереть свою собственную дверь, и как насторожился, когда вошел в холл, будто дом таил в себе опасность для него. И теперь я знаю, что так оно и было. В прихожей стояли бутылки с молоком, накопившиеся за несколько дней, а в гостиной – тарелка с недоеденной отбивной с горошком. Безмолвно вращалась вертушка проигрывателя. И не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что его вызвали срочно – надо полагать, это сделал Кадровик вчера вечером, когда Смайли уплетал свою котлету и слушал музыку.

Чтобы принести содовой для нашего виски, он прошел на кухню. Я последовал за ним. В Смайли было нечто такое, что налагало на тебя ответственность за его одиночество. Повсюду стояли открытые консервные банки, а раковина была завалена грязными тарелками. Пока он смешивал виски с содовой, я начал мыть посуду, поэтому, выудив из-за двери кухонное полотенце, он стал вытирать ее и расставлять по местам.

– Вы с Беном были хорошими товарищами, правда? – спросил он.

– Да, у нас в Сэррате было общее жилье.

– То есть кухня, две спальни, ванная?

– Кухни не было.

– И занимались вы с ним тоже вместе?

– В последний год обучения, когда выбираешь себе напарника и учишься с ним работать.

– Выбираешь? Или выбирают за тебя?

– Сначала выбираешь сам, потом они или одобряют, или забодают.

– И после этого вы и оказались вместе друг с другом на горе и на радость?

– В общем, да.

– Весь последний год? Практически полкурса? День и ночь, так? Просто как семейная жизнь?

Я не мог взять в толк, зачем он выдавливает из меня то, о чем должен был знать.

– И вы все делали вместе? – продолжал он. – Извините, но с тех пор, как обучался я, прошло немало времени. Письменные работы, практические занятия, физическая подготовка, общий беспорядок, общее жилье – фактически вся жизнь.

– Мы вместе посещали поточные лекции и занимались физической подготовкой. Так делается всегда. Для начала подбирают ребят приблизительно одного веса и телосложения. (Несмотря на раздражающую тенденциозность его вопросов, у меня возникло непреодолимое желание поговорить с ним.) А все остальное вытекает из этого вполне естественно.

– Вот как?

– Иногда они разделяли нас – скажем, во время спецзанятий или если считали, что один из нас слишком уж полагается на другого. Но до тех пор, пока все идет на равных, они только рады держать нас вместе.

– И вы во всем были впереди, – с одобрением предположил Смайли, взяв очередную мокрую тарелку. – Вы были лучшей парой. Вы и Бен.

– Просто Бен был лучшим студентом, – сказал я. – Любой бы выиграл, будь он рядом.

– Да, конечно. Что ж, все мы знаем подобных людей. А вы знали друг друга перед тем, как пошли работать в Службу?

– Нет. Но шли параллельно. Ходили в одну школу, но в разные здания. Учились в Оксфорде, но в разных колледжах. Оба занимались языками, но все равно ни разу не встретились. Он недолго служил в армии, я – на флоте. Именно Цирк и свел нас вместе.

Взяв изящную чашку китайского фарфора, он с сомнением заглянул в нее, словно хотел найти что-то, что я упустил. – А вы бы отправили Бена в Берлин?

– Конечно, отправил бы. А почему бы нет?

– Объясните.

– У него превосходный немецкий благодаря матери. Это умница. Способный. Люди делают то, чего он от них хочет. Его отец был на этой ужасной войне.

– Как и ваша мать, насколько я помню, – он имел в виду участие моей матери в голландском Сопротивлении. – А чем он занимался – я говорю об отце Бена? – продолжал Смайли, будто на самом деле не знал этого.

– Он расшифровывал немецкие коды, – сказал я, как Бен, с гордостью. – Он был расшифровщиком. Математиком. По-видимому, гениальным. Он помог организовать двойную перекрестную систему против немцев – он перевербовывал агентов, а потом отправлял обратно. По сравнению с этим моя мать была просто мелкой сошкой.

– И на Бена это произвело впечатление?

– А на кого бы не произвело?

– То есть он об этом говорил? – настаивал Смайли. – Часто? Это многое для него значило? У вас было такое ощущение?

– Он только сказал, что ему надо быть достойным отца. Он сказал, что это будет его компенсацией за то, что его мама – немка.

– Господи, – с грустью произнес Смайли. – Бедняга. Так и сказал? Вы не приукрашиваете?

– Конечно, нет! Он сказал, что в Англии с такой биографией, как у него, ему, чтобы прокормиться, нужно крутиться вдвое быстрее, чем кому-либо другому.

Казалось, что Смайли расстроился по-настоящему.

– Господи, – снова сказал он. – Как несправедливо. А как вы думаете, у него есть выдержка?

И снова он заставил меня задуматься. В нашем возрасте мы на самом деле не понимаем, что на что-то может и не хватить сил.

– Для чего? – спросил я.

– Ну, не знаю. Какая выдержка нужна для того, чтобы вдвое быстрее любого другого бегать по Берлину? Да и нервы, думаю, нужны вдвое толще – всегда в напряжении. А выпить больше и не захмелеть? А уж когда имеешь дело с женщинами – там это всегда непросто.

– Я уверен, что у него есть все, что для этого нужно, – преданно сказал я.

Смайли повесил полотенце на согнутый гвоздь, который выглядел как его личный вклад в оборудование кухни. – А вы оба, вы когда-нибудь говорили о политике? – спросил он, пока мы шли с виски в руках в гостиную.

– Никогда.

– Тогда я уверен, что он в здравом рассудке, – сказал он, грустно рассмеявшись, и я засмеялся тоже.

Жилища, как мне всегда кажется с первого взгляда, обладают либо женскими, либо мужскими чертами, и дом Смайли был, без сомнения, женским: с красивыми занавесками, зеркалами в резных рамах – всюду чувствовались умные женские руки. Я размышлял, жил он с кем-нибудь или нет. Мы сели.

– А по какой причине вы могли бы не послать Бена в Берлин? – возобновил он разговор, глядя с доброй улыбкой поверх стакана.

– Ну, только если бы я сам захотел поехать. Каждому хочется попробовать себя на работе в Берлине. Это передний край.

– Он просто исчез, – объяснил Смайли, откидываясь на спинку кресла и, казалось, закрывая глаза. – Мы ничего от вас не скрываем. Я скажу вам, что нам известно. В прошлый четверг он перешел в Восточный Берлин, чтобы встретиться со своим главным агентом по имени Ганс Зайдль – его фотографию можно увидеть в "Нойес Дойчланд". Бен впервые встречался с ним лично. Важное событие. Начальник Бена в Берлинском отделении – Хэггарти. Вы знаете Хэггарти?

– Нет.

– Слышали о нем?

– Нет.

– Бен никогда о нем не упоминал в разговоре с вами?

– Нет. Я уже говорил. Я никогда не слышал этого имени.

– Извините. Иногда ответ может меняться в зависимости от контекста, если вы поняли, что я имею в виду.

Я не понял.

– Хэггарти – второй человек в отделении после начальника. Этого вы тоже не знали?

– Нет.

– У Бена есть постоянная подружка?

– Нет, насколько мне известно.

– Случайные?

– Стоило нам с ним пойти на танцы, как они сразу же вешались на него со всех сторон.

– А после танцев?

– Он не хвастался. Он вообще не трепач. Если бы и спал с ними, то не сказал бы. Это не такой человек.

– Мне сказали, что вы с Беном вместе отдыхали. Куда вы ездили?

– В "Туикнем" [6], в "Лордз" [7]. Немного рыбачили. В основном бывали у родителей друг друга.

– Ага.

Я не мог понять, почему меня пугали слова Смайли. Может, я настолько боялся за Бена, что меня пугало все. Мне все больше и больше казалось, что Смайли предположил, что я в чем-то виноват, пусть нам и предстояло еще выяснить, в чем именно. То, как он пересказывал события, напоминало перечень улик.

– Первый – это Уиллис, – сказал он так, словно мы идем по запутанному следу. – Уиллис – глава Берлинского отделения, у Уиллиса рабочая команда. За ним – Хэггарти. Хэггарти – руководитель операции в подчинении у Уиллиса и непосредственный начальник Бена. Хэггарти отвечает за повседневную работу агентуры Зайдля. Эта сеть состоит ровно из двенадцати агентов – или состояла, что будет точнее, – из девяти мужчин и трех женщин, находящихся сейчас под арестом. Чтобы поддерживать нелегальную работу такого количества агентов, которые связываются между собой или по радио, или с помощью тайнописи, необходима

базовая команда по меньшей мере с таким же количеством людей, не говоря уже об оценке и распределении информации.

– Я знаю.

– Я в этом уверен, но все-таки позвольте рассказать, – продолжал он все таким же занудным тоном. – Тогда вы мне поможете восполнить все пробелы. Хэггарти – очень сильная личность. Родом из Ольстера. Вне работы – пьющий, шумный и вообще мало приятный. Но на службе ничего такого себе не позволяет. Добросовестный офицер с потрясающей памятью. Вы уверены, что Бен никогда вам о нем не говорил?

– Нет, я уже сказал.

Я не собирался говорить это таким непререкаемым тоном. Очень часто, отрицая что-то, начинаешь сам себе казаться вруном – в этом есть какая-то загадка; и, конечно же, Смайли подсовывал мне именно эту загадку, чтобы выявить то, что было во мне скрыто.

– Да, вы мне уже сказали “нет”, – произнес он со своей привычной любезностью. – И я это слышал. Просто мне подумалось, что я, возможно, оказал на вас давление.

– Нет.

– Хэггарти и Зайдль были друзьями, – продолжал он еще медленнее, если такое вообще было возможно. – И, насколько позволяла их работа, они были близкими друзьями. Зайдль был военнопленным в Англии, Хэггарти – в Германии. В 1944 году, когда Зайдль работал на ферме около Сайренсестера (режим содержания военнопленных уже не был таким строгим), он стал ухаживать за английской девушкой, работавшей там же. Около главных ворот охранники лагеря оставляли ему велосипед с перекинутой через руль армейской шинелью, чтобы Зайдль мог прикрыть свою робу. И когда он к побудке возвращался в свою постель, охранники делали вид, что ничего не замечают. Зайдль навсегда остался благодарен англичанам. Когда родился ребенок, на крестины пришли охранники и друзья-заключенные. Трогательно, правда? Англичане на высоте. Эта история ничего не напоминает?

– Каким образом? Вы ведь говорите о джо!

– Провалившемся джо. Об одном из тех, что были у Бена. Испытания, выпавшие на долю Хэггарти в немецком лагере для военнопленных, таких приятных воспоминаний вызывать не могли. Не важно. В 1948 году, числясь в Контрольной комиссии, Хэггарти подцепил Зайдля в ганноверском баре, завербовал его и отправил в Восточную Германию, в его родной Лейпциг. С тех пор он и был над ним главным. Дружба Хэггарти и Зайдля была ведущим колесом Берлинской станции за последние пятнадцать лет. Ко времени своего ареста на прошлой неделе Зайдль был четвертым человеком в министерстве иностранных дел Восточной Германии. Он был их послом в Гаване. Но вы никогда о нем не слышали? Никто о нем при вас даже не заикался? Ни Бен, ни кто-либо другой?

– Нет, – сказал я таким утомленным тоном, каким только мог.

– Раз в месяц Хэггарти привык ездить в Восточный Берлин и выслушивать Зайдля – в машине ли, на конспиративной квартире, на скамейке в парке – где угодно, это было обычным делом. После того как была воздвигнута Стена, деятельность Службы на время приостановилась, а потом встречи с соблюдением всех мер предосторожности возобновились. Игра состояла в том, чтобы переправиться туда на машине, принадлежащей странам четырехстороннего соглашения, – скажем, на армейском джипе, – ввести замену, выскочить в нужный момент и снова сесть в машину в оговоренном месте. Конечно, это связано с риском. Так оно и было на самом деле, но на практике срабатывало. Если Хэггарти был в отпуске или болел, встречи не происходили. Несколько месяцев назад Главное управление постановило, что Хэггарти должен представить Зайдля своему преемнику. Хэггарти уже достиг пенсионного возраста, Уиллис сидит в Берлине уже столько времени, что все это ему стоит поперек горла, и, кроме того, он знает слишком много секретов, чтобы ходить на прогулки за Занавес. В результате в Берлин отправляется Бен. У Бена безупречная репутация. Чист. Сам Хэггарти

беседовал с ним – надо полагать, разговор был исчерпывающим. Уверен, что он не проявил снисходительности. Хэггарти вообще не отличается милосердием, а агентурная сеть из двенадцати человек – дело не такое уж простое: кто на кого работает и почему, кто кого знает в лицо, пути отхода, шифры, связные, клички, метки, радиоаппаратура, почтовые ящики, тайнопись, машины, оклады, дети, дни рождения, жены, любовницы. Многовато, чтобы все сразу да в одну голову.

– Я знаю.

– Это Бен вам сказал, да?

На этот раз я не стал на него кидаться. Твердо решил этого не делать.

– Мы это проходили. Ad infinitum [8], – сказал я.

– Да. Надеюсь, что проходили. Беда только в том, что теория сильно отличается от практики, не так ли? А кто его лучший друг, не считая вас?

– Не знаю. – Я был встревожен неожиданным поворотом. – Вероятно, Джереми.

– А фамилия?

– Голт. Он учился на нашем курсе.

– А из женщин?

– Я же говорил. Какой-то одной не было.

– Хэггарти хотел взять Бена с собой в Восточный Берлин, чтобы самому представить его, – продолжал Смайли. – Пятый этаж не вынес бы этого. Они пытались отвадить Хэггарти от своего агента и не хотели посылать двух человек в эту дыру, где и одного достаточно. Поэтому Хэггарти прошелся с Беном по карте города, где были места встреч, и Бен отправился в Восточный Берлин один. В среду он произвел предварительный осмотр и рекогносцировку местности. В четверг поехал снова, на сей раз на встречу. Поехал легально, в машине Контрольной комиссии марки "Хамбер". В три часа дня он пересек контрольно-пропускной пункт "Чарли" и в условленном месте незаметно вышел из машины. Его дублер, как и было запланировано, ездил в машине три часа. В восемнадцать десять Бен благополучно сел в автомобиль и в восемнадцать пятьдесят въехал в Западный Берлин. О его возвращении была отметка в журнале на КПП. Он сам себя завез на квартиру. Беспроигрышный вариант побега. Уиллис с Хэггарти ждали его в штаб-квартире, но он не приехал, а позвонил из дома. Он сказал, что встреча прошла, как и было запланировано, но что обратно он не привез ничего, кроме высокой температуры и диких болей в животе. Не могли бы они отложить опрос до утра? С большим сожалением они согласились. И с тех пор не видели его и не слышали. У него был довольно веселый голос, несмотря на недомогание, которое, они решили, произошло на нервной почве. Бен когда-нибудь при вас болел?

– Нет.

– Он сказал, что их общий друг находился в отличной форме, настоящая личность и так далее. Ясно, что по телефону он больше ничего не мог сказать. Его кровать была не тронута, с собой он не взял никаких лишних вещей. Нет доказательств, что он звонил из квартиры. Нет доказательств, что его похитили. И нет доказательств, что его не похитили. Если же он собрался дезертировать, то почему тогда не остался в Восточном Берлине? Если бы его хотели перевербовать и вернуть нам, то не стали бы арестовывать его сеть. А если хотели похитить его, то почему не сделали этого, пока он был по их сторону Стены? Нет никаких серьезных данных, которые свидетельствовали бы о том, что он уехал из Западного Берлина через одно из проверенных окон – поездом, автобаном, самолетом. На отметку в журнале на КПП нельзя полагаться, ведь он, как вы говорите, был обучен. Насколько нам известно, из Берлина он вообще не выезжал. С другой стороны, мы думали, что он мог прийти к вам. Не делайте такого удивленного лица. Ведь вы его друг, правильно? Лучший друг? Ближе и нет никого. Молодой Голт не в счет. Он нам сам так и сказал: "Самым близким приятелем Бена был Нед. Если бы

Бену потребовалось к кому-нибудь обратиться, обратился бы к Неду". Боюсь, что вещественное доказательство это все же подтверждает.

– Какое вещественное доказательство?

Ни многозначительной паузы, ни эффектного изменения тона, никакого предупреждения: просто старина Джордж Смайли в своем извиняющемся репертуаре.

– У него в квартире обнаружено письмо, адресованное вам, – сказал он. – Без даты, лежало в ящике. Скорее каракули, а не письмо. Наверное, он был пьян. Боюсь, это любовное письмо. – И, вручив мне его фотокопию, он налил нам обоим еще виски.

* * *

Возможно, я делаю это для того, чтобы помочь себе отвлечься от неловкой ситуации. Всякий раз, когда эта сцена всплывает в моей памяти, я смотрю на нее глазами Смайли. Я пытаюсь себе представить, как он чувствовал себя в той ситуации.

То, что он видел перед собой, довольно легко обрисовать. Вообразите старательного практиканта, пытающегося выглядеть старше своих лет, курящего трубку и мудро кивающего, мальчишку, изображающего из себя этакого морского волка, который ждет не дождется своих зрелых лет, – вот вам и молодой Нед начала шестидесятых.

А вот вообразить себе его в прошлом было и вполовину не так просто, а поэтому он мог легко менять свои представления обо мне. Цирк, хотя в то время я не мог об этом знать, был на мели, преследуемый бессчетным количеством провалов. Трагичный, по сути, арест агентов Бена был всего лишь последним звеном в цепи разразившихся по миру катастроф. В Северной Японии целая прослушивающая станция Цирка в составе трех человек словно растворилась в воздухе. На Кавказе были неожиданно свернуты наши пути отхода. Мы потеряли агентурную сеть в Венгрии, Чехословакии и Болгарии – и все за какие-то месяцы. А в Вашингтоне наши Американские Братья горланили о том, что не удовлетворены такой ненадежностью, и угрожали навеки порвать особые отношения.

Подобная обстановка становится благодатной почвой для самых чудовищных теорий. Развивается бункерный психоз. Не допускаются ни случайность, ни непредвиденное обстоятельство. А если Цирк и одерживал победу, то только потому, что нам это позволяли противники. Обвинение в связи было обычным делом. В восприятии американцев Цирк холил не одного крота, а целые норы кротов, каждый из которых способствовал ловкому продвижению по служебной лестнице всех остальных. А объединяла их не столько пагубная вера в Маркса – хотя и это было уже достаточно плохо, – сколько этот их ужасный английский гомосексуализм.

Я прочитал письмо Бена. Двадцать строк, без подписи, на белой без водяных знаков бумаге, которой постоянно пользуются в Службе, написанное с одной стороны. Почерк Бена, но вкривь и вкось, ничего не вычеркнуто. Да, скорее всего он был пьян.

Письмо называло меня "Нед, мой любимый". Оно клало руки Бена на мое лицо и приближало его губы к моим. Оно целовало мои веки, мою шею и, слава богу, на моем фасаде здесь и останавливалось.

В нем не было прилагательных, ничего выдуманного, и от этого оно выглядело еще страшнее. Это не была историческая стилизация, в нем не было стилизации ни под греков, ни под двадцатые годы. Это был свободный крик страстного гомосексуального желания мужчины, которого я знал только как своего хорошего товарища.

Но, когда я прочитал письмо, я понял, что написал его именно настоящий Бен. Бен, сознавшийся в мучениях и чувствах, о которых я никогда и не подозревал, а когда узнал, то принял их за искренние. Может, уже это делало меня виновным, то есть то, что я стал объектом его желания, даже если сознательно его никогда не привлекал и никогда не испытывал ответного желания. Прости, говорилось в его письме, и все. Не думаю, что оно было не окончено. Просто больше сказать ему было нечего.

– Я не знал, – сказал я.

Я вернул Смайли письмо. Он положил его обратно в карман. Глаза его так и сверлили мое лицо.

– Или не знали, что знаете, – предположил он.

– Я не знал, – резко повторил я. – Что вы хотите меня заставить сказать?

Вы должны попытаться осознать высокое положение Смайли и уважение, которое вызывало его имя в любом человеке моего поколения. Он ждал меня. Я запомню на всю жизнь властную силу его терпения. Неожиданно, будто с хлопка в ладоши, начался ливень – так начинается ливень в узких лондонских улочках. Я не удивился бы, если бы Смайли сказал мне, что управляет погодой.

– В Англии ничего не разберешь, – мрачно сказал я, стараясь собраться. Одному богу известно, на что именно я хотел обратить внимание. – Джек Артур не женат, правильно? Вечерами некуда пойти. Пьет с парнями, пока не закроется бар. Дальше – больше. Однако никто не говорит, что Джек Артур – педик. Но, если завтра его задержали бы в постели с двумя поварами, мы сказали бы, что так и думали. Или я бы так сказал. Это несущественно, – продолжал все не о том запинаться я, двигаясь на ощупь, но не находя пути. Я понимал, что вообще не возражать – значит возражать слишком, но все равно продолжал протестовать.

– А где, по крайней мере, было найдено письмо? – спросил я, пытаясь вновь овладеть ситуацией.

– В ящике его стола. Мне казалось, что я говорил.

– В пустом ящике?

– Это имеет значение?

– Да, имеет! Если оно валялось среди старых бумаг – это одно. Если оно было положено туда, чтобы его нашли ваши люди, – это другое. Может, его заставили написать.

– О, я уверен, что его заставили, – сказал Смайли. – Вопрос только в том, что именно его заставило. Вы знали, что он был настолько одинок? Если в его жизни никого, кроме вас, не было, я бы подумал, что все это могло быть вполне вероятным.

– Почему же тогда это не показалось вероятным Кадровику? – сказал я, снова возмутившись. – Господи, они поджаривали нас достаточно долго, прежде чем утвердить. Все вынюхивали о наших друзьях, родственниках, учителях и наставниках. Им известно о Бене значительно больше, чем мне.

– Почему бы нам не признать, что Кадровик потерпел неудачу? Он человек, это Англия, а мы – одна братия. Давайте-ка снова начнем с Бена, который пропал. С Бена, который вам написал. Никто, кроме вас, не был ему близок. Во всяком случае, никто из вам известных. Ведь могло быть множество людей, о которых вы не знали, но это не ваша вина. Насколько нам известно, не было никого. Мы это установили. Не так ли?

– Так!

– Что ж, прекрасно, тогда давайте поговорим о том, что вы знали. Ну как?

Так или иначе, он спустил меня на землю, и мы проговорили до рассвета. Мы еще долго говорили после того, как кончился дождь и стали появляться звезды. Вернее, говорил я – Смайли слушал так, как умеет только он, полузакрыв глаза и уткнув подбородок в шею. Я думал, что рассказываю ему все, что знаю. Может, и он думал, что я говорю ему все, хотя

сомневаюсь в этом, поскольку он намного лучше меня разбирался в степенях самообмана, что является средством нашего выживания. Зазвонил телефон. Он послушал, пробормотал: "Спасибо" – и повесил трубку.

– Бена все еще нет и никаких намеков, – сказал он. – Вы все еще единственный ключ к разгадке. – Я не помню, чтобы он делал какие-либо записи, и по сей день не знаю, был ли включен магнитофон. Сомневаюсь. Он ненавидел технику, и, кроме того, его память была намного надежнее.

Я говорил о Бене, но также рассказывал и о себе, чего от меня и хотел Смайли: я – как объяснение поступков Бена. Я снова описал параллельный ход нашей жизни. Как я завидовал, что у него такой герой-отец, – я, у которого не было отца и нечего было вспоминать. Я не скрывал нашего с Беном радостного удивления, когда мы начали понимать, как много у нас общего. Нет, нет, снова повторил я, я не знал ни об одной женщине – за исключением его матери, которая уже умерла. И я верил себе, убежден, что верил.

В детстве, рассказывал я Смайли, я часто думал, а нет ли где-нибудь на земле другого меня, этакого тайного двойника с такими же игрушками, одеждой, мыслями, что и у меня, и даже с такими же родителями. Возможно, я прочитал какую-то книгу, в основе которой лежала такая история. Я был единственным ребенком. Как и Бен. Я все это рассказывал Смайли, потому что решил напрямую выложить ему все мои мысли и воспоминания по мере того, как они ко мне приходили, даже если в его глазах они меня чем-то порочили. Я знаю только, что сознательно ничего от него не скрывал, пусть даже считал это потенциально губительным для себя. Так или иначе Смайли убедил меня, что это последнее, что я должен сделать для Бена. Бессознательно – что ж, это совершенно другое дело. Кто знает, что скрывает человек, даже от самого себя, когда говорит правду, чтобы остаться в живых?

Я рассказал ему о нашей с Беном первой встрече – в спецучилище Цирка в Ламбете, куда были созваны только что отобранные абитуриенты. До тех пор никто из нас раньше не встречался друг с другом. Если уж на то пошло, мы и с Цирком особо не контактировали, за исключением вербовщика, отдела кадров и комиссии по собеседованию. Некоторые из нас весьма смутно представляли себе, в какую организацию мы вступили. В конечном счете всех нас просветят – друг о друге и о нашем предназначении, и, как персонажи романа об иностранном легионе, мы собрались в приемной – каждый со своими тайными надеждами и тайными причинами прихода сюда, каждый с приготовленной заранее сумкой, в которой лежало одинаковое количество рубашек и трусов, помеченных тушью личным номером, как того требовали напечатанные на простой бумаге инструкции. У меня был девятый номер, у Бена – десятый. Когда я вошел в приемную, передо мной были двое: Бен и коренастый шотландец по имени Джимми. Я кивнул Джимми, но с Беном мы моментально друг друга признали – не по школе или университету, а как люди, которые мало чем отличаются друг от друга и внешностью, и темпераментом.

– Входит третий убийца, – сказал он, поздоровавшись со мной за руку. Момент, чтобы цитировать Шекспира, был выбран, казалось, в удивительно неподходящее время. – Я – Бен, это – Джимми. По-видимому, фамилий у нас больше нет. Джимми оставил свою в Абердине.

Итак, я тоже поздоровался с Джимми за руку и сел на лавку рядом с Беном, чтобы посмотреть, кто следующий войдет в дверь.

– Один к пяти, что у него усы, один к десяти, что борода, и один к тридцати, что на нем зеленые носки, – сказал Бен.

– И длинный плащ.

Я рассказал Смайли об учебных тренировках в неизвестных городах, когда нам приходилось придумать легенду, выйти на контакт и выдержать арест и допрос. Я дал ему почувствовать, в какой мере эти подвиги зависели от нашей дружбы, как укрепили ее наши первые совместные прыжки с парашютом или ночное ориентирование с компасом в гористых

районах Шотландии, выискивание никому не принадлежащих абонентских ящиков в богом забытых городках внутри страны или высадка на берег с подводной лодки.

Я описал ему, как иногда начальство подкидывало отцу Бена туманный намек, чтобы подчеркнуть, как гордятся они тем, что у них учится его сын. Я рассказывал ему о наших выходных, о том, как мы ездили раз к моей матери в Глостершир, раз – к его отцу в Шропшир и веселились при мысли о том, что смогли бы их сосватать, ведь оба они овдовели. Но шансы на это были ничтожными, поскольку мать моя была англичанкой до мозга костей с целой кучей сестер, племянников и племянниц, которые, все как один, выглядели как на портретах Брейгеля, в то время как отец Бена превратился в книжного червя, единственной сохранившейся страстью которого был Бах.

– И Бен преклонялся перед ним, – сказал Смайли, который продолжал бить в одну точку.

– Да. Он обожал мать, но она умерла. Отец стал для него в некотором роде иконой, на которую он молился.

И я вспоминаю, что, к моему стыду, умышленно обошел слово "любить", поскольку его употребил Бен, описывая свои чувства ко мне.

Я рассказал ему о том, что Бен пил, хотя думаю, что они об этом знали. Что обычно Бен пил мало, а иногда и совсем не пил, пока не подходил какой-нибудь вечер – скажем, в четверг, когда уже начинали вырисовываться выходные, – и он с ненасытностью выпивал – виски, водку – глоток за Бена, глоток за Арно. Потом, шатаясь, добирался до постели, вполне безобидный, не в силах произнести ни слова. И что на следующее утро он выглядел как после двухнедельного отдыха в санатории.

– И на самом деле, кроме вас, у него никого не было? – задумался Смайли. – Бедняга, какое мучение справляться одному с таким очарованием.

Я предавался воспоминаниям, я размышлял, я рассказывал ему все, что только приходило мне в голову, но я знал, что он все еще ждал, чтобы я рассказал ему то, что держал при себе, если, конечно, нам удалось бы выяснить, что именно это было. Сознательно ли я что-то утаивал? Могу вам ответить точно так же, как впоследствии ответил сам себе: я не знал, что я знаю. Для того, чтобы выудить мой секрет из темного закоулка, мне понадобилось допрашивать самого себя еще целые сутки. В четыре утра он заставил меня поехать домой и немного поспать. Я должен был находиться у телефона и никуда не отлучаться, не предупредив об этом Кадровика.

– Естественно, за вашей квартирой будут наблюдать, – предупредил он меня, пока мы ждали такси. – Но не надо принимать это на свой счет, хорошо? Представьте себе, что вы в свободном плавании, и, если заштормит, в очень немногих портах вы будете чувствовать себя в безопасности. А в списке таких "портов" ваша квартира у Бена могла бы высоко котироваться. Предположим, что у него, кроме отца, больше никого нет. Но ведь он к нему не пойдет, правильно? Ему будет стыдно. Ему захочется к вам. Поэтому за вашей квартирой будут наблюдать. Это естественно.

– Понимаю, – сказал я, и меня снова захлестнула волна отвращения.

– В конце концов, у него, по-видимому, нет ни одного ровесника, которого он любил бы больше вас.

– Хорошо. Я понимаю, – повторил я.

– С другой стороны, он, конечно, не дурак, поэтому и сам поймет ход наших размышлений. И едва ли предположит, что вы смогли бы спрятать его в своей келье, не предупредив нас. Ну как, вы не сделаете этого, правда?

– Нет. Я не смог бы.

– Это он также поймет, если у него есть хоть немного здравого смысла, и путь к вам будет для него заказан. Все же он мог бы зайти к вам, чтобы обратиться за советом или попросить,

скажем, помощи. Или выпить. Это маловероятно, но и это предположение мы не можем игнорировать. Вы наверняка его самый близкий друг. Ближе всех остальных. Или есть кто другой?

Мне очень хотелось, чтобы он перестал так разговаривать. До сих пор он вел себя крайне деликатно, избегая темы любви, в которой мне объяснился Бен. И вдруг, казалось, он преисполнился решимости снова разбередить эту рану.

– Конечно же, он мог, кроме вас, написать кому-то еще, – гипотетически заметил он. – Мужчинам или женщинам – или и тем и другим. Это не так уж маловероятно. Бывают моменты, когда на человека находит такое отчаяние, что он объясняется в любви всякого рода людям. Если человек знает, что умирает, или замышляет что-то отчаянное. Разница здесь только в том, что письма были бы отправлены. Но не можем же мы обойти дружков Бена с расспросами, не получили ли они недавно от него какое-нибудь жаркое письмецо, – это было бы неосторожно. Кроме того, с кого начать? Вот вопрос. Вам придется поставить себя на место Бена.

Умышленно ли он посеял во мне семя самопознания? Впоследствии я в этом уверился. Помню, как тревожно и проницательно смотрел он на меня, провожая до такси. Помню, как, обернувшись, когда мы заворачивали за угол, я увидел его коренастую фигуру посередине улицы и как до этого, всмотревшись в меня, он вбил последние слова мне в голову: “Вам придется поставить себя на место Бена”.

* * *

Я попал в водоворот. День начался ранним утром на Саут-Одли-стрит и продолжился, с ничтожным перерывом на сон, знакомством с обезьяной Панды и письмом Бена. Остальное доделали кофе Смайли и осознание того, что я – в плену чрезвычайных обстоятельств. Но, клянусь, имя Стефани все еще не возникло тогда у меня даже в самом отдаленном уголке сознания. Стефани пока еще не существовала. Уверен, что никого я не забывал с таким усердием.

В квартире мои периодически возникающие приступы отвращения к страсти Бена сменились тревогой за его безопасность. В гостиной я театрально уставился на диван, на котором он так часто лежал, вытянувшись после долгого дня ламбетских занятий на улице: “Придавлю-ка я здесь, старина, если не возражаешь. Все веселей, чем ночью дома. Пусть Арно спит дома. Бен поспит здесь”. В кухне я дотронулся до старой железной плиты, где жарил ему в полночь яичницу: “Боже всемогущий, Нед, и это называется плитой? Похоже скорее на орудие, с которым мы проиграли Крымскую войну”.

Не сразу после того, как я выключил ночник, я вспомнил его голос, раздающийся из-за тонкой перегородки, когда он забрасывал меня одной бредовой идеей за другой – на жаргоне, которым мы пользовались, на нашем с ним языке.

– Знаешь, что нам следует сделать с братом Насером?

– Нет, Бен.

– Отдать ему Израиль. А знаешь, что нам надо сделать с евреями?

– Нет, Бен.

– Отдать им Египет.

– Почему, Бен?

– Людей может удовлетворить только то, что им не принадлежит. Знаешь историю, как скорпион и лягушка переплывали Нил?

– Знаю. А теперь заткнись и спи.

Историю эту мне он все же рассказал, но на примере из реалий Сэррата. Агенту-скорпиону необходимо войти в контакт со своей командой на противоположном берегу. Лягушка – двойной агент – делает вид, что хочет купить легенду скорпиона, потом выдает ее своим казначеям.

А утром он ушел, оставив лишь записку в одну строчку: "Увидимся в нашей тюрьме для несовершеннолетних" – так он называл Сэррат. "С любовью, Бен".

Говорили ли мы тогда о Стефани? Нет. О Стефани мы говорили движением, взглядом, а не с глазу на глаз и не в переписке. Стефани была мимолетным видением и одновременно загадкой, слишком восхитительной, чтобы ее разгадывать. Поэтому, вероятно, я и не думал о ней. Или еще не думал. Не отдавая себе отчета. Не было драматического момента, когда вдруг наступило бы прозрение и я выскочил бы из ванны с криком "Стефани!". Этого не было по той простой причине, которую я пытаюсь вам объяснить; где-то на ничейной земле, между сознанием и инстинктом самосохранения, Стефани плыла, как мифическое создание, существующее только тогда, когда ее признавали. Насколько я помню, мысль о ней впервые вернулась ко мне, когда я приводил в порядок квартиру после набега Кадровика. Наткнувшись на свой прошлогодний дневник, я стал его листать, думая о том, что в жизни событий гораздо больше, чем мы запоминаем. И, дойдя до июня, я обнаружил линию, перечеркивающую по диагонали две недели в середине месяца с аккуратно написанной рядом цифрой "8", означающей Лагерь 8 в Северном Аргайлле, где мы занимались общей военной подготовкой. И я стал думать – а может, просто чувствовать – да, конечно, Стефани.

И отсюда, не испытав внезапного Архимедова прозрения, я стал вспоминать, как мы ехали ночью по залитым лунным светом дорогам Северной Шотландии: Бен за рулем открытого родстера "Триумф", а я рядом, болтая без перерыва, чтобы не дать ему заснуть, поскольку мы оба находились в счастливо-измученном состоянии после того, как неделю делали вид, что в горах Албании поднимаем на борьбу партизанскую армию. А июньский ветер обвевал наши лица.

Остальные ехали в Лондон на сэрратском автобусе. Но у нас с Беном был родстер "Триумф", принадлежащий Стефани, ведь Стеф была молодчиной, Стеф была бескорыстной. Стеф вела его всю дорогу от Обана до Глазго, чтобы Бен мог попользоваться им неделю и вернуть, когда курс возобновится. Именно так вспомнилась мне Стефани – в точности так, как она предстала передо мной в машине, – бесплотный, дразнящий образ, наша с ним женщина – женщина Бена.

– Итак, кто же или что же такое Стефани? Или, как всегда, ответом мне станет громкое молчание? – спросил я его, открывая "бардачок" в тщетной попытке найти следы ее присутствия.

Громкое молчание длилось мгновение.

– Стефани – это свет для безбожников и образец для добродетельных, – серьезно ответил он. И потом более неодобрительно: – Стефани представляет немецкую часть семьи. – Он и сам был больше по немецкой линии, любил говорить он в более кислом настроении. Он говорил, что Стеф была со стороны Арно.

– Она хорошенькая? – спросил я.

– Не будь вульгарным.

– Красивая?

– Не так вульгарно, но еще не тепло.

– Тогда какая же она?

– Она – совершенство. Она лучится. Она бесподобна.

– Значит, красива?

– Да нет, деревенщина. Изысканна. Sans pareil [9]. Умна так, что и не снилось никакому Кадровику.

– А кроме этого, что она для тебя? Кроме того, что она немчура и хозяйка этой машины?

– Она седьмая вода на киселе моей матери. После войны она приехала к нам жить в Шропшир, и мы вместе выросли.

– Значит, она твоего возраста?

– Если вечность можно измерить, то да.

– Как бы названная сестра.

– Была несколько лет. Мы вместе носились как сумасшедшие, собирали на рассвете грибы, трогали пипки друг у друга. Потом я отправился в школу-интернат, а она вернулась в Мюнхен, чтобы продолжать быть немчурой. Конец детской идиллии – и назад к папочке в Англию.

Так вежливо он не говорил ни об одной женщине, ни о себе.

– А теперь?

Я испугался, что он снова отключился, но в конце концов он мне ответил:

– Теперь все не так весело. Она пошла в художественную школу, подцепила какого-то психа-художника и стала жить в доме, полученном в приданое, на Западных островах Шотландии.

– А почему же тогда все не так весело? Ты не нравишься ее художнику?

– Ему уже никто не нравится. Он застрелился. По неизвестным причинам. Оставил записку в местном совете, в которой извинялся за эту неприятность. Никакой записки для Стеф. Они не были женаты, что еще больше сбило с толку.

– А теперь? – снова спросил его я.

– Она все еще живет там.

– На острове?

– Да.

– В особняке, полученном в приданое?

– Да.

– Одна?

– Большую часть времени.

– То есть ты ездишь туда и встречаешься с ней?

– Да, встречаюсь с ней. Значит, полагаю, и езжу тоже. Да, именно так: я езжу и встречаюсь с ней.

– Это серьезно?

– Все, что касается Стеф, серьезно по-крупному.

– Чем она занимается, когда ты не с ней?

– Надо думать, тем же, чем когда я с ней. Рисует. Разговаривает с птичками. Читает. Музицирует. Читает. Музицирует. Рисует. Думает. Читает. Дает мне свою машину. Хочешь еще что-нибудь узнать о моих делах?

На мгновение мы стали друг другу чужими, пока Бен снова не смягчился.

– А знаешь что, Нед? Женись-ка на ней.

– На Стефани?

– На ком же еще, идиот! Если подумать, чертовски хорошая мысль. Предлагаю собраться и обсудить ее. Ты женишься на Стеф, Стеф выйдет замуж за тебя, а я буду приезжать, жить с вами и ловить в озере рыбу.

Вопрос мой был порожден чудовищной, заслуживающей наказания наивностью.

– Почему же тебе самому не жениться на ней? – спросил я.

Неужели только теперь, стоя в своей квартире и глядя, как рассвет медленно скользит по стенам, я получил ответ? Уставившись на перечеркнутые страницы прошлогоднего июня и передернувшись, вспоминая его ужасное письмо?

Или ответ этот был дан мне уже в машине молчанием Бена, пока мы мчались в шотландской ночи? Неужели уже тогда я знал: Бен говорил мне, что никогда не женится ни на одной женщине?

Неужели по этой причине я изгнал Стефани из своего сознания, так глубоко запрятав ее, что даже Смайли, несмотря на все его хитроумные подкопы, не удалось ее эксгумировать?

Посмотрел ли я на Бена, когда задал ему этот фатальный вопрос? Смотрел ли я на него, когда он не ответил и продолжал молчать? Или же я умышленно не смотрел на него вовсе? К тому времени я привык к его молчанию, поэтому, возможно, напрасно прождав, я в наказание замкнулся в себе.

Но я точно знаю, что Бен так и не ответил на мой вопрос, и никто из нас о Стефани больше не вспоминал.

* * *

Стефани – женщина его мечты, думал я, продолжая изучать свой дневник. На своем острове. Женщина, которая любила его. Но должна выйти замуж за меня.

Женщина, которая имела привкус смерти, в чем герои Бена, казалось, всегда нуждались.

Вечная Стефани, свет для безбожников, лучится, бесподобна, немка Стефани, его образцовая названная сестра – возможно, и мать тоже, – машущая ему со своей башни, предлагающая ему убежище от отца.

“Вам придется поставить себя на место Бена”, – сказал Смайли.

Однако даже сейчас, держа в руках открытый дневник, я не позволил себе неуловимые моменты откровения. Во мне формировалась идея. Постепенно она превратилась в возможность. И только позже, когда мое состояние физической и психологической осады стало меня донимать, идея превратилась в убеждение и, наконец, в цель.

И вот настало утро. Я обработал пылесосом квартиру. Вытер пыль и навел глянец. Я поразмыслил над своим гневом. Бесстрастно, как вы понимаете. Снова открыл стол, вынул свои оскверненные личные бумаги и сжег в камине все то, что посчитал окончательно запятнанным вторжением Смайли и Кадровика: письма от Мейбл, призывы моего бывшего репетитора “заняться чем-нибудь повеселее”, чем примитивная исследовательская работа в военном ведомстве.

Я делал все это как бы своей оболочкой, в то время как остальное “я” боролось против правильного, нравственного, честного хода действий.

Бен, друг мой.

Бен, след которого взяли собаки.

Бен в мучениях, и одному богу известно, что еще ждет его.

Стефани.

Я долго сидел в ванне, потом лег на кровать, глядя в зеркало на комоде, поскольку в зеркало мне была видна улица. Я видел двух человек, которых принял за людей Монти, одетых в спецодежду и тоскливо копающихся в мусоросборнике. Смайли сказал, что я не должен принимать их на свой счет. В конце концов, им всего лишь надо было надеть на Бена наручники.

* * *

Десять часов того же длинного утра. Я решительно встаю к одной створке заднего окна, глядя вниз на убогий двор, воняющий креозотом, с сарайчиком, где когда-то была уборная, и сколоченной из досок калиткой, ведущей на грязную улицу. В конце концов, Монти не так уж безупречен.

Западные острова, сказал Бен. Полученный в приданое особнячок на Западных островах.

Но какой именно из островов? И как фамилия Стефани? Единственно верной догадкой было то, что, если она происходит с немецкой стороны семьи Бена и жила в Мюнхене и поскольку немецкие родственники Бена были знатными, она, скорее всего, титулована.

Я позвонил Кадровику. Я мог позвонить и Смайли, но решил, что безопаснее будет наврать Кадровику. Он узнал мой голос, прежде чем я смог сформулировать, зачем звоню.

– Какие-нибудь новости? – спросил он.

– Боюсь, что нет. Я хочу выйти на часок. Это можно?

– Куда?

– Да есть кое-какие дела. Купить поесть. И что-нибудь почитать. Думал еще заскочить в библиотеку.

Кадровик был знаменит своим неодобрительным молчанием.

– Возвращайся к одиннадцати. Позвони, как только вернешься.

Довольный своей хладнокровной игрой, я вышел через переднюю дверь, купил газету и хлеб. При помощи магазинных витрин я проверил, есть ли “хвост”. Убедился, что никто меня не ведет. Я пошел в публичную библиотеку и в справочном отделе взял старый том “Кто есть кто” и изодранный “Готский альманах”. Я не стал раздумывать, чтобы ответить себе на вопрос, кому в Баттерси могло понадобиться до такой степени зачитать “Готский альманах”. Сначала открыл “Кто есть кто”, найдя там отца Бена, который имел дворянское звание и целый иконостас орденов: “1936 года рождения, женат на графине Ильзе Арно Лотринген, сын – Бенджамин Арно”. Я переключился на “Альманах” и нашел семью Арно Лотрингенов. Она занимала три страницы, но я сразу же отыскал дальнюю родственницу по имени Стефани. Я смело спросил у библиотекарши, есть ли у нее телефонная книга Западных островов Шотландии. У нее не было, но она разрешила мне воспользоваться своим телефоном, чтобы позвонить в справочную, – это было очень удачно, так как я не сомневался в том, что мой телефон прослушивается. Без четверти одиннадцать я был уже у телефона в своей квартире и таким же спокойным, как и раньше, тоном разговаривал с Кадровиком.

– Где ты был? – спросил он.

– В газетном киоске. И в булочной.

– А в библиотеку ходил?

– В библиотеку? А, да. Ходил.

– И что, скажи на милость, ты там взял?

– Да, в общем, ничего. По некоторым причинам, мне оказалось трудно в данный момент на чем-нибудь остановиться. Что мне делать теперь?

В ожидании того, что он скажет, я думал, не слишком ли многословный дал ему ответ, но решил, что сойдет.

– Жди давай. Как и мы.

– Может, мне прийти в штаб-квартиру?

– Поскольку ты ждешь, то можешь с тем же успехом заниматься этим у себя.

– Если хотите, могу вернуться к Монти.

Возможно, благодаря моему сверхбогатому воображению, но мне казалось, что я вижу Смайли, стоящего рядом с ним и подсказывающего ему, как мне отвечать.

– Жди, где сидишь, – грубо ответил он.

Я ждал, но как – одному богу известно. Я делал вид, что читаю. Сгущая краски, я написал Кадровику высокопарное прошение об отставке. Разорвал его на кусочки и сжег. Я смотрел телевизор, а вечером лежал на кровати, наблюдая в зеркало за сменой караула Монти и думал о Стефани, потом о Бене и снова о Стефани, которая теперь крепко засела в моем воображении, всегда недосягаемая, одетая в белое, безукоризненная Стефани, защитница Бена. Позвольте вам напомнить, что я был молод и в том, что касается женщин, был не так опытен, как вам могло бы показаться, если вы слышали, как я о них рассказывал. Адам во мне был скорее ребенком, чем бойцом.

Я прождал до десяти, потом незаметно проскользнул вниз, прихватив бутылку вина для господина Симпсона и его жены, посидел с ними за стаканчиком перед телевизором. Потом отвел господина Симпсона в сторонку.

– Крис, – сказал я, – я понимаю, что это глупо, но меня преследует одна ревнивая дама, и мне бы хотелось выйти через заднюю дверь. Вы бы не разрешили мне выйти через вашу кухню?

Час спустя я был в ночном поезде на Глазго. Я досконально выполнил все правила конспирации и был уверен, что за мной не следят. Все же на Центральном вокзале Глазго я из предосторожности поскучал в буфете над чашкой чаю, выискивая возможных шпиков. В качестве следующей меры предосторожности, прежде чем сесть в кампбеллтаунский автобус до Уэст-Лох-Тарберта, я взял в Хеленсбурге такси, которое перевезло меня на другой берег Клайда. В те дни паром до Западных островов ходил три раза в неделю, кроме короткого летнего сезона. Но судьба ко мне благоволила: лодка ждала и отчалила, как только я в нее сел, поэтому днем мы миновали Джуру, зашли в порт Аскайг и снова в сумерках северного неба взяли курс в открытое море. К тому времени нас было всего трое пассажиров внизу: пожилая пара и я, и, когда я поднялся на палубу, чтобы отвязаться от их расспросов, первый помощник капитана начал радостно задавать мне свои: не каникулы ли у меня? Может, тогда я доктор? Женат ли? Однако я чувствовал себя как рыба в воде. С той самой секунды, как я вышел в море, я начал понимать каждого и все мне, казалось, стало по плечу. Да, с возбуждением подумал я, глядя на приближающиеся огромные утесы и улыбаясь крикам чаек, да, вот где Бен нашел укрытие! Вот где его вагнеровские демоны обретут свободу!

Вы должны понять и постараться простить мою незрелую в те дни чувствительность ко всем формам нордической абстракции. Что двигало Беном, доискивался я. Мифический остров – как будто из Оссиана! – в вихре туч, бурное море со жрицей в одиноком замке – я не мог от этого оторваться. То был самый пик моего периода романтизма, и душа моя была отдана Стефани прежде, чем я увидел ее.

Особняк находился на другом конце острова, как сказали мне в магазине, и лучше попросить, чтобы молодой Фергус довез меня туда на своем джипе. Оказалось, что молодому

Фергусу все семьдесят. Мы проехали сквозь железные ворота-развалюхи. Я заплатил молодому Фергусу и позвонил в звонок. Дверь отворилась – на меня глядела прекрасная женщина.

Она была высока и стройна. Если было правдой то, что она моя ровесница – а так оно и было, – от нее исходила такая сила власти, на приобретение которой у меня ушла бы еще целая жизнь. На ней вместо белого был надет испачканный краской темно-синий рабочий халат. В одной руке она держала мастихин и, когда я заговорил, подняла руку ко лбу и тыльной стороной откинула выбившуюся прядь волос. Потом, опустив руку, она стояла, еще долго слушая меня после того, как я кончил говорить, и вслушивалась в отзвук моих слов, сравнивая их с образом мужчины или мальчика, который стоял перед ней. Но самую странную деталь этого мига мне труднее всего передать. Дело в том, что Стефани оказалась настолько близка тому образу, который существовал в моем воображении, что это противоречило здравому смыслу. Ее бледность, неподкупно-правдивый вид, внутренняя сила вкупе с какой-то трогательной хрупкостью так точно совпадали с тем, что я ожидал увидеть, что, натолкнись я на нее где-то в другом месте, я бы сразу понял – это Стефани.

– Меня зовут Нед, – сказал я, глядя прямо в ее глаза. – Я друг Бена. И его коллега. Я один. Никто не знает, что я здесь.

Я хотел было продолжать. У меня в голове была заготовлена эффектная речь типа: “Пожалуйста, скажите ему, что бы он ни сделал, я – с ним”. Но твердость ее взгляда остановила меня.

– А какое имеет значение, что кто-то знает, что вы здесь, а кто-то нет? – спросила она. Она говорила без акцента, но с немецким ритмом, чуть запинаясь перед открытыми гласными. – Он не прячется. Кто, кроме вас, ищет его? Да и зачем ему прятаться?

– Я понял, что у него могут быть некоторые неприятности, – сказал я, проходя за ней в дом.

Большая комната была наполовину мастерской, а другая половина была приспособлена под жилую комнату. Большая часть мебели была покрыта чехлами. На столе стояла не убранная после еды посуда: две кружки и две тарелки с остатками еды.

– Что за неприятности? – спросила она.

– Это касается его работы в Берлине. Я решил, что он, вероятно, говорил вам об этом.

– Он ничего мне не говорил. Он никогда не говорил со мной о своей работе. Наверное, он знает, что меня это не интересует.

– Можно ли узнать, о чем он говорит?

Она обдумала это.

– Нет, – и затем, вроде бы смягчившись: – Теперь он вообще со мной не разговаривает. Похоже, он стал траппистом [10]. А почему бы и нет? Иногда он смотрит, как я рисую, иногда ловит рыбу, иногда мы что-нибудь едим, иногда выпиваем немного белого вина. Он довольно много спит.

– Как давно он здесь?

Она пожала плечами.

– Дня три.

– Приехал прямо из Берлина?

– Приплыл на лодке. Поскольку он ничего не рассказывает, это все, что я знаю.

– Он исчез, – сказал я. – За ним охотятся. Они решили, что он мог появиться у меня. Не думаю, чтобы они о вас знали.

Она снова слушала меня, слушала сначала мои слова, потом мое молчание. Казалось, ее ничто не смущало, она была как вслушивающееся животное. Вспомнив о самоубийстве ее

возлюбленного, я подумал, что все выпавшие на ее долю переживания делают ее такой: для мелких беспокойств она была недосягаема.

– Они, – повторила она с удивлением. – Кто это – они! Что такого особенного можно узнать обо мне?

– Бен занимался секретной работой, – сказал я.

– Бен?

– Как и его отец, – сказал я. – Он безумно гордился тем, что идет по стопам отца.

Она была поражена и взволнованна.

– Зачем? На кого? Секретная работа? Что за дурак!

– На английскую разведку. Он находился в Берлине, был атташе у военного советника, но его настоящей работой была разведка.

– Бен? – сказала она, и на ее лице отразились отвращение и неверие. – Зачем ему вся эта ложь? Бен?

– Боюсь, вы правы. Но это был его долг.

– Как ужасно.

Ее мольберт стоял ко мне обратной стороной. Встав перед ним, она начала смешивать краски.

– Мне бы с ним только поговорить, – сказал я, но она сделала вид, что слишком поглощена своими красками и не слышит меня.

Задняя сторона дома выходила в парк, за которым виднелись сгорбленные от ветра сосны. За соснами лежало озеро, окруженное маленькими розовато-лиловыми холмами. На дальнем берегу я различил рыбака, стоящего на развалившейся пристани. Он ловил рыбу, но не забрасывал удочку. Не знаю, как долго я разглядывал его, но достаточно долго для того, чтобы понять, что это Бен и что ловить рыбу ему абсолютно неинтересно. Я распахнул стеклянные двери и вышел в сад. Я шел по пристани на цыпочках, а холодный ветер рябил озерную воду. На Бене был надет слишком широкий твидовый пиджак. Я догадался, что он принадлежал ее покойному возлюбленному. И шляпа, зеленая фетровая шляпа, которая, как и все шляпы, на Бене выглядела так, словно была сделана специально для него. Он не обернулся, хотя должен был почувствовать мои шаги. Я встал рядом.

– Единственное, что ты сможешь поймать таким образом, – так это воспаление легких, понял, немецкая задница? – сказал я.

Он смотрел в другую сторону, поэтому я остался стоять рядом с ним, глядя, как и он, на воду и чувствуя толчок его плеча, когда шатающаяся пристань небрежно натолкнула нас друг на друга. Я видел, как темнела вода, а небо за горами становилось серым. Несколько раз я видел, как красный поплавок тонет в маслянистой поверхности. Но если рыба и клевала, Бен и пальцем не шевелил, чтобы поводить ее или намотать катушку. Я увидел, как в доме зажегся свет, и представил Стефани за мольбертом, добавляющую еще мазок и поднимающую руку ко лбу. Холодно. Надвигалась ночь, но Бен не шевелился. Мы вступили друг с другом в состязание, как во время наших занятий по физической подготовке. Я наступал, Бен не сдавался. Но только один из нас мог поставить на своем. Я не собирался уступать, пока он не признает меня, даже если бы мне потребовалось простоять тут всю ночь, весь завтрашний день и даже если бы я умер голодной смертью.

Взошел месяц, появились звезды. Ветер улегся, и над почерневшим болотом появилась серебряная дымка. А мы все еще стояли и ждали, что кто-то из нас сдастся. Я было уже заснул стоя, как услышал жужжание катушки, увидел, что из воды поднимается поплавок и за ним голая, поблескивающая в свете луны леска. Я не пошевелился и ничего не сказал. Я подождал, пока он намотает всю леску и прицепит крючок. Я дал ему повернуться ко мне, что он вынужден был сделать, ведь, чтобы сойти с пристани, ему нужно было пройти мимо меня.

Мы стояли лицом к лицу в свете луны. Бен смотрел вниз, размышляя, по-видимому, как переступить через мои ноги. Взгляд его поднялся до моего лица, но в его выражении ничто не изменилось. Его застывшее лицо так и оставалось каменным. И если оно хоть что-то выражало, то только злость.

– Что ж, – сказал он. – Входит третий убийца.

На этот раз никто из нас не засмеялся.

* * *

Она, видимо, почувствовала наше приближение и ретировалась. Я услышал, как в другом конце дома играет музыка. Дойдя до большой комнаты, Бен направился к лестнице, но я схватил его за руку.

– Тебе придется все рассказать мне, – сказал я. – Никто мне лучше тебя никогда не расскажет. Я нарушил устав, чтобы сюда добраться. Тебе придется рассказать мне, что произошло с агентурой.

К холлу вела длинная прихожая, окна в ней были закрыты ставнями, а диваны покрыты чехлами. Было холодно, Бен еще не снял пиджака, а я пальто. Я открыл ставни и впустил лунный свет, инстинктивно почувствовав, что более яркий свет помешает ему. Недалеко от нас звучала музыка. Кажется, это был Григ. Я точно не знал. Бен говорил без раскаяния. Он достаточно исповедовался самому себе, денно и нощно, я был уверен в этом. Он говорил безжизненным тоном, словно рассказывая о несчастье, которое, он знал, никто не сможет понять, если не испытает сам, а музыка звучала чуть тише его голоса. Он сам себе не был нужен. Блистательный герой отказался от жизненных притязаний. Может, он уже начал уставать от своей вины. Он не был многословен. Думаю, ему хотелось, чтобы я ушел.

– Хэггарти – дерьмо, – сказал он. – Мирового масштаба. Вор, пьяница и где-то насильник. Единственным его оправданием была сеть Зайдля. Штаб-квартира пыталась выманить его оттуда и отдать Зайдля новым людям. Я был первым таким новым человеком. Хэггарти решил наказать меня за то, что я получил его сеть.

Он рассказал об умышленных оскорблениях, следовавших одно за другим ночных дежурствах и дежурствах в выходные, враждебных отзывах, направленных в Управление тем, кто поддерживал Хэггарти.

– Сначала он ничего не хотел говорить об агентуре. Потом в Управлении на него наорали, и он все мне рассказал. Про все пятнадцать лет. Малейшие детали их жизни, даже о джо, которые погибли при исполнении служебного долга. Он посылал мне целые штабеля папок, все помеченные и с перекрестной ссылкой. Прочитай то, запомни это. Кто она? А он кто? Запиши этот адрес, это имя, эти клички, те обозначения. Пути отхода. Место и время повторных встреч. Опознавательные коды и другие меры предосторожности для работы с радиопередатчиком. Потом он устраивал мне проверку. Брал меня в секретную комнату, сажал против себя через стол и начинал. "Ты еще не готов. Мы не можем тебя заслать, пока ты не будешь знать свое дело. Оставайся-ка лучше на выходные и покопайся еще. В понедельник я тебя проверю снова". Агентурная сеть была его жизнью. Он хотел, чтобы я почувствовал свою непригодность. Я это почувствовал и действительно стал непригодным.

Но Управление не уступило запугиваниям Хэггарти, не уступил и Бен. "Я поставил себя в положение экзаменующегося", – сказал он.

По мере того как приближался день первой встречи с Зайдлем, Бен составил себе систему мнемоники и акронимов, которая позволила бы ему охватить всю пятнадцатилетнюю работу сети. Просиживая день и ночь в своей комнате, он составил целую картотеку, сделал чертежи коммуникаций и выдумал способы запоминания псевдонимов, кличек, домашних адресов и мест работы агентов, субагентов, связных и сотрудников. Потом он перенес свои сведения на простые открытки, используя только одну сторону. На другой стороне он в одну строчку написал название: "почтовые ящики", "заработные платы", "конспиративные квартиры". Каждый вечер, прежде чем возвратиться к себе на квартиру или растянуться на койке в медпункте Станции, он играл сам с собой, проверяя память, положив сначала открытки на стол лицевой стороной вниз, а затем сравнивая то, что он помнит, с написанным на обороте.

– Я мало спал, но это со мной бывало и раньше, – сказал он. – Главный день приближался, и я совсем перестал спать. Всю ночь я проводил в зубрежке, а потом ложился в кровать, уставившись в потолок. Вставая, я не мог ничего вспомнить. Этакий паралич. Я шел к себе в комнату, садился за стол, подперев голову руками, и начинал задавать себе вопросы. "Если агент Маргарет-тире-два думает, что попал под наблюдение, каким образом и с кем он должен вступить в контакт и что потом должно сделать лицо, с которым вступили в контакт?" В ответ – полная пустота. Вошел Хэггарти и спросил, как я себя чувствую, я ответил: "Прекрасно". Надо отдать ему должное, он на самом деле желал мне добра. Я думал, что он запулит мне парочку каверзных вопросов, и собирался было уже послать его к черту. Но он только сказал: "Komm gut Heim" [11] – и похлопал меня по плечу. Я положил открытки в карман. Не спрашивай почему. Я боялся провала. Поэтому мы все и делаем, не так ли? Я боялся провала и ненавидел Хэггарти, а Хэггарти устроил мне пытку. Я мог найти сотни две других причин, чтобы взять открытки, но ни одна из них мне особо не помогла. Возможно, это был мой способ совершить самоубийство. Мне почти что понравилась эта идея. Я их взял и отправился через границу. Мы поехали в лимузине со специально открытым верхом. Я сел сзади, а мой двойник был спрятан под сиденьем. Фрицам, конечно, не разрешалось нас досматривать. И все равно поменяться местами с двойником на крутом повороте – чертовски малоприятная игра. Пришлось почти что выкатиться из машины. Зайдль снабдил меня велосипедом. Он верит в велосипеды. Когда он был в Англии военнопленным, охранники давали ему покататься.

Смайли уже рассказывал мне эту историю, но я позволил Бену снова мне ее рассказать.

– Карточки лежали у меня в кармане пиджака, – продолжал он. – Во внутреннем кармане. День в Берлине стоял невыносимо жаркий. Думаю, что я расстегнул пиджак, когда ехал на велосипеде. Не знаю. Когда я пытаюсь вспомнить, иногда мне кажется, что я расстегнул его, иногда – что нет. Вот что происходит с твоей памятью, если насмерть ее загнать. Она выдает тебе все варианты. Я поехал на встречу рано, проверил машины, в общем, обычная хреновина, вошел. К тому времени я все вспомнил. То, что карточки находились при мне, сработало. Они мне не требовались. Зайдль был прекрасен. Я был великолепен. Мы сделали свое дело, я его опросил, дал ему немного денег – по всем правилам Сэррата. Я поехал обратно к месту, где меня должны были подхватить, бросил велик, нырнул в машину и, как только мы переехали в Западный Берлин, обнаружил, что открытки мои пропали. Мне не хватало в кармане их тяжести, их давления или чего-то еще. Я запаниковал, хотя я паникую всегда. Это мое обычное состояние. Такой уж я есть. Но на сей раз это уже была настоящая истерика. Я попросил, чтобы меня отвезли домой, позвонил по номеру Зайдля, предназначенному для экстренных случаев. Никто не ответил. Позвонил его связной – женщине по имени Лотта. Никого. Взял такси, доехал до Темпельхофа, незаметно выбрался из страны, приехал сюда.

Вдруг осталась только музыка Стефани. Бен кончил свою историю. Сначала я даже не понял, что это все, что с ним больше ничего не произошло. Глядя на него, я ждал продолжения. По крайней мере, я ожидал похищения – дикие люди из восточногерманской тайной полиции набрасываются на него с заднего сиденья машины, лишают чувств, прижимая к лицу маску с хлороформом, обыскивают все карманы. Только постепенно до меня дошла потрясающая

банальность рассказанного: агентурную сеть можно потерять так же легко, как связку ключей, чековую книжку или носовой платок. Я жаждал чего-то более значительного, но это все, что он мог мне предложить.

– И где же ты их посеял? – задал я глупый вопрос. Я мог таким же образом говорить с ребенком, который потерял свои школьные тетрадки, но Бену было все равно, гордости у него уже не осталось.

– Открытки? – сказал он. – Может, когда ехал на велосипеде. Может, когда выкатывался из машины. Может, когда садился обратно. У велика есть противоугонная цепь, которая закрепляется вокруг колеса. Мне пришлось нагнуться, когда я застегивал ее и снимал. Может, в это время. Так теряют все, что угодно. И пока не найдешь, неизвестно, где потерял. Это выясняется только потом. Но "потом" и не было.

– Как ты думаешь, за тобой следили?

– Не знаю. Просто не знаю.

Я хотел спросить его, когда он написал мне то любовное письмо, но не собрался с духом. Кроме того, мне казалось, что я знал. Это было в один из его запоев, когда Хэггарти вконец заездил его и Бен был в отчаянии. А больше всего мне хотелось бы услышать от него, что он вообще его не писал. Мне хотелось повернуть часовые стрелки вспять, чтобы все стало так, как было неделю назад. Но простые вопросы умерли вместе с простыми ответами. Оба наших детства кончились навсегда.

Должно быть, они окружили дом и, уж конечно, не звонили в дверь. Монти, вероятно, стоял снаружи у окна, когда я открыл ставни, чтобы впустить лунный свет, потому что, когда ему потребовалось, он просто шагнул в комнату со смущенным, но решительным видом.

– Как же ты все хорошо сделал, Нед, – утешительно сказал он. – Тебя только выдала библиотекарша. Ты очень понравился этой милой даме. Думаю, она бы приехала с нами, если бы мы ее взяли.

За ним вошел Скордено, а из другой двери появился Смайли с тем самым виноватым видом, который часто сопутствует его наиболее жестоким поступкам. И я без особого удивления понял, что сделал все в точности, как он того хотел. Я поставил себя на место Бена и привел их к своему другу; Бен тоже не очень удивился. Вероятно, ему стало легче. Монти и Скордено подошли к нему с двух сторон, но Бен продолжал сидеть среди чехлов, и его твидовый пиджак висел на нем, как накидка. Скордено похлопал его по плечу; затем Монти и Скордено нагнулись и ловко, как два мебельных грузчика, бережно поставили его на ноги. Когда я стал уверять Бена, что выдал его, сам того не зная, тот покачал головой, давая понять, что это не важно. Смайли отступил в сторону, чтобы дать им пройти. Его близорукие глаза неотрывно и вопрошающе смотрели на меня.

– Мы организовали специальный рейс, – сказал он.

– Я не поеду, – ответил я.

Я отвернулся от него, а когда вновь взглянул, его уже не было. Я услышал шум отъезжающего джипа. Я двинулся на звуки музыки через пустой зал и вошел в кабинет, заваленный книгами, журналами и, как оказалось, разложенной на полу рукописью романа. Она сидела боком в глубоком кресле. На ней был домашний халат, и ее бледно-золотистые волосы свободно лежали на плечах. Она была босиком и не подняла головы, когда я вошел. Она говорила со мной, словно знала меня всю свою жизнь, что в некотором смысле было правдой, поскольку я был так похож на Бена. Она выключила музыку.

– Вы были его любовником? – спросила она.

– Нет. Он хотел, чтобы я им стал. Теперь я это понимаю.

Она улыбнулась.

– А я хотела, чтобы он стал моим любовником, но это тоже было невозможно, правда? – сказала она.

– Кажется, правда.

– У вас были женщины, Нед?

– Нет.

– А у Бена?

– Не знаю. Думаю, он пытался. Наверное, что-то не получилось.

Она глубоко дышала, и по ее щекам текли слезы. Она поднялась, зажмурив глаза, и как слепая, протянула ко мне руки, чтобы я обнял ее. Она прижалась ко мне своим телом, уткнулась головой в плечо, задрожала и зарыдала. Я обнял ее, но она оттолкнула меня и повела к дивану.

– Кто заставил его стать одним из вас? – спросила она.

– Никто. Он выбрал сам. Ему хотелось подражать своему отцу.

– А это выбор?

– В каком-то роде.

– И вы тоже, вы тоже доброволец?

– Да.

– А кому подражаете вы?

– Никому.

– Такая жизнь была не для Бена. И нечего им было приходить от него в такой восторг. Он обладал большим даром убеждения.

– Я знаю.

– А вы? Они нужны вам, чтобы сделать из вас мужчину?

– Это то, что придется делать.

– Делать из вас мужчину?

– Делать работу. Все равно что опорожнять мусорные ящики или производить уборку в больницах. Кто-то должен это делать. Нельзя притворяться, что этого нет.

– О, думаю, что можно. – Она взяла мою руку и крепко сжала пальцы. – Мы делаем вид, что многих вещей не существует. Или притворяемся, что какие-то вещи важнее других. Это позволяет нам выжить. Нельзя победить лжецов, говоря им неправду. Вы останетесь здесь ночевать?

– Мне придется вернуться. Я не Бен. Я – это я. Я его друг.

– Я хочу вам сказать одну вещь. Можно? С реальностью играть очень опасно. Запомните?

* * *

Я не запомнил нашего прощания, думаю, оно было слишком болезненным, и моя память его просто отбросила. Все, что я помню теперь, – это то, что мне нужно было успеть на паром. Джип меня не ждал, поэтому я пошел пешком. Я помню соль ее слез и запах ее волос, помню, как я спешил, преодолевая ночной ветер, помню черные, клубящиеся вокруг луны тучи, глухие удары моря, когда я шагал по берегу скалистой бухты. Помню мыс и маленький, словно обрубленный, освещенный пароходик, готовый вот-вот отчалить. И я помню, что всю поездку простоял в носовой части палубы и что Смайли всю последнюю часть поездки был рядом со

мной. К тому времени он, должно быть, уже выслушал всю историю Бена и поднялся на палубу, чтобы молча меня утешить.

Больше я Бена не видел – его держали подальше от меня, после того как мы сошли на берег, – но, когда я услышал, что его уволили из Службы, я написал Стефани, чтобы узнать у нее, где он находится теперь. Мое письмо вернулось с пометкой “адресат выбыл”.

Мне хотелось бы суметь рассказать вам, что не Бен стал причиной развала агентурной сети, поскольку Билл Хейдон предал ее задолго до этого. Более того, эта сеть в первую очередь была организована для нас восточными немцами или русскими, чтобы занять нас и снабжать дезинформацией. Но боюсь, что правда кроется совсем не здесь, поскольку в те дни допуск у Хейдона был ограничен его Отделом и по служебным делам ему не нужно было ездить в Берлин. Смайли даже спросил Билла после его поимки, не приложил ли он к этому руку, но Билл только рассмеялся.

– Я не один год хотел зацепить эту сеть, – ответил он. – А когда услышал, что произошло, то вознамерился было послать молодому Кавендишу букет цветов, но, думаю, это было бы небезопасно.

Встреться я с Беном сегодня, я мог бы лишь сказать ему, что если бы он тогда не похерил сеть, то пару лет спустя это сделал бы за него Хейдон. Стефани я мог бы лишь сказать, что она в некотором роде оказалась права, но тогда прав оказался и я, и слова ее навсегда остались в моей памяти даже после того, как я перестал считать ее кладезем мудрости. Пусть я так и не понял, кем она была – хоть и принадлежала, как оно и было на самом деле, более к тайне Бена, чем к моей собственной, – ее голос тем не менее стал первым голосом сирены, который я услышал, голосом, который предупреждал, что миссия моя двусмысленна. Иногда я задумываюсь, чем я был для нее, но боюсь, что слишком хорошо это знаю: таким же, как Бен, неопытным в жизни юнцом, преодолевающим слабость демонстрацией силы и находящим убежище в замкнутом мире.

* * *

Недавно я снова съездил в Берлин. Это случилось через несколько недель после того, как было объявлено, что Стена свое отжила. Мне нужно было закончить кое-какие старые дела, и Кадровик рад был оплатить мой проезд. Так вышло, что официально я никогда там не работал, но часто бывал там наездами, а для нас, старых борцов “ледяного фронта”, каждый приезд в Берлин был как возвращение к источнику. И вот в один пасмурный день я очутился возле небольшого мрачного ограждения, величественно названного Стеной Неизвестных, ставшей мемориалом в память о тех, кто был убит в шестидесятых годах при попытке к бегству, многие из которых не обладали даром предвидения, чтобы сообщить заранее свои имена. Я стоял в группе робких восточных немцев, в большинстве своем женщин, и заметил, что они изучают надписи на крестах: неизвестный, убит такого-то числа 1965 года. Они искали ключ к разгадке, подгоняя даты к тому немногому, что знали сами.

И у меня вдруг возникло отвратительное чувство, что они, возможно, искали одного из агентов Бена, который в одиннадцатом часу сделал рывок за свободой и потерпел неудачу. И чувство это стало еще более запутанным, когда я подумал, что не мы, западные союзники, а сама Восточная Германия пыталась подорвать свое существование.

Мемориала теперь не существует. Может, ему отведут уголок в каком-нибудь музее, не сомневаюсь. Когда Стену снесли – разбили на куски, продали, – вместе с ней снесли и

мемориал, что кажется мне подходящим комментарием по поводу непостоянства человеческой верности.

Глава 4

Кто– то снова спросил Смайли о допросе. Этот вопрос часто возникал в течение вечера - главным образом потому, что аудитория хотела вытянуть из него как можно больше конкретных примеров. Дети безжалостны.

– О, безусловно, существует своего рода искусство вывести на чистую воду лжеца, – с ноткой сомнения допустил Смайли, отпивая глоток из стакана. – Но настоящее искусство состоит в узнавании правды, а это намного сложнее. На допросе никто себя нормально не ведет. Глупые люди ведут себя по-умному. Умные действуют глупо. Виновный выглядит как невинный младенец, а невиновный – ужасно виновато. И только изредка люди ведут себя естественно и говорят правду, которую они знают, и, конечно же, им, беднягам, всякий раз и достается. Нет ничего менее убедительного для нашей несчастной работы, чем человек с чистой совестью, которому нечего скрывать.

– Исключая те случаи, когда этот безупречный человек женского пола, – чуть слышно заметил я.

Джордж напомнил мне о Белле и подозрительном морском капитане Брандте.



Это был крупный, лохматый, светловолосый малый, на первый взгляд славянин или скандинав, с походкой вразвалку, как у сошедшего на берег матроса, и витающими где-то далеко глазами искателя приключений. Впервые я встретился с ним в Цюрихе, где за ним охотилась полиция. Начальник городской полиции позвонил мне среди ночи и сказал:

– Герр консул, здесь находится человек, располагающий информацией для британцев. У нас приказ утром переправить его за границу.

Я не стал спрашивать, за какую границу. У швейцарцев их четыре, но когда они кого-то выкидывают из страны, то не уточняют. Я поехал в окружную тюрьму и встретился с ним в огражденной решеткой комнате для допросов: заключенный в клетку гигант в водолазке называл себя морским капитаном Брандтом, что скорее всего было его личным переводом Kapitan zur See [12].

– Давненько же вы не плавали, – сказал я, пожимая его огромную пухлую руку.

По мнению швейцарцев, у него все было не так, как у людей. Он обжулил гостиницу, а это в Швейцарии считается настолько гнусным преступлением, что составляет отдельную статью в Уголовном кодексе. Он вызвал нарушение порядка, остался без денег, а его западногерманский паспорт при проверке оказался фальшивым, хотя швейцарцы и отказались заявить об этом во всеуслышание, поскольку подложный паспорт мог уменьшить их шансы сбагрить его обладателя другой стране. Его подобрали пьяным, жилья у него не было, и во всем этом он обвинял какую-то женщину. И кому-то еще сломал челюсть. Он настоял на том, чтобы разговаривать со мной наедине.

– Вы британец? – спросил он по-английски, вероятно, для того, чтобы наш разговор не поняли швейцарцы, хотя по-английски они говорили лучше его.

– Да.

– Подтвердите, пожалуйста, документами.

Я показал ему свое официальное удостоверение личности, представляющее меня вице-консулом по экономическим вопросам.

– Вы работаете на британскую разведку? – спросил он.

– Я работаю на британское правительство.

– Ладно, ладно, – сказал он и в поистине внезапной усталости прикрыл лицо руками, наклонившись так, что его длинные светлые волосы упали вперед – ему пришлось всей пятерней водворять их на место. Его лицо было в оспинах и старых шрамах, как у боксера.

– Вы сидели когда-нибудь в тюрьме? – спросил он, уставившись на рахитичный белый столик.

– Слава богу, нет.

– Господи, – произнес он и на плохом английском поведал мне свою историю.

Он латыш, родился в Риге, в жилах его текла латышская и польская кровь. Он говорил на латышском, русском, польском и немецком языках. Родился он у моря, что я моментально почувствовал, поскольку у моря был рожден и сам; его отец и дед были моряками, а он шесть лет прослужил в советском морском флоте, ходил в Арктику из Архангельска и в Японское море из Владивостока. Год назад он вернулся в Ригу, купил маленькую лодку и занялся контрабандой на Балтийском побережье: перевозил дешевую русскую водку в Финляндию с помощью скандинавских рыбаков. Его поймали и посадили в тюрьму под Ленинградом, он бежал, пробрался в Польшу, где на птичьих правах жил в Кракове с одной польской студенткой. Я передаю вам все в точности, как он рассказал мне: словно то, что он пробрался в Польшу из России, было таким же обычным делом, как сесть в автобус № 11 или заглянуть в соседнее кафе, чтобы пропустить стаканчик. Я, конечно, не знаю во всех подробностях о препятствиях, которые ему пришлось преодолеть, тем не менее понимаю, что он совершил необычайный подвиг – и подвиг этот не утратил своей значительности, когда он повторил его. Когда студентка бросила его и вышла замуж за швейцарского моряка, он вернулся на побережье, добрался до Мальмё, затем до Гамбурга, где у него был дальний родственник, однако родственник был настолько дальний, что послал его к чертовой матери. Стащив у родственника паспорт, он направился к югу, в Швейцарию, полный решимости заполучить свою польку назад. А когда ее молодой муж не пожелал ее отпустить, Брандт сломал бедняге челюсть, из-за чего и попал в швейцарскую полицию.

Все это он рассказывал по-английски, поэтому я спросил его, где он учился языку. По Би-би-си, сказал он, когда занимался контрабандой, и от своей польки – она изучала языки. Я дал ему пачку сигарет, и он засасывал их одну за другой, превратив нашу комнатенку в газовую камеру.

– И что же это за информация, которую вы собираетесь нам сообщить? – спросил я его.

Будучи латышом, сказал он во вступлении, он не испытывал по отношению к Москве никакой лояльности. Он вырос в Латвии при вонючей русской тирании, служил на флоте под началом вонючих русских офицеров, вонючими русскими брошен в тюрьму, вонючими русскими затравлен и, предавая их, никаких угрызений совести не испытывает. Он ненавидел русских. Я попросил его сказать названия кораблей, на которых он служил, и он сказал. Я спросил, как они оснащены, и он описал мне самые сложные штуковины, которыми они в то время располагали. Я дал ему карандаш с бумагой, и он нарисовал мне на удивление впечатляющие рисунки. Я спросил его, что ему известно о сигналах. Он знал очень многое. Он был профессиональным сигнальщиком и умел пользоваться их самыми новейшими игрушками, несмотря на то что все это происходило год назад. Я спросил его: "А почему вы решили обратиться именно к британцам?" – и он ответил, что познакомился в Ленинграде с "парочкой ваших парней" – британскими моряками во время визита доброй воли. Я записал их имена, название их корабля, вернулся к себе в контору и послал в Лондон телеграмму-молнию, поскольку у нас в распоряжении оставалось всего лишь несколько часов до его высылки за

границу. На следующий вечер морского капитана Брандта со всей строгостью допросили в конспиративном доме в Суррее. Он вступал на путь опасной карьеры. Он знал каждый укромный уголок и каждую бухточку по всему южному побережью Балтики; в его хороших друзьях ходили честные латышские рыбаки и торговцы "черного рынка", воры и раздраженные личности без определенных занятий. Он предлагал именно то, что требовалось Лондону после наших недавних потерь, – шанс построить новый путь доставки на север России и обратно, через Польшу и Германию.

* * *

Теперь мне следует рассказать вам недавнюю историю – про Цирк и про мои попытки в нем преуспеть.

После Бена я измучился, гадая, продвинут ли меня по службе или вышвырнут вон. Теперь я думаю, что обязан закулисному участию Смайли больше, чем считал тогда. Если бы Кадровик решал этот вопрос единолично, то меня он не продержал бы и пяти минут. Я улизнул из-под домашнего ареста, я скрыл, что знал о привязанности Бена к Стефани, и, если даже я не ожидал с нетерпением любовных писем от Бена, косвенно я все равно был виноват, а поэтому черт со мной.

– А мы уже было решили, что вам может понравиться место в Британском совете, – злобно заявил Кадровик на собрании, где не подали и чашки чаю.

Но Смайли вступился за меня. Оказалось, что Смайли увидел во мне нечто большее, чем юношескую импульсивность, а Смайли располагал своей собственной скромной частной армией секретных информаторов, разбросанных по всей Европе. Был представлен еще один довод в пользу отсрочки моей смертной казни – хотя даже Смайли мог не знать об этом в то время – этим доводом стал предатель Билл Хейдон, чей Лондонский центр быстро приобретал монополию на операции Цирка во всем мире. И, хотя вопросительный взгляд Смайли еще не был сфокусирован на Билле, он был уже убежден, что Пятый этаж пригрел на своей груди крота Московского центра, и решил набрать команду офицеров, которые по возрасту и допуску были бы вне всяких подозрений. К счастью, я оказался одним из них.

Несколько месяцев я пребывал в забвении, выполняя черную работу в просторных задних комнатах, оценивая и распределяя низкопробные донесения среди клиентов из Уайтхолла. Скучающий и лишенный общества друзей, я уже серьезно начал подумывать, что Кадровик подписал мой смертный приговор, когда, к моему облегчению, был призван в его кабинет, где в присутствии Смайли мне было предложено место второго человека в Цюрихе под началом умелого старого десантника Эддоуза, который по отношению ко мне придерживался принципа – бросить в воду и посмотреть, выплывет или утонет.

Не прошло и месяца, как меня поселили в маленькой квартирке Альтштадте, и я работал круглые сутки восемь дней в неделю. У меня были советский военно-морской атташе в Женеве, который любил Ленина, но французскую стюардессу – больше, и чешский торговец оружием в Лозанне, которого мучила совесть по поводу снабжения террористов всего мира оружием и взрывчаткой. У меня были миллионер-албанец, имевший шале в Сент-Морисе и рискующий своей головой в случае возвращения на родину, который вербовал для меня свою бывшую прислугу, и нервный физик из Восточной Германии, работавший при институте Макса Планка в Эссене, который тайно перешел в католичество. Я провел изящную маленькую операцию по установке микрофонов в польском посольстве в Берне и поставил на прослушивание телефоны у парочки венгерских шпионов в Базеле. И к этому времени начал воображать себя серьезно

влюбленным в Мейбл, недавно переведенную в Отдел проверки красотку, в честь которой провозглашались тосты в буфете для младшего офицерского состава.

И Смайли поверил в меня не зря, поскольку благодаря моим собственным усилиям на участке и его стойкому стремлению накапливать информацию, необходимую для внутренних нужд, нам удавалось получать ценные сведения и даже направлять их в нужные руки – вы бы просто удивились, узнав, насколько редко такого сочетания удается добиться.

Поэтому когда через два года после всего этого открылась вакансия в Гамбурге – самостоятельная работа, подчинение непосредственно Лондонскому центру, ныне "сердцу" операций Службы, без которого не обойтись, – я получил от Смайли великодушное благословение просить этот пост, какими бы ни были его личные отговорки относительно все более широких объятий Хейдона. Я зондировал почву, не нахальничал, напомнил Кадровику о своем военно-морском прошлом. Ничего не говоря прямо, я позволил ему самому сделать вывод, что мне надоела старомодная осторожность Смайли. И это сработало. Он дал мне место в Гамбурге, чтобы работать под началом Хейдона, и ту же ночь после романтического ужина в "Бьянки" мы с Мейбл провели вместе и распрощались со своей девственностью.

Мое чувство справедливости было удовлетворено еще больше, когда, взирая на свою новую номенклатуру, я, к своему удовольствию, увидел, что некий Вульф Дитрих, он же морской капитан Брандт, стал ведущим игроком в моей новой команде. Речь идет о конце шестидесятых. Биллу Хейдону оставалось править еще три года.

* * *

В Гамбурге и всегда-то хорошо было быть англичанином, а теперь это место стало еще лучше для того, чтобы быть шпионом. После аристократичности цюрихских озер Гамбург бурлил энергией и бодрил морским воздухом. Старые ганзейские связи с Польшей, севером России и Балтийскими странами все еще сохранялись. У нас были торговля и банковское дело – что ж, то же самое было и в Цюрихе. Но у нас были также и судоходство, и иммигранты, и авантюристы. У нас было полно нахальства и вульгарности. Мы были немецкой столицей проституции и прессы. Прямо с нашего порога начинались таинственные низины Шлезвиг-Гольштейна с косыми дождями, красными фермами, зелеными полями и небесами в кучевых облаках. У каждого человека есть своя цена. В то время душу мою можно было купить за банку любекского пива, селедку и стакан шнапса после утомительной прогулки по дамбе.

Все остальное, что касалось работы, было не менее приятным. Я был Нед, вице-консул по морским перевозкам; моим скромным рабочим местом был красивый кирпичный коттедж с медной табличкой, достаточно удобный и для Генерального консульства, но все же предусмотрительно расположенный в стороне. Двое служащих из Адмиралтейства по совместительству исполняли за меня необходимую работу и держали язык за зубами. У меня были радист и шифровальщик из Цирка. И пусть мы с Мейбл еще не были помолвлены, наши отношения достигли той стадии, когда она готова была броситься в бой, стоило мне только сунуться в Лондон на консультацию к Биллу или к одному из его лейтенантов.

Для встреч с моими джо у меня была конспиративная квартира в Веллингсбюттеле, выходящая окнами на кладбище, которая находилась над цветочным магазином, принадлежащим чете немцев-пенсионеров, работавших на нас во время войны. Самыми напряженными днями у них были воскресенья, а утром в понедельник окрестные ребятишки выстраивались в очередь, чтобы продать им цветы, которые были куплены накануне. Места безопаснее я никогда не встречал. Катафалки, закрытые грузовики и похоронные процессии

проезжали мимо нас в течение всего дня. Но по ночам это место было в буквальном смысле тихим, как могила. Даже экзотическая фигура моего морского капитана становилась неприметной, когда он надевал свою черную шляпу и темный костюм, нырял под кирпичную арку нашего магазина и со своим подпрыгивающим сбоку чемоданчиком коммивояжера топал вверх по лестнице к нашей безобидной двери с надписью "Бюро".

Я буду продолжать называть его Брандтом. Некоторые люди, сколько бы они ни меняли имен, имеют всего лишь одно.

* * *

Но самой большой драгоценностью в моей короне была "Маргарита", или, как мы называли ее, "Маргаритка". Это была пятидесятифутовая, обшитая внакрой, тупоносая рыболовная лодка, переделанная в прогулочный катер с каютами, рулевой рубкой, салоном и четырьмя койками в носовом отсеке. У нее были бизань-мачта и парус, ограничивающие ее маневренность, темно-зеленый корпус с иллюминаторами светло-зеленого цвета и белая крыша у каюты. Она была построена, чтобы красться, а не гнать со скоростью. В пасмурную погоду и при морской зыби она была незаметна для невооруженного глаза. У нее был неприметный рангоут, борта ее лежали близко к воде, что, особенно в штормовую погоду, создавало ей абсолютно безобидный сигнал на радарах. Балтийское море мстительное, мелководное, без приливов и отливов. Даже при легком ветре поднимаются высокие и опасные волны. На полной скорости в десять узлов "Маргаритка" бросалась из стороны в сторону и крутилась, как свинья. Единственное, что было у нее быстроходным, так это четырнадцатифутовая шлюпка "Зодиак", поднятая, как спасательная лодка, и прикрепленная к крыше каюты, оснащенная мотором "Джонсон" в пятьдесят лошадиных сил, чтобы быстро поднимать на борт и выпускать наших агентов.

Местом стоянки у нее была старая рыбацкая деревня Бланкензее на Эльбе, в нескольких коротких милях от Гамбурга. Здесь она мирно стояла, настолько незаметная среди себе подобных, насколько можно было только пожелать. Когда она была нужна, то из Бланкензее легко проходила вверх по реке к Кильскому каналу и тащилась шестьдесят миль со скоростью пять узлов, прежде чем добраться до открытого моря.

У нее была навигационная система Декка, которая считывала данные береговых славянских станций, но это делали и все прочие. Ни внутри, ни снаружи у нее не было ничего такого, что не вязалось бы с ее скромностью. Каждый член ее экипажа, состоявшего из трех человек, мог работать на шхуне в любом качестве. Профессионалов не было, хотя каждый имел свои особые предпочтения. Когда нам нужны были опытные связные или монтеры, Королевские Военно-морские силы были всегда готовы помочь нам.

Итак, вы видите, что с новой энергичной командой, поддерживающей меня в Лондонском центре, целой кучей источников, доказывающих мою многосторонность, "Маргариткой" и ее экипажем у меня было все, о чем только может мечтать Глава Центра с наследственной тягой к морю.

И, конечно же, у меня был Брандт.

Два года, проведенные Брандтом перед мачтой Цирка, в чем-то так изменили его, что мне поначалу было трудно определить, в чем именно. То, что я наблюдал в нем, нельзя было назвать только лишь созреванием или приобретением закалки, скорее это была некая утомляющая настороженность, некая бдительность, которой мир тайн со временем одаривает даже самых спокойных из его обитателей. Мы встретились на конспиративной квартире. Он

вошел. Остановился как вкопанный и уставился на меня. У него отвисла челюсть и вырвался громкий вопль – он меня узнал. Он схватил меня за руки, словно здоровался с султаном, и чуть не сломал их. Он смеялся, пока на глазах не выступили слезы, отстранял меня, чтобы рассмотреть, а после притягивал, чтобы прижать к своему черному пальто. Но настороженность сдерживала его непосредственность. Мне были знакомы эти признаки. Я наблюдал их у других джо.

– Черт возьми, почему же мне ничего не сказали, герр консул? – вскричал он, снова обнимая меня. – Что за игру они, черт побери, ведут? Послушайте, мы делаем благое дело, так? У нас прекрасные люди, и мы забьем этих русских насмерть, о'кей?

– Знаю, – сказал я, улыбаясь ему в ответ. – Слышал.

А когда совсем стемнело, он настоял, чтобы я уселся сзади в его фургоне среди мотков веревки, и на сногсшибательной скорости отвез меня в отдаленный фермерский домик, который был приобретен для него Лондонским центром. Он был твердо намерен представить меня своей команде, чего, кстати, с нетерпением ждал и я. Но больше всего мне хотелось взглянуть на его подружку Беллу, потому что Лондонскому центру было как-то не по себе от ее недавнего появления в жизни Брандта. Ей было двадцать два года, и она жила с ним три месяца, Брандту же можно было дать и все пятьдесят. Помню, был разгар лета, и весь фургон пропах фрезиями, букет которых он купил для нее на рынке.

– Это первоклассная девочка, – гордо сказал он, когда мы вошли в дом. – Хорошо готовит, хорошо занимается любовью, учит английский – все, что надо. Эй, Белла, я привез тебе нового дружка!

* * *

Дома художников и моряков очень схожи, и дом Брандта не составлял исключения. Он был пустоват, но уютен, с кирпичными полами и низкими, выкрашенными в белый цвет деревянными потолками. Казалось, он светился даже в темноте. Через входную дверь мы вошли прямо в прихожую. В камине тлели поленья, и корабельная лампа освещала обнаженное бедро девушки, читавшей, лежа на груде подушек. Услышав, что мы вошли, она взволнованно вскочила. Двадцать два, а выглядит на восемнадцать, подумал я, когда она схватила мою руку и весело стала ее трясти. На ней были мужская рубашка и очень короткие шорты. На шее блестел золотой амулет, предупреждающий о власти Брандта над ней: это моя женщина, на ней мой знак, я ее хозяин. Ее славянское лицо было лицом крестьянки, счастливой по природе, с ясными большими глазами, высокими скулами и улыбающимися губами, даже когда она не улыбалась. У нее были длинные голые ноги с золотистым загаром под цвет ее волос, маленькая высокая грудь и полные бедра. Это было очень красивое и очень молодое тело, и, что бы там Брандт ни думал, оно не принадлежало мужчине ни его возраста, ни даже моего.

Она поставила фрезии в вазу и принесла черный хлеб, соленые огурцы и бутылку шнапса. Ее движения были бессознательно соблазнительными. Может, она знала, а может, и совершенно не догадывалась о притягательной силе каждого своего даже незначительного жеста. Она села за стол рядом с ним, улыбнулась мне и обняла его рукой, позволив своей рубахе открыться на груди. Она взяла его за руку, и я увидел, как изящна ее рука по сравнению с его ручищей, а Брандт рассказывал об агентурной сети, беспечно называя подлинные имена джо и адреса, Белла же в это время оглядывала меня своими откровенными глазами.

– Послушайте, – сказал Брандт. – Нам нужно достать Алексу другое радио, слышите, Нед? Они забрали его, поставили новые запчасти, батарейки, поэтому радио такое отвратительное. Невезучее радио.

Когда зазвонил телефон, Брандт властно заговорил:

– Слушай, я занят, понял?… Оставь пакет у Стефана, говорю. Послушай, а от Леонидса никаких новостей?

Постепенно комната заполнялась. Первым молниеносно вошел кривоногий человек с усами. Он восторженно, но целомудренно поцеловал Беллу в губы, хлопнул Брандта по руке и занялся едой.

– Это Казимир, – объяснил Брандт, тыча большим пальцем. – Сволочь, но я его люблю. Правильно?

– Очень правильно, – сердечно ответил я.

Я помнил, что Казимир три года назад перешел финскую границу. Убил двух советских пограничников, попавшихся ему на пути, и сходил с ума по разным машинам – чувствовал себя счастливее всего, когда был по локоть в машинном масле. Был также приличным корабельным коком.

Вслед за Казимиром пришли братья Дурба – Антоне и Альфред, коренастые и развязные, как валлийцы, и голубоглазые, как Брандт. Братья Дурба поклялись своей матери, что никогда не выйдут в море вместе, поэтому плавали по очереди, поскольку "Маргаритка" лучше всего управлялась тремя членами экипажа и мы любили оставлять место для груза и неожиданных пассажиров. Скоро все говорили хором, забрасывали меня вопросами, не дожидаясь ответов, хохотали, предлагали тосты, курили, вспоминали, о чем-то сговаривались. Последний выход в море им не удался, по-настоящему не удался, сказал Казимир. Это было три недели назад. В Гданьской бухте "Маргаритка" попала в сильный шторм и лишилась бизань-мачты. Близ латвийского побережья они потеряли в тумане сигнал маяка, сказал Антоне Дурба. Пустили ракету, и бог помог им: на берегу, словно делегация отцов города, стояла целая куча сумасшедших латышей! Дикий хохот, тосты, а после глубокое нордическое молчание, пока каждый, кроме меня, торжественно вспоминал эту историю.

– За Вольдемара, – сказал Казимир, и мы выпили за Вольдемара, члена их группы, который умер пять лет назад. Затем Белла взяла стакан Брандта и выпила тоже – отдельная церемония, – разглядывая меня поверх краешка стакана.

– Вольдемар, – мягко повторила она, и торжественность ее была такой же обманчивой, как и ее улыбка. Знала ли она Вольдемара? Был ли он одним из ее любовников? Или она просто пила за смелого крестьянского парня, погибшего за Дело?

Но мне следует рассказать вам о Вольдемаре подробнее – не о том, спал ли он с Беллой, и даже не о том, как он погиб, поскольку никто этого точно не знает. Известно лишь, что его высадили на берег, и больше о нем никогда не слышали. По одной версии, ему удалось проглотить пилюлю с ядом, по другой – он приказал своему телохранителю застрелить его, если попадет в ловушку. Но пропал и телохранитель. И Вольдемар был не единственным, кто исчез в ту "осень предательств", как называла тот период группа. В течение нескольких последующих месяцев по мере того, как подходили годовщины смерти, мы пили за четверых других латышских героев, погибших по неизвестной причине в тот же злосчастный период – не доставленных, как думали теперь, к партизанам в лес, не встреченных лояльно настроенными группами на берегу, а попавших прямо в руки руководителя латышских операций Московского центра. И пусть новая сеть потихоньку восстанавливалась, на тех, кто выжил, пять лет спустя все еще лежало пятно этих предательств, о чем Хейдон изо всех сил старался меня предупредить.

– Это легкомысленная банда растяп, – сказал он в характерном для него неуважительном тоне. – А когда они не легкомысленны, они двуличны. И не обманывайся ни их нордической флегматичностью, ни панибратством.

Я вспоминал эти слова, мысленно продолжая анализировать Беллу. Иногда она слушала, положив подбородок на кулак, иногда, наклонив голову к плечу Брандта, думала за него его думы, пока он организовывал заговоры и пил. Но ее большие светлые глаза постоянно возвращались ко мне и разгадывали меня, англичанина, посланного управлять их жизнями. А иногда, как разнежившаяся кошка, она отодвигалась от Брандта и начинала заниматься собой, меняла положение ног и тщательно поправляла при этом шорты, или заплетала в косицу прядку волос, или вытаскивала из ложбинки между грудей свой золотой амулет и изучала его лицевую и обратную стороны. Я ждал, что между ней и остальными членами экипажа пробьется искорка сообщничества, но стало ясно, что девочка Брандта была запретным плодом. Даже полный энтузиазма Казимир выглядел присмиревшим, когда разговаривал с ней. Она вышла, чтобы принести еще одну бутылку, а когда вернулась, то села рядом со мной, взяла мою руку и, положив тыльной стороной на стол, начала изучать ладонь, сказав что-то по-латышски Брандту, который взорвался смехом, подхваченным всеми остальными.

– Знаете, что она сказала?

– Боюсь, что нет.

– Она говорит, что из англичан получаются чертовски хорошие мужья. Если я умру, она выйдет замуж за вас.

Она перебралась к нему и, смеясь, завертелась, устраиваясь у него в объятиях. После этого она на меня не смотрела. Как бы ей в этом не было и нужды. Я тоже избегал ее взгляда, почтительно вспоминая об истории, которую рассказал о ней в Лондонском центре морской капитан Брандт.

Она была дочерью деревенского фермера около Елгавы, которого застрелили, когда служба безопасности сделала облаву во время тайного собрания латышских патриотов, рассказал Брандт. Фермер был основателем этой группы. Полиция хотела пристрелить и девчонку, но та сбежала в лес и прибилась к группе партизан и изгнанников, которые передавали ее из рук в руки все лето, что, казалось, не очень-то ее и огорчало. Так, с остановками, она добралась до побережья и каким-то пока не известным нам путем дала о себе знать Брандту, который, не позаботившись о том, чтобы заранее сообщить о ней в Лондонский центр, снял ее с берега, когда высаживал нового радиста, чтобы заменить того, у которого случился нервный срыв. Радисты в каждой агентурной сети – все равно что оперные звезды. Всегда с ними что-то случается: если не нервный срыв, то опоясывающий лишай.

– Классные ребята, – с энтузиазмом сказал Брандт, когда отвозил меня обратно в город. – Вам понравились?

– Потрясающие, – сказал я, ничуть не солгав, поскольку нигде не сыщешь компании лучше, чем компания мужчин, которые любят море.

– Белла хочет с нами работать. Она хочет отомстить тем, кто застрелил ее отца. Я не разрешаю. Она слишком молода. Я люблю ее.

Неистовая белая луна освещала ровную поверхность лугов, и свет падал на его решительный заострившийся профиль: казалось, он готовился дать отпор шторму.

– А ведь вы его знали, – сказал я, пытаясь восстановить в памяти то, что смутно припоминал. – Ее отца. Феликса. Он был вашим другом.

– Как же мне не знать Феликса! Я любил его. Он был прекрасным парнем! Эти сволочи застрелили его.

– Он сразу умер?

– От него остались одни клочья. Калашников. Они расстреляли всех. Семерых парней. И всех наповал.

– А кто-нибудь видел, как это произошло?

– Один парень. Увидел и убежал.

– Что стало с их телами?

– Их забрала служба безопасности. Они напугались, эти парни из безопасности. Не хотят иметь никаких неприятностей с населением. Расстреливают партизан, кидают их в грузовики и отваливают к чертовой матери.

– Вы его хорошо знали, я имею в виду ее отца?

Брандт махнул рукой.

– Феликса? Он был моим другом. Сражался под Ленинградом. Был военнопленным в Германии. Сталин таких ребят не жаловал. Когда они возвращались из Германии, их отправляли в Сибирь, расстреливали, устраивали им веселенькую жизнь. Какого черта?

Но Лондонский центр раскопал другую версию, которая даже на этой стадии была всего лишь слухом. Отец был осведомителем, говорила молва. Завербованным в сибирском плену и посланным назад в Латвию, чтобы проникать в группы. Он созывал собрание, сообщал об этом своим хозяевам, а затем, пока партизан убивали, удирал через окно. В качестве награды ему позволили под чужим именем руководить колхозом под Киевом. Кто-то узнал его, сказал кому-то, а тот сообщил кому-то еще. Источник еле прощупывался, и его проверка заняла бы много времени.

Меня так и предупредили: берегись Беллы.

* * *

Меня предупредили более чем настойчиво. Я был встревожен. В течение последующих нескольких недель я видел Беллу пару раз и был обязан записывать свои впечатления в дневнике встреч, на чем настаивал теперь Лондонский центр, – такой дневник нужно было заполнять каждый раз, когда я с ней встречался. Я увиделся с Брандтом на конспиративной квартире, и он, к моему беспокойству, привез Беллу с собой. Он объяснил, что она целый день пробыла в городе. Они возвращались на ферму, так в чем же дело?

– Расслабьтесь. Она не говорит по-английски, – напомнил он со смехом, заметив, что мне не по себе.

Поэтому я постарался поскорей закончить наши дела, пока она сидела, откинувшись на спинку дивана, улыбалась и слушала нас своими глазами, хотя главным образом слушала-то она меня.

– Моя девочка учится, – гордо сказал мне Брандт, похлопывая ее по заду, когда мы собирались прощаться. – Когда-нибудь она станет крупным профессором. Nicht wahr, Bella? Du wirst ein ganz grosser Professor, du? [13]

Через неделю, когда я осторожно приехал взглянуть на “Маргаритку” на месте ее стоянки в Бланкензее, Белла снова была тут как тут, носясь босиком по палубе в своих шортах, словно мы собирались в круиз по Средиземному морю.

– Ради бога. Никаких девочек на борту. Лондон сойдет с ума, – сказал я Брандту в тот вечер. – И экипаж тоже. Вы знаете, какие они суеверные в отношении женщин на корабле. Вы и сами такой.

Он отмел мои возражения. Мой предшественник не возражал, сказал он. Почему же я против?

– Белла радует мальчиков, – настаивал он. – Она напоминает о доме, Нед, она ребенок. Она для них семья, понимаете?

Заглянув в досье, я обнаружил, что он был наполовину прав. Мой предшественник, откомандированный морской офицер, сообщал, что Белла чувствует "Маргаритку", добавив даже, что она, похоже, является чем-то вроде корабельного талисмана и "оказывает благотворное влияние". А когда я между строк его донесения прочитал о самой последней операции "Маргаритки", то понял, что Белла была на пристани, чтобы попрощаться с ними, и, без сомнения, встречала их, когда они благополучно вернулись.

Теперь, конечно, безопасность операции всегда относительна. Я никогда себе не представлял, что все в организации Брандта будет разыгрываться по правилам Сэррата. Я знал, что в замкнутой атмосфере Главного управления было очень легко принять наши замысловатые структуры кодовых названий, меток и путей отхода за будничную жизнь на земле. Кембриджский цирк – это одно. Группка неуловимых балтийских патриотов, рискующих своей головой, – другое.

Тем не менее присутствие незавербованного и непроверенного человека, пристроившегося в самом сердце нашей операции, посвященного в наши планы и разговоры, выходило за все допустимые рамки – и все это после предательств, случившихся пять лет назад. И чем больше я беспокоился по этому поводу, тем более собственнической, как мне казалось, становилась привязанность Брандта к девушке. Его ласки в моем присутствии стали чересчур вольными, а нежности – все более демонстративными. "Типичный случай безрассудной страсти пожилого мужчины к молодой девушке", – передал я в Лондон, словно повидал десятки таких случаев.

Тем временем для "Маргаритки" готовилась новая задача, цель которой должны были объяснить нам позже. Два-три раза в неделю я испытывал потребность съездить на ферму, приезжал туда, когда уже темнело, и часами просиживал за столом, изучая морские и климатические карты и последние сводки берегового наблюдения. Иногда собирался весь экипаж, иногда лишь мы втроем. Брандту было все равно. Он прижимал Беллу к себе, будто их обоих непрерывно сотрясали судороги экстаза, поглаживал ее волосы и шею, а однажды настолько забылся, что запустил руку ей под рубашку и взял за грудь, страстно при этом целуя. И хотя я скромно отводил глаза, чтобы не смотреть на столь волнующие сцены, я лучше всего запомнил взгляд Беллы, словно говорящий мне, что на месте ласкающего ее Брандта она хотела бы видеть меня.

"Откровенные поцелуи становятся нормой", – сухо написал я, составляя поздним вечером у себя в кабинете отчет из Гамбурга в Лондонский центр. И моя вечерняя запись в судовом журнале: "Курс, погодные и морские условия приемлемые. Ждем окончательных приказов из штаб-квартиры. Настроение экипажа хорошее".

Но мое личное настроение боролось за выживание, поскольку одна беда следовала за другой.

Сначала было неудачное дело моего предшественника, полное имя которого капитан-лейтенант Британских ВМС в отставке Перри де Морней Липтон, кавалер ордена "За безупречную службу", некогда герой нерегулярных войск военного времени, возглавлявшихся Джеком Артуром Ламли. В течение десяти лет до моего приезда Липтон совершенствовался в роли гамбургского героя, днем играя английского простачка, щеголяя в монокле и слоняясь по эмигрантским клубам якобы для того, чтобы получить бесплатный совет по поводу помещения своего капитала. Но вот наступала ночь, он надевал свою секретную шляпу и шел работать, инструктируя и опрашивая свою замечательную армию тайных агентов. Или это была всего лишь легенда, которую рассказали мне в штаб-квартире?

Озадачивал меня лишь тот факт, что официально мне дела никто не передавал, только Кадровик мимоходом заметил, что Липтон отправился на задание куда-то еще. И теперь меня допустили к правде. Липтон уехал, и не в какое-нибудь смертельно опасное путешествие в глубь России, а на юг Испании, где устроился в доме вместе с бывшим кавалеристом по имени Кеннет и двумястами тысячами фунтов из фондов Цирка, преимущественно в золотых слитках и швейцарских франках, которые в течение нескольких лет он выплачивал храбрым несуществующим агентам.

Недоверие, вызванное этим печальным открытием, отразилось на каждой операции, к которой имел отношение Липтон, включая, конечно же, и Брандта. Был ли и Брандт выдумкой Липтона, жил ли и он без проблем на наши секретные средства в обмен на искусно сфабрикованную информацию? А его агенты, его сотрудники и друзья, которых он так расхваливал и многие из которых получали щедрую зарплату?

А Белла – была ли Белла частью обмана? Может, она заморочила ему голову и ослабила волю? А может, Брандт тоже вил себе гнездышко, прежде чем уединиться со своей любимой на юге Испании?

В дверях моего маленького бюро по морским перевозкам появилась процессия экспертов Цирка. Первым вошел невероятный человек, которого звали капитан Плам. В уединении моей секретной комнаты мы с Пламом сосредоточенно изучали старые записи расходования топлива на "Маргаритке", количество пройденных миль, сравнивали это с опасными курсами, которыми, как утверждали Брандт и его экипаж, они следовали, выполняя свои задания у Балтийского побережья. Судовые журналы, как и большинство судовых журналов, были очень схематичны, но мы все их прочитали, как и записи Плама о радиоперехватах, радарных станциях, навигационных буях и обнаружении советских патрульных лодок.

Через неделю Плам вернулся, на сей раз в сопровождении сквернослова-манчестерца, которого звали Роз, бывшего малайского полицейского, заслужившего себе имя Ищейки Цирка. Роз расспрашивал меня с такой строгостью, словно я сам участвовал в заговоре. Но когда я был уже на грани срыва, он обезоружил меня, заявив, что, по всем имеющимся сведениям, организация Брандта никаких оплошностей не совершала.

Однако у людей такого рода одни подозрения только разжигают другие, и вопросительный знак по поводу отца Беллы Феликса так и остался. Если с отцом что-то неладно, то дочь должна об этом знать, напрашивалось само собой. А если она знала и не сообщила, то и сама показала себя не в лучшем свете. Московский центр, как и Цирк, был знаменит тем, что вербовал целые семьи. Правдоподобность группы отец – дочь считалась весьма высокой. Вскоре без какого-либо веского основания, о котором я бы знал, Лондонский центр стал проталкивать мнение, что именно Феликс был повинен в провале пятилетней давности.

И это неизбежно выставляло Беллу в еще более зловещем свете. Зашел разговор о том, чтобы отправить ее в Лондон и допросить с пристрастием, но тут моя власть как офицера, ведущего дело Брандта, возымела свое действие. Это невозможно, уведомил я Лондонский центр. Брандт ни за что не станет с этим мириться. "Прекрасно, – пришел ответ, типичный для галантного Хейдона, – пришлите их обоих, и пусть Брандт присутствует при допросе девочки". На этот раз меня довели до того, что я сам слетал в Лондон и настоял, чтобы доложить о состоянии дел лично Биллу. Войдя к нему в кабинет, я увидел, что он устроился в шезлонге – он отличался оригинальностью и никогда не садился за стол. Из старой банки из-под имбирного пива торчала зажженная ароматическая палочка.

– Может, братец Брандт не такой колючий, как ты думаешь, господин Нед? – с упреком сказал он, вглядываясь в меня поверх своих узких очков для чтения. – Может, это ты колючий?

– Он от нее без ума, – сказал я.

– А ты?

– Если мы при нем начнем обвинять девушку, он взбесится. Он с ней живет. Он пошлет нас ко всем чертям и разрушит всю агентурную сеть, а я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь другой смог ею управлять.

Хейдон стал раздумывать.

– Гарибальди Балтики. Ну, ну. Все же Гарибальди не был таким уж замечательным, а? – Он подождал, пока я отвечу, но я предпочел счесть этот вопрос риторическим. – А об этих парнях, с которыми она куролесила в лесу, – наконец медленно проговорил он, – она что-нибудь рассказывала?

– Она не рассказывает ни о чем. Брандт говорит, она нет.

– А о чем же она говорит?

– Да почти ни о чем. Если она произносит что-нибудь существенное, то обычно на латышском, и Брандт, в зависимости от того, считает это нужным или нет, переводит или не переводит. Она в основном просто улыбается и смотрит.

– На тебя?

– На него.

– Она красавица, как я полагаю.

– Думаю, она привлекательна. Да.

Он снова долго над этим размышлял.

– По-моему, просто идеальная женщина, – произнес он. – Улыбается и смотрит, не высовывается, трахается – чего еще надо? – Он снова насмешливо взглянул на меня поверх очков. – А что, она даже и по-немецки не говорит? Должна бы, приехав оттуда. Не будь дураком.

– Она неохотно говорит по-немецки, только когда иного выхода нет. Говорить по-латышски патриотично. А по-немецки – нет.

– Сиськи хорошие?

– Ничего.

– А ты не мог бы уделить ей побольше внимания? Не раскачивая, безусловно, их любовную лодку. Нам очень помогли бы ответы на некоторые важные вопросы. Ничего сенсационного. Просто надо узнать, настоящая ли она или братец Брандт контрабандой протащил ее в гнездышко на тепленькой сковородке, если это не сделал, конечно, Московский центр. Посмотри, чего можно от нее добиться. А он, как ты понимаешь, не ее настоящий отец. Он не может им быть.

– Кто не может? – запутавшись на секунду, я подумал, что он все еще говорит о Брандте.

– Ее папочка. Феликс. Тот, которого застрелили или не застрелили. Фермер. Она, согласно записи, родилась в январе 1945 года, не так ли?

– Да.

– Следовательно, ее зачали где-то в апреле 1944-го. Когда – если верить братцу Брандту – ее предполагаемый папочка томился в лагере военнопленных в Германии. Мы, заметь, не должны относиться к этому слишком нетерпимо. Думаю, не надо большого умения для того, чтобы залететь, пока твой мужичок сидит в заточении. Все же любая мелочь может пригодиться, когда мы пытаемся решить, свертывать ли агентурную сеть, которая, может, уже свое отыграла.

Я был благодарен Мейбл за то, что она той ночью осталась со мной, пусть даже мы еще пока не стали теми великими любовниками, которыми мечтали стать. Но я, конечно же, ничего не рассказал ей о своих делах, в особенности о Белле, благонадежность которой подлежала проверке. Мейбл, работая в Отделе проверки, выполняла в Цирке обязанности неоперативного характера. Поэтому с моей стороны было бы ошибкой, если бы я поведал ей о своих проблемах.

Если бы мы были уже женаты – что ж, тогда другое дело. А пока Белла должна оставаться моей тайной.

* * *

Она и оставалась. Возвратившись в Гамбург, в свою холостяцкую постель, я думал о Белле и о чем-то еще. Ее двойная тайна – тайна женщины и потенциального предателя – делала ее источником практически неограниченной опасности. Я воспринимал ее теперь уже не как человека сбоку припека в нашей организации, а как ее судьбу. Ее добродетель была нашей добродетелью. Если Белла была чиста – чистой была и агентурная сеть. А если она была игрушкой другой службы – обманщица, внедренная к нам, чтобы искусить, ослабить и в итоге предать нас, – тогда чистота тех, кто находился вокруг нее, была запятнана ею самой, тогда, без сомнения, агентурная сеть свое отыграла, как выразился Хей-Дон.

Я закрыл глаза и почувствовал на себе ее солнечный манящий взгляд. Каждый раз, когда мы здоровались, я чувствовал нежность ее поцелуя – всегда, как мне казалось, длящегося чуть дольше, чем того требовала формальность. Я представлял себе ее гибкое тело в разных позах и все прокручивал их в своем воображении – точно так же, как и варианты ее возможного предательства. Я вспомнил предложение Хейдона "уделить ей побольше внимания" и обнаружил, что не в состоянии отделить чувство долга от своих страстей.

Я мысленно пересказывал себе историю ее побега, подвергая ее сомнению на каждом этапе. Когда она сбежала – до расстрела или во время него? Как? Может, ей сообщил о готовящейся акции какой-нибудь любовник из войск безопасности? А может, расстрела и вовсе не было? И почему она так мало печалится по поводу гибели своего отца и преспокойненько спит с Брандтом? Казалось, даже ее счастье говорило не в ее пользу. Я представил себе ее в лесу с головорезами и бандитами. Любой мужчина брал ее по своему желанию или она сама жила то с одним, то с другим? Мне приснилось, что она, обнаженная, в лесу и я, обнаженный, рядом с ней. Проснувшись от стыда за себя, я тут же заказал телефонный разговор с Мейбл на раннее утро.

Понимал ли я себя? Сомневаюсь. Я мало знал женщин, а уж красивых и подавно. Мне, например, никогда не приходило в голову найти в Белле какой-нибудь изъян, чтобы ослабить ее сексуальную власть над собой. Решительно шествуя по прямому пути, я ежедневно писал Мейбл. Между тем я считал, что грядущая миссия "Маргаритки" обеспечит идеальную возможность для того, чтобы подвергнуть Беллу допросу с пристрастием. Погода портилась, что как нельзя лучше устраивало "Маргаритку". Была осень, и ночи становились длиннее. "Маргаритке" же нравилась и темнота.

– Экипажу приготовиться к отплытию в понедельник, – пришел первый сигнал из Лондонского центра. Во втором, пришедшем лишь в пятницу к вечеру, сообщалось место назначения – Нарвская бухта на севере Эстонии, менее чем в ста милях к западу от Ленинграда. Никогда раньше "Маргаритка" не заходила так далеко в русские воды, лишь в очень редких случаях ее использовали для поддержки патриотов нелатышского происхождения.

– Ну, все бы отдал, чтобы пойти с вами, – сказал я Брандту.

– Это слишком опасно для вас, Нед, – ответил он, похлопывая меня по плечу. – Четыре дня мучиться от морской болезни, валяться в койке, путаться у всех под ногами, какого черта?

Мы оба знали, что это невозможно. Самое большее, что позволило мне Главное управление, была ночная прогулка вокруг острова Борнхольм, но даже это было сделано с такой неохотой, будто речь шла о том, чтобы вырвать здоровый зуб.

В субботу вечером мы собрались на ферме. Казимир приехал в фургоне вместе с Антонсом Дурбой. Настал черед Антонса выходить в море. При таком малочисленном оперативном экипаже каждому приходилось уметь все, обеспечивая полную взаимозаменяемость. Больше не пили. С этого момента это был корабль трезвенников. Казимир принес омаров. Он искусно приготовил их под соусом – его коронное блюдо, в то время как Белла выполняла обязанности юнги – накрывала и украшала стол, носила посуду. Когда все поели, Белла убрала со стола, и я разложил морские карты под свисающей с потолка лампой.

Брандт рассчитывал на шесть дней. Оптимист. Из Кильской бухты "Маргаритка" выйдет в открытое море, обойдя Борнхольм со стороны Швеции. Дойдя до шведского острова Готланд, она встанет на рейд на южной оконечности в Сундре, заправится и пополнит запасы провизии. Во время стоянки к ней подойдут двое мужчин, один из которых спросит, нет ли у них сельди. Нужно им ответить: "Только в банках. В этих водах сельдь уже давно не водится". В спокойной обстановке все эти обмены репликами казались настолько бессмысленными, что Антонса и Казимира одолел приступ нервного смеха. К компании присоединилась вернувшаяся из кухни Белла.

Затем один из мужчин попросится на борт, продолжал я. Это специалист. Я не сказал, что специалист по саботажу, поскольку у членов экипажа были смешанные чувства в отношении задания. Во время этой поездки его будут звать Володей. У него будет с собой кожаный портфель, а в кармане пальто – коричневая и белая пуговицы как доказательство его честных намерений. Если он не назовет своего имени, или у него не будет портфеля, или если он не предъявит пуговиц, его следует высадить на берег живым и невредимым, но сразу же возвратиться в Киль. На этот случай у них будет установленный радиосигнал. Никаких других сигналов они посылать не должны. На секунду воцарилось молчание, и я услышал шлепанье Беллиных босых ног по кирпичному полу: она притащила еще дров для камина.

От Готланда они должны держать курс на северо-восток через международные воды, сказал я, и следовать центральным курсом к Финской бухте, пока не пройдут остров Хогланд, где им придется подождать наступления темноты, а затем направиться к югу в Нарвскую бухту, рассчитав время таким образом, чтобы к полуночи выйти к намеченному пункту.

Я принес с собой крупномасштабные карты бухты и фотографии песчаного берега, разложил их на столе, и мужчины подошли, чтобы рассмотреть их с той стороны, где я находился. Пока они смотрели, что-то заставило меня поднять глаза, и я поймал взгляд Беллы, которая пристроилась, свернувшись калачиком, в углу комнаты, и в отблесках каминного огня было видно, что ее возбужденный взор устремлен на меня.

Я показал им точку на пляже, куда должен подойти "Зодиак", и точку на мысе, откуда им следует ждать сигналов. У тех, кто сойдет на берег, будут очки с ультрафиолетовыми стеклами, сказал я, а у эстонской группы встречи будет ультрафиолетовая лампа. Невооруженным глазом ничего нельзя увидеть. После высадки пассажира с портфелем шлюпка должна будет подождать не более двух минут на случай возможной замены, а потом на полной скорости возвратиться на "Маргаритку". Управлять шлюпкой должен всего один человек, который в случае необходимости на обратном пути сможет взять второго пассажира. Я перечислил пароли, которыми надо будет обменяться с группой встречи, и на этот раз никто не засмеялся. Я сообщил подробности подходов и места высадки. Полной луны не будет. Ожидалась пасмурная погода – во всяком случае, на это надеялись. Белла принесла чай и, расставляя кружки, небрежно задевала каждого из нас. Словно хотела передать свою сексуальность нашему делу. Дойдя до Брандта, все еще склонившегося над картой береговой полосы, она с серьезным видом погладила его широкую спину обеими руками, будто наполняя его своей молодой энергией.

Я вернулся к себе в квартиру в пять утра. О том, чтобы поспать, не было и мысли. Днем я ездил в фургоне с Брандтом и Беллой в Бланкензее. Антоне и Казимир весь день провели на лодке. Они были специально экипированы для поездки – в вязаных шапочках и непромокаемых комбинезонах. На палубе были развешаны для просушки спасательные жилеты оранжевого цвета. Попрощавшись по очереди с каждым за руку, я роздал им водонепроницаемые капсулы, содержащие таблетки с ядом, – чистый цианид. Начался мелкий осенний дождь: маленькая пристань была пуста. Брандт стал подниматься по сходням, но, когда Белла последовала было за ним, он остановил ее.

– Все, – сказал он ей. – Оставайся с Недом.

На ней было его старое пальто из шерстяной байки и шерстяная шапка с ушами, которая, как я подозреваю, была на ней, когда он ее спас. Он поцеловал ее, а она обняла его и стояла так, пока он ее не отстранил и не ушел на палубу, оставив ее возле меня. Антоне шагнул в машинное отделение, и мы услышали, как, чихнув, заработал двигатель. Брандт и Казимир отдали концы. Больше на нас никто не смотрел. Освободив причал, "Маргаритка" спокойно направилась к середине реки. Все трое мужчин стояли к нам спинами. Мы услышали вой корабельной сирены и следили за "Маргариткой", пока она не скрылась за серой завесой мелкого дождя.

Как брошенные дети, мы с Беллой, взявшись за руки, пошли вверх по склону к припаркованному Брандтом фургону. Мы молчали. Нам не о чем было говорить. Я бросил последний взгляд назад, чтобы увидеть "Маргаритку", но туман уже поглотил ее. Я посмотрел на Беллу – глаза ее необычайно блестели, дыхание участилось.

– С ним все будет в порядке, – успокоил я, выпуская ее руку, когда отпирал дверцу. – Они очень опытные. Он большой человек. – Даже по-немецки это звучало довольно глупо.

Она уселась в фургоне рядом со мной и снова завладела моей рукой. Каждый ее палец словно жил сам по себе под моей ладонью. Познакомься с ней поближе, настаивал Хейдон. В своем самом последнем сообщении я обещал ему, что попытаюсь.

* * *

Сначала мы ехали в приятном молчании, объединенные и разъединенные тем, что пережили. Я вел машину осторожно, поскольку был напряжен, и все еще, чтобы успокоить, держал ее за руку, а когда мне надо было покрепче перехватить руль, рука ее с поднятыми пальцами оставалась рядом в ожидании моей. Вдруг я ужасно забеспокоился: куда ее везти? Просто до смешного. Подумал об элегантном ресторане в полуподвальном помещении с альковами, выложенными изразцами, куда я вожу своих джо из банковских кругов. Пожилые официанты дадут ей как раз то утешение, которое ей необходимо. Потом я вспомнил, что на ней было шерстяное байковое пальто Брандта, джинсы и резиновые сапоги. Да и сам я выглядел не лучше. Так куда же? Я лихорадочно соображал. Стемнело. Сквозь туман проступили огни коттеджей.

– Ты хочешь есть? – спросил я.

Она положила руку к себе на коленку.

– Может, поедем куда-нибудь поужинать? – спросил я.

Она пожала плечами.

– Отвезти тебя на ферму? – предложил я.

– Зачем?

– Как ты собираешься провести эти несколько дней? Чем ты занималась в прошлый раз, когда он уезжал?

– Я от него отдыхала, – сказала она со смешком, которого я не ожидал.

– Тогда скажи мне, как бы ты хотела его ждать, – великодушно сказал я с явным намеком. – Предпочитаешь побыть одна? Встретиться с другими эмигрантами и поболтать? Что лучше?

– Не важно, – сказала она и отодвинулась от меня.

– Все-таки скажи. Помоги мне.

– Схожу в кино. Похожу по магазинам. Почитаю журналы. Послушаю музыку. Попытаюсь заниматься. Буду скучать.

Я остановился на конспиративной квартире. В холодильнике есть еда, подумал я. Ей надо дать поесть, выпить, надо разговорить ее. Потом отвезти на ферму или отправить туда на такси.

Мы въезжали в город. За две улицы до конспиративной квартиры я остановился и взял Беллу за руку, пока мы шли по обсаженному деревьями тротуару. Я сделал бы то же самое, если бы любая другая женщина шла со мной по темной улице, но, ощущая обнаженную руку Беллы в рукаве брандтовского пальто, я испытывал волнение. Город был мне незнаком. За освещенными окнами домов люди разговаривали и смеялись, словно нас и не существовало. Она стиснула мою руку и подтянула ее к своей груди, точнее под грудь, и я отчетливо мог ощутить ее форму под складками одежды. Я вспоминал шутки Циркового буфета о некоторых офицерах, добывавших самые ценные сведения в постели. Я вспомнил, как Хейдон спросил меня, хорошие ли у нее сиськи. Мне стало стыдно, и я отнял руку.

С одной стороны кладбищенских ворот был служебный вход.

Когда я открыл дверь и пропустил ее вперед, она повернулась и поцеловала мои глаза, один за другим, держа мое лицо обеими руками. Я крепко обнял ее за талию, и она показалась мне невесомой. Она была счастлива. В отсвете желтых кладбищенских фонарей я видел, что она улыбалась.

– Все умерли, – возбужденно прошептала она. – А мы живы.

Я пошел впереди нее вверх по лестнице. На полпути я обернулся, чтобы удостовериться, что она идет за мной. Я боялся, что она раздумает. Я всегда боялся, не потому, что был неопытен – благодаря Мейбл кое-какой опыт я приобрел, – а потому, что столкнулся сейчас с совершенно другой категорией женщин, не такой, как те, которых я когда-либо знал. Она стояла прямо за мной, держа туфли в руках, и все еще улыбалась.

Я отпер ей дверь. Она вошла внутрь и снова меня поцеловала, весело смеясь, будто бы я поднял ее на руки и перенес через порог в день нашей свадьбы. Я, как дурак, вспомнил, что русские никогда не прощаются на пороге, может, и латыши этого тоже не делают, и подумал, что, вероятно, ее поцелуи были своего рода заклинанием против злых духов. Я обязательно спросил бы ее об этом, если бы не то обстоятельство, что почти потерял голос. Я закрыл дверь, затем пересек комнату и включил отопление – электрообогреватель, который выдувал теплый ветер с невероятной силой, пока в комнате было холодно, а после – с судорогами, как старая спящая собака.

Я пошел на кухню за вином. Когда вернулся, в комнате ее не было, только из-под двери ванной виднелся свет. Я аккуратно накрыл на стол – ножи, ложки, сыр, холодное мясо, бокалы, бумажные салфеточки и все остальное, что полагается, поскольку хотел спрятать остроту ситуации за официальностью гостеприимства.

Дверь из ванной открылась, и она вышла, запахнувшись словно в халат в пальто Брандта, и, судя по голым ногам, на ней больше ничего не было. Волосы были причесаны. В наших конспиративных квартирах мы, как гостеприимные хозяева, всегда держим щетку и расческу.

И я помню, что подумал: будь она такой уж плохой, какой ее считал Хейдон, было бы довольно страшно, что она надела пальто Брандта, собираясь изменить человеку, которого уже предала, да и мне довольно страшно быть человеком, которого она избрала для своих целей в то время, когда мои агенты идут на большой риск, имея с собой ампулы с ядом. Но никакой вины я не чувствовал. Я упоминаю об этом, чтобы постараться объяснить, что разум мой неистово метался, чтобы утихомирить влечение к ней.

Я поцеловал ее и снял пальто – ни до этого, ни после я никогда не видел никого красивее. Все дело в том, что в тот момент и в том возрасте мне было еще не под силу отделить правду от красоты. Для меня это было одним и тем же, и я испытывал по отношению к ней только лишь трепет. И даже если я когда-нибудь в чем-то ее и подозревал, вид ее обнаженного тела убеждал меня в ее невиновности.

О том, что было потом, могут рассказать лишь образы, которые остались в моей памяти. По сей день я вижу в нас не нас самих, а двух совершенно других людей.

Белла, освещенная огнем камина, – так я впервые увидел ее на ферме. Из спальни я принес пуховое одеяло.

– Какой ты красивый, – прошептала она.

Мне и в голову не пришло, что я предоставил ей уникальную возможность сравнивать.

Белла у окна, и свет, проникающий с кладбища, превращает ее тело в прекрасную статую, покрывая позолотой копну волос и рисуя узоры на ее груди.

Белла, целующая лицо Неда, – сотни легких поцелуев: так она возвращает его к жизни. Белла, смеющаяся над своей необъятной красотой, и мы оба смеемся вместе. Белла, привносящая в любовь смех, чего со мной никогда еще не случалось, пока каждая частичка наших тел не становится поводом для праздника: чтобы ее целовать, ласкать и восторгаться.

Белла отрывается от Неда, чтобы отдаться, откидывается на спину, чтобы принять его, и все время продолжает нашептывать. Шепот обрывается. Ощущая приближение вершины наслаждения, она прогибается так, что встает. Неожиданно она вскрикивает и умирает, оставаясь самым живым из всего живого на земле.

Успокоившиеся наконец, Нед и Белла стоят у окна и смотрят вниз на могилы.

– Существует Мейбл, – говорю я, – но жениться, кажется, еще слишком рано.

– Всегда слишком рано, – отвечает она, когда мы снова начинаем заниматься любовью.

Белла в ванне, и я напротив нее со счастливым видом, упершись спиной в краны, пока она неторопливо ласкает меня под водой и рассказывает о своем детстве.

Белла на одеяле, притягивает мою голову себе между ног.

Белла, склонившаяся надо мной, Белла на мне.

Белла стоит надо мной на коленях, и ее таинственный садик открыт моему лицу: она переносит меня в такие места, о которых я никогда не подозревал, даже лежа в моей несчастной односпальной койке, снова и снова мечтая об этой минуте и пытаясь по своей неосведомленности отвратить неизвестную опасность.

В перерывах можно увидеть, как Нед дремлет на груди у Беллы, а нетронутая еда так и стоит на столе, который в целях самозащиты я накрыл с соблюдением всех правил. С проясненным после любовных игр умом я спрашиваю, о чем еще можно подумать, чтобы удовлетворить любопытство Билла Хейдона и мое собственное.

Я отвез ее домой и вернулся к себе на квартиру около семи утра. Без всякого желания спать вот уже вторую ночь я сел и написал отчет о встрече, и ручка моя едва касалась бумаги, потому что я все еще был в раю. От "Маргаритки" никакого сообщения не приходило, хотя я ничего и не ожидал. А к вечеру получил предварительное донесение о ее продвижении. Она миновала Киль и шла по направлению к Кильской бухте. Через несколько часов должна будет выйти в открытое море. Вечером мне нужно было встретиться с одним прирученным немецким

журналистом, а утром – совещание в консульстве, но, позвонив Белле по телефону, я намеками сообщил ей новости и пообещал к ней скоро приехать, поскольку она страстно желала, чтобы я навестил ее на ферме. После того как вернется Брандт, сказала она, ей бы хотелось вспоминать обо мне, глядя на все те места в доме, где мы занимались любовью. Думаю, это свидетельствует о силе любовных иллюзий, в которых я не нашел ничего тайного или парадоксального. Мы вместе создали мир, и ей хотелось, чтобы он окружал ее, когда меня от нее оторвут. И все. Она была женщиной Брандта. Она не ждала от меня ничего, кроме моей любви.

Когда я приехал, мы прошли прямо в длинную гостиную, где на этот раз она накрыла на стол. Мы сели за стол совершенно обнаженными – так хотела она. Она хотела видеть меня на знакомой мебели. Потом мы занимались любовью в их кровати. Мне казалось, что я должен бы был сгореть от стыда, но я чувствовал только возбуждение оттого, что был посвящен в самое сокровенное в их жизни.

– Это его щетки для волос, – сказала она. – Это его одежда, а ты лежишь на кровати с его стороны.

Когда-нибудь я пойму, что все это значит, подумал я. А потом мрачнее: или это то, что так привлекает ее в предательстве?

На следующий вечер я договорился встретиться в Любеке со старым поляком, который установил с одним молодым человеком, своим дальним родственником, проживающим в Варшаве, подпольную переписку. Молодого человека обучали работе шифровальщика в польской дипломатической службе, и он хотел работать на нас в обмен на разрешение переселиться в Австралию. Лондонский центр рассматривал вопрос о прямом подходе к нему. Я вернулся в Гамбург и заснул, как убитый. На следующее утро, когда я все еще писал донесение, из Лондона пришла шифровка о том, что "Маргаритка" благополучно заправилась в Сундре и шла курсом к Финской бухте с пассажиром Володей на борту. Я позвонил Белле и сказал ей, что все пока хорошо, а она попросила: "Пожалуйста, приезжай".

Утро я провел в полицейском участке Репербана, выручая двух пьяных британских матросов с торгового судна, которые вовсю разгулялись в публичном доме, а днем присутствовал на ужасном чае, организованном женами консульских работников в поддержку Недели политических заключенных. Мне хотелось, чтобы моряки торгового флота разнесли и этот бордель. Я приехал на ферму в восемь вечера, и мы сразу же отправились в постель. В два часа ночи зазвонил телефон, и Белла ответила. Из моего бюро по морским перевозкам звонил шифровальщик: он получил весьма срочное донесение, переданное моим личным кодом, и я должен был явиться немедленно. Я летел, как ветер, и домчался до работы за сорок минут. Сев за таблицы кодов, я почувствовал, что запах Беллы остался у меня на лице и руках.

Шифровка была передана за подписью Хейдона лично начальнику Центра, Гамбург. Группа высадки "Маргаритки" попала под сильный огонь с подготовленных позиций. Что с лодкой – неизвестно, с теми, кто был в ней, – тоже, то есть с Антонсом Дурбой и его пассажиром, а также скорее всего и с теми, кто ждал на берегу. Ни слова ни о каких эстонских патриотах. На "Маргаритке" увидели ультрафиолетовые сигналы с берега, но только одну законченную серию по установленному образцу, и было предположение, что эстонскую команду схватили, как только она привлекла внимание группы высадки. История была знакома, пусть даже она и происходила пять лет назад. Запасное радио в Таллине не отвечало.

Эту информацию мне нужно было держать при себе и возвращаться в Лондон с первым же утренним самолетом. Место было забронировано. В Хитроу меня должен был встречать Тоби Эстергази. Я набросал подтверждение и вручил своему шифровальщику, который принял его без комментариев. Он знает, подумал я. Как он мог не знать? Он звонил мне на ферму и разговаривал с Беллой. Остальное можно было увидеть по моему лицу и, насколько я знал, даже почувствовать запах.

* * *

На этот раз в кабинете Хейдона не тлела ароматическая палочка, а сам он сидел за столом. По одну сторону от него сидел Рой Бленд, начальник Восточноевропейского отдела, а по другую – Тоби Эстергази. Задания Тоби всегда было нелегко определить, потому что он любил напускать вокруг них туману в надежде на то, что так они будут выглядеть значительнее. Но на практике это был хейдоновский пудель, то есть он играл роль, за которую впоследствии дорого заплатил. И я был удивлен, увидев Джорджа Смайли, удрученно притулившегося в сторонке от всех на краешке хейдоновского шезлонга, – символичность его позы дошла до моего сознания только три года спустя.

– Свои заложили, – сказал Хейдон без вступления. – Эту группу продали с самого начала. Если Дурба не пошел на дно с судном, то он уже висит, подвешенный за большие пальцы, и выкладывает все до конца. Володя знает немного, но судьба может ему не улыбнуться, ведь те, кто будет его допрашивать, вряд ли в это поверят, поскольку объяснять ему придется целую кучу необъяснимых вещей. Может, он принял пилюлю, но я в этом сомневаюсь – он дурачок.

– Где Брандт? – сказал я.

– Сидит под яркой лампой в комнате для допросов в Сэррате и ревет, как буйвол. Кто-то где-то допустил промах. Мы спрашиваем Брандта: а может, это он сам? Если не он, то кто? Это же точная копия того, что произошло в прошлый раз. Каждого члена экипажа допрашивают отдельно.

– Где "Маргаритка"?

– В Хельсинки. Мы послали туда военный экипаж и приказали вывести ее сегодня же вечером. Финнам не очень-то нравится, когда их уличают в том, что они предоставляют безопасную бухту тем, кто дразнит Медведя. Если пресса не пронюхает об этом, то это, черт побери, будет просто чудом.

– Понимаю, – глупо сказал я.

– Молодец. А я нет. Что нам делать? Скажи. У тебя тридцать балтийских агентов, которые смотрят тебе в рот. Что предложишь? Ликвидировать? Извиниться? Действовать с умным видом и как ни в чем не бывало? Все предложения будут с благодарностью приняты.

– Дурбы не знали о существовании эстонской агентурной сети, – возразил я. – Антоне не может выдать то, чего не знает.

– Кто же тогда, скажи на милость, провалил Антонса? Кто провалил группу высадки, выдал координаты, место на берегу, время? Кто нас поимел? Такой же вопрос мы задали Брандту, как это ни смешно. Думали, он назовет Беллу, эту балтийскую шлюху. А вместо этого наглый сукин сын заявил, что это – один из нас.

Он был в ярости, и ярость эта была направлена на меня. Я никогда не думал, что полное безразличие может перерасти в такую ярую злость. Тем не менее он все еще говорил спокойно, в нос, с медлительной манерностью, свойственной высшему обществу. Ему все еще удавалось оставаться бесцеремонным. Даже в гневе он сохранял леденящую небрежность, которая делала его еще страшней.

– Итак, что же ты скажешь? – спросил он меня.

– О чем?

– О ней, милый. О капризной мисс Латвии. – Он держал отчет о встрече, который я написал после нашей первой ночи. – Боже всемогущий, я просил написать твое мнение, а не эту арию, черт побери.

– Я думаю, она невиновна, – сказал я. – Думаю, она простая деревенская девчонка. Вот мое мнение. Надеюсь, и Брандта тоже. Она ответила на мои вопросы и очень правдоподобно о себе рассказала.

Хейдон вновь обрел свой шарм. Он мог делать это по заказу. Он притягивал тебя и отталкивал. Я это точно помню. Он отплясывает перед вами и так и эдак, сталкивая ваши эмоции друг с другом, поскольку своих собственных у него не было.

– Большинство шпионов на самом деле рассказывают о себе очень правдоподобно, – заметил он, переворачивая страницу моего донесения. – И даже более того. Не так ли, Тоби? – доброжелательно обратился он к Эстергази.

– Точно, Билл. Ты прав от начала до конца, я бы сказал, – ответил угодник Эстергази.

У других тоже была такая копия. Пока ее изучали, замирая над абзацами, отмеченными Хейдоном, стояла тишина. Рой Бленд поднял голову и уставился на меня. Бленд читал нам лекции в Сэррате. Он был крестьянином с севера, потом стал преподавателем и провел годы за Занавесом под научным прикрытием. Говорил он с сильным акцентом и без эмоций.

– Белла допускает, что ее отец – это не ее отец, правильно, Нед? Ее мать изнасиловали немцы, и она забеременела, поэтому Белла наполовину немка. Правильно, Нед?

– Да, Рой, правильно. Так она мне сказала.

– Поэтому, когда отец, как она его называет, когда Феликс возвращается из лагеря военнопленных и узнает, что произошло, он удочеряет ребенка. Ее, Беллу. Что очень мило с его стороны. Она сама поведала тебе об этом. И не сделала из этого тайны. Так, Нед?

– Да. Так, Рой.

– Тогда почему же, мать твою, она не рассказала ту же самую сказку Брандту?

Я сам спрашивал ее об этом и был готов сразу же ему ответить.

– Когда он привез ее на Запад, она испугалась, что он не оставит ее у себя, если она не скажется родной дочерью его лучшего друга. Они тогда не были любовниками. Он предлагал ей защиту и жизнь. Она была испугана. И приняла это. Жила в лесу. Это был ее первый приезд на Запад. Отец ее умер, поэтому она нуждалась в другом человеке, который заменил бы отца.

– Ты имеешь в виду Брандта? – с хитрым видом спросил Бленд.

– Да, конечно.

– А не кажется ли тебе, Нед, чертовски странным, что Брандт вообще не знал о ней правды? – торжествующе спросил он. – Если Брандт был, как он говорит, ближайшим приятелем ее отца, не был бы он обязан знать все это? Ну же, Нед!

Вмешался Смайли, чтобы, как я подумал, помочь мне:

– Вполне возможно, Рой, что Брандт это знает. Ты сказал бы дочери твоего лучшего друга, что она незаконнорожденный ребенок от немецкого солдата, если бы думал, что она об этом не знает? Я этого не сделал бы, уверен. Я бы приложил все силы, чтобы ее защитить. Особенно если отец умер, а я влюблен в дочь.

– Он не влюблен, а просто спит с ней, – сказал Хейдон, переворачивая еще одну страницу моего донесения. – Брандт – похотливый старый козел. Что это за Тадео, о котором она все время говорит? "Тадео видел, как трупы складывали в грузовик. Тадео говорит, что видел, как труп моего отца положили последним. Большинству мужчин стреляли в лицо, а отцу прострелили грудь и живот, автоматная очередь почти рассекла его надвое". Н-да, господи, скажу вам, что для скромной фиалки она лихо держится, когда это помогает ей оправдаться.

– Тадео был ее первым любовником, – сказал я.

– Уж не ревнуем ли мы? – спросил меня Хейдон, вызвав смех у сатрапов, сидящих по обеим сторонам от него.

Но не у Смайли. И не у меня.

– Тадео учился с ней в школе, – сказал я. – Ему приказали охранять дом, пока шло собрание, а он пошел трахаться с Беллой в поле неподалеку. Так ей удалось скрыться. Тадео сказал ей, куда бежать и кого спросить, когда она доберется до партизан. Потом он спрятался в соседнем доме и перед тем, как отправиться к ней, увидел, что произошло. Все это есть в моем донесении.

Тоби Эстергази ответил на это ухмылкой, на которую способен только он, и произнес на характерном для него австро-венгерском английском:

– И Тадео, конечно же, для удобства уже нет в живых, а, Нед? Быть свидетелем в Беллиной истории – довольно рискованное дело, я бы сказал.

– Он был убит пограничником, – сказал я. – Он даже не пытался перейти границу. Просто вышел на разведку. У нее такое чувство, что всякий, с кем она связывается, погибает, – добавил я, невольно подумав о Бене.

– Может, она и права, – сказал Хейдон.

Мне ошибочно показалось, что Рой Бленд присоединился к моей защите, – во мне росло чувство, что я нахожусь на скамье подсудимых.

– Имей в виду, что Тадео мог быть вне подозрений и в то же время ошибиться в смерти Феликса. Может, полиция имитировала его смерть. В конце концов, его последним отправили в грузовик. В любом случае он был бы заляпан кровью на этой бойне. Им не пришлось бы брызгать на него томатным соусом, не так ли? Это за них уже было сделано.

Смайли взялся за дубинку, которую Бленд выпустил из рук. Я начал жалеть, что столько интриговал, чтобы выйти из-под его опеки.

– Билл, нам действительно важен отец? – вопросил он. – Феликс может быть Иудой из Иуд, но иметь при этом абсолютно честную дочь, не так ли?

– Мне тоже так кажется, – сказал я. – Она восхищается своим отцом. Она совершенно спокойно о нем говорит. Она уважает его. Она до сих пор о нем скорбит.

Мне вспомнилось, как она глядела вниз, на кладбище. Мне вспомнилась ее решимость отметить то, что ей подарена жизнь. Я не верил, что она притворялась.

– Ладно, – нетерпеливо сказал Хейдон и швырнул мне через стол широкоформатную фотографию. – Допустим некоторую натяжку и поверим тебе. А что, черт возьми, прикажешь делать с этим?

Это была сильно увеличенная фотография и не совсем в фокусе. Мне показалось, что это была сфотографированная фотография. В левом верхнем углу была поставлена красная печать с всего одним словом "Уичкрафт", что, по непроверенным данным, было одним из наиболее тайных источников Лондонского центра.

Предостережение Тоби Эстергази подтверждало это.

– Нед, ты никогда эту фотографию не видел, – сказал он мне через плечо Хейдона с некоторой елейностью, которую приберегают для молодых. – А также ты никогда не видел названия "Уичкрафт". Когда выйдешь из этой комнаты, в голове у тебя должно быть пусто, ноль.

Это была групповая фотография молодых мужчин и женщин, расположившихся на фоне чего-то такого, что могло быть и бараком, и студенческим общежитием. Их было не меньше шестидесяти, все в гражданском: мужчины – в костюмах и галстуках, женщины – в белых строгих блузках и длинных юбках. С одной стороны от них стояла группа пожилых людей и одна женщина устрашающего вида. Настроение, как и одежда, здание и фон, было мрачным.

– Второй ряд, третья справа, – сказал Хейдон, давая мне увеличительное стекло. – Хорошие сиськи, те же самые, о которых рассказывал молодой человек.

Это была, вне всякого сомнения, Белла. Только Белла года на три-четыре моложе, Белла с зачесанными назад волосами, как мне показалось, собранными в хвост. Это были, несомненно, Беллины широко расставленные ясные глаза, Беллина неотразимая улыбка и высокие упругие щечки, которые я обожал.

– А Белла ни разу не шепнула тебе на ушко, что она училась в школе иностранных языков в Киеве? – спросил меня Хейдон.

– Нет.

– А вообще она рассказывала хоть что-нибудь о своем образовании, не считая того, как трахалась с Тадео в сене?

– Нет.

– Конечно же, в Киеве это скорее воскресная школа, а не обычная. Не то место, о котором ребятишки впоследствии много рассказывают. Если только они не исповедуются. Теоретически – это школа для завтрашних переводчиков, но боюсь, что на практике это скорее инкубатор для подающих надежду молодых кадров Московского центра. Центр владеет школой, Центр обеспечивает персоналом, Центр снимает сливки. А вся шушера идет в их министерство иностранных дел, как и у нас.

– Брандт это видел? – спросил я.

Его неуместную веселость как ветром сдуло.

– Ты шутишь, да? Брандт – свидетель, которому мы не доверяем, как и всем остальным.

– Могу я с ним повидаться?

– Не советую.

– То есть “нет”?

– То есть “нет”.

– Являлся ли “Уичкрафт” также источником донесения против отца Беллы?

– Не суй нос, куда не следует, – сказал он, но я перехватил испуганный взгляд Тоби и понял, что прав.

– А что, Московский центр всегда делает групповые фотографии своих драгоценных учеников? – спросил я, воодушевившись, когда Смайли поднял голову, и я снова принял это за поддержку.

– Мы же делаем их в Сэррате, – отрезал Хейдон. – Так почему бы Московскому центру этого не делать?

Я чувствовал, как у меня по спине струится пот, и знал, что слабеет голос. Но продолжал выпутываться.

– А еще кто-нибудь опознан на этой фотографии?

– Между прочим, да.

– Например?

– Не важно.

– Какие языки она учила?

Хейдону я уже надоел. Он вознес взгляд к господу, словно умоляя даровать ему терпение.

– Что ж, дорогой, все они учат английский, если именно это тебя интересует, – медленно произнес он и, подперев подбородок руками, пристально посмотрел на Смайли.

Я не ясновидец и никак не мог знать, что происходит или уже произошло между этими двумя людьми. Но, даже принимая во внимание мою неосведомленность, уверен, что у меня было чувство, будто меня застигли между двумя лагерями противника. Даже человек,

настолько далекий от политических интриг Главного управления, как я, не мог не услышать грохота битвы: как великий Икс прошел в коридоре мимо великого Игрека, не сказав ничего, кроме "Доброго утра"; как А отказался сесть за один стол с Б во время обеда. И как хейдоновский Лондонский центр становился службой в службе, пожирая районные управления, подминая под себя специальные отделы, наблюдателей, подслушивателей, опускаясь до таких простых людей, как наши почтари, которые сидят в сырых помещениях для сортировки почты, преданно вскрывая над паром конверты с помощью постоянно кипящих на газу чайников. Было даже дано понять, что настоящая схватка Титанов происходила между Биллом Хейдоном и царствующим Шефом, и этот последний называл себя Контролем, и что Смайли, виночерпий Контроля, был скорее на стороне своего хозяина, чем Хейдона.

А затем также намекнули, что над самим Смайли навис дамоклов меч или – если более тактично – что его ожидает назначение на преподавательский пост, чтобы у него оставалось больше времени на свою семейную жизнь.

Хейдон весело посмотрел на Смайли, но веселый взгляд стал ледяным, пока Хейдон ждал, что Смайли посмотрит на него в ответ. Все остальные тоже ждали. Неловкость состояла в том, что Смайли в ответ не взглянул. Он был похож на человека, не пожелавшего ответить на приветствие. Он сел в шезлонг, брови его были подняты, большие веки опущены, а круглая голова наклонена, словно он внимательно рассматривал персидский коврик для молитвы – еще одну эксцентричную деталь комнаты Билла. Так он и продолжал изучать коврик, будто не подозревая, что Хейдон им интересуется, хотя все мы знали – даже я, – что это было неправдой. Потом он надул щеки и неодобрительно нахмурил брови. И наконец встал – но не театрально, поскольку Джорджу никогда это не было свойственно, – и собрал свои бумаги.

– Что ж, думаю, мы извлекли из этого суть, так, Билл? – сказал он. – Пожалуйста, через час, если вас это устраивает, Контроль собирает офицеров, которые ознакомились с этим делом, и мы постараемся дать этому оценку. А нам с тобой, Нед, надо прояснить один эпизод цюрихской истории. Может, заглянешь, когда освободишься от Билла?

Двадцать минут спустя я сидел в кабинете Смайли.

– Ты веришь в эту фотографию? – спросил он, совершенно не собираясь говорить о Цюрихе.

– Приходится, а что делать?

– Почему ты так думаешь? Фотографии можно подделать. Существует и такая штука, как дезинформация. Московский центр знаменит тем, что время от времени этим занимается. Мне сказали, что они даже опустились до того, что стали дискредитировать невинных людей. У них, кстати, существует целый отдел, только этим и занимающийся. В нем работает около пяти сотен офицеров.

– Тогда зачем же ложно обвинять Беллу? Почему бы не остановиться на Брандте или на ком-нибудь из экипажа?

– Что Билл велел тебе делать?

– Ничего. Он говорит, что в свое время я получу указания.

– Ты так и не ответил на его вопрос. Ты думаешь, мы должны ликвидировать агентурную сеть?

– Мне трудно ответить. Я всего лишь местное звено. А руководят агентурной сетью напрямую из Лондона.

– И все-таки?

– Мы не в силах тайно вывести из дела тридцать агентов. Нам придется начать войну. Если о путях, по которым идет снабжение, известно, а все пути отхода перекрыты, я не вижу, что мы вообще могли бы для них сделать.

– Значит, можно считать, что они уже покойники, – сказал он, скорее утверждая, чем спрашивая. На столе зазвонил телефон, но Смайли не поднял трубку. Он продолжал смотреть на меня с сочувствием и интересом. – Что ж, если они уже покойники, запомни, пожалуйста, Нед, это не твоя вина, – по-доброму добавил он. – Никто не ждет, что ты в одиночку справишься с Московским центром. Это может быть ошибка Пятого этажа, может быть – моя. Но уж никак не твоя.

Он кивнул мне на дверь. Я закрыл ее за собой и услышал, что его телефон перестал звонить.

* * *

В тот же вечер я вернулся в Гамбург. Когда я позвонил, у Беллы был радостно возбужденный голос, который тут же погрустнел оттого, что я сразу не бегу к ней сломя голову.

– Где Брандт? – спросила она. Она не имела никакого представления о том, что телефон может прослушиваться. Я сказал, что с Брандтом все в порядке, все замечательно. Я чувствовал себя виноватым, разговаривая с ней, потому что мне было известно так много, а ей так мало. Нужно держаться с ней естественно, сказал Хейдон: "Что бы ты ни делал раньше, продолжай в том же духе или делай это даже еще лучше. Я хочу, чтобы она ни о чем не догадалась". Я должен был сказать ей, что Брандт ее любит, на чем он, несомненно, настаивал. Предполагаю, что в своих мучениях он просил о встрече со мной. Во всяком случае, надеюсь, что это так, поскольку я доверял ему и был за него в ответе.

Я старался не расстраиваться из-за себя, потому что другим было намного хуже, но этого не получалось. Еще несколько дней назад я тревожился за Брандта и его экипаж. Я был их представителем и их защитником. Теперь один из них был мертв или того хуже, а остальных у меня забрали. Агентурная сеть, хотя и работала на Лондон, была мне вроде семьи. Теперь это было похоже на остатки призрачной армии, до которой не добраться, – армии, которая находится между жизнью и смертью.

Но хуже всего было ощущение путаницы: у меня в голове была по меньшей мере дюжина противоречивых теорий, каждая из которых мне в отдельности нравилась. Сначала я убеждал себя в том, что Белла невиновна. Это, собственно, я и доказывал Хейдону. А в следующую секунду я спрашивал самого себя, как она могла связываться со своими хозяевами. Ответ был – очень просто. Она ходила в магазины, в кино, на занятия. Она могла встречаться со связными и вынимать почту из почтовых ящиков сколько душе угодно.

Но, зайдя так далеко, я стал ее защищать. Белла не была порочной. Фотография – чистое надувательство, а история об ее отце ровным счетом ничего не значила. Смайли так и сказал. Существовали сотни возможных вариантов провала операции, и Белле совершенно не нужно было бы прикладывать к этому руку. Наша оперативная безопасность была жесткой, но не настолько, насколько мне бы хотелось. Мой предшественник оказался продажным. А почему бы ему вдобавок к тому, что он выдумывал агентов, нельзя было нескольких и продать? Пусть даже он и не продал, но разве у Брандта не было никаких оснований предположить, что утечка могла произойти с нашей стороны забора, а не с их? Теперь я не хотел бы, чтобы вы подумали, что молодой Нед, лежа в своей одинокой постели той ночью, без чьей-либо помощи распутал клубок предательств – впоследствии Джорджу Смайли пришлось приложить все силы, чтобы раскрыть эти тайны. Источник может быть подставой, на подставу можно и не обратить внимания, опытный разведчик может принять неправильное решение – и все без помощи

предателя в пределах Пятого этажа. Это я знал. Я не был ни ребенком, ни одним из серощеких теоретиков по вопросам конспирации из Центра.

Тем не менее я все взвешивал, как каждый бы на моем месте, когда преданность Службе подвергается чрезвычайному испытанию. Я сопоставил обрывки информации о случаях необъяснимых провалов, о постоянных скандалах и растущем гневе наших Американских Братьев. О бессмысленных реорганизациях, изнурительном соперничестве между теми, кто сегодня бессмертен, а завтра уходит в отставку. Полные ужасов истории о некомпетентности как доказательстве серьезного предательства – и лишающие спокойствия факты предательства, отброшенные по причине некомпетентности.

Если есть такая штука, как взросление, то можно сказать, что в ту ночь я сделал один из таких скачков в зрелость. Я осознал, что Цирк был во многом похож на любое другое британское учреждение, разве что еще более британское, чем другие, поскольку играл в свои игры в безопасности кабинетов с плотно закрывающимися дверьми, а игра шла на жизни других людей. Все же я был рад, что осознал это. Это возвращало мне ответственность за мои деяния, что до настоящего времени я слишком охотно перекладывал на плечи других. Если до этих пор моя карьера представляла собой постоянную схватку между подчинением и свободной волей, то можно было бы сказать, что раньше побеждало подчинение. Но в ту ночь я преступил некую границу. Я решил, что отныне и впредь буду больше прислушиваться к собственным инстинктам и желаниям и меньше обращать внимания на повседневную работу “в упряжке”, без которой, казалось, мне было невозможно обойтись.

* * *

Мы встретились на конспиративной квартире. Если и можно было найти где-нибудь нейтральную территорию, то это именно там. Белла все еще ничего не знала о катастрофе. Я лишь сказал ей, что Брандта вызвали в Англию. Мы сразу же сошлись с ней, слепо и ненасытно; затем я дождался чистоты состояния, которое приходит после любви, чтобы начать свой допрос.

Я начал шутливо поглаживать ее волосы “против шерсти”. Потом обеими руками сгреб их назад неумело собрав в хвост.

– Так у тебя очень строгий вид, – сказал я и поцеловал ее, не опуская рук. – Ты когда-нибудь носила такую прическу? – Я снова поцеловал ее.

– Когда была девочкой.

– Когда это было? – сказал я сквозь наши сомкнутые губы. – До Тадео? Когда?

– До того, как ушла в лес. Потом я его обрезала. Одна женщина мне отрезала хвост ножом.

– А у тебя есть фотографии, где ты такая?

– Мы в лесу не фотографировались.

– Я имею в виду раньше. Когда у тебя была прическа, как у строгой женщины.

Она села.

– Зачем?

– Просто ответь мне.

Она глядела на меня почти бесцветными глазами.

– Нас фотографировали в школе. А что?

– Группами? Классами? Какие фотографии?

– Зачем?

– Скажи мне, Белла. Мне надо знать.

– Нас снимали в классе и фотографировали для документов.

– Каких документов?

– Для удостоверений личности. Для наших паспортов.

Она говорила не о том паспорте, который мы подразумеваем под этим словом. Она имела в виду паспорт, который необходим для передвижения внутри Советского Союза. Без паспорта ни один свободный гражданин не может и дороги перейти.

– Фотография лица? Без улыбки?

– Да.

– Белла, а что ты сделала со своим старым паспортом?

Она не помнила.

– Что на тебе тогда было, когда ты фотографировалась? – Я поцеловал ее грудь. – Не это, разумеется. Что на тебе было?

– Блузка и галстук. Что за чепуху ты несешь?

– Послушай меня, Белла. Существует ли кто-нибудь – домашние ли, школьная подруга, старый друг, родственник, – у кого нашлась бы твоя фотография, на которой ты снята с зачесанными назад волосами? Кто-то, кому бы ты могла написать или, может, как-то связаться?

Она секунду размышляла, глядя на меня.

– Моя тетя, – сказала она сердито.

– Как ее зовут?

Она ответила.

– Где она живет?

– В Риге, – сказала она, – с дядей Янеком.

Я схватил конверт, посадил ее, все еще голую, за стол и заставил написать их полный адрес. Потом положил перед ней лист простой писчей бумаги и продиктовал письмо, которое она по мере написания переводила.

– Белла, – я заставил ее встать и нежно поцеловал. – Белла, скажи мне еще кое-что. Ты когда-нибудь училась в какой-нибудь школе, кроме тех, что есть в твоем родном городе?

Она покачала головой.

– А в воскресной школе? В специальной? Языковой?

– Нет.

– Ты учила в школе английский?

– Конечно, нет. Иначе я бы говорила по-английски. Что с тобой происходит, Нед? Почему ты задаешь мне все эти глупые вопросы?

– "Маргаритка" попала в беду. Была стрельба. Брандта не задело, но остальные ранены. Это все, что я могу тебе сказать. Завтра мы вместе с тобой должны лететь в Лондон. Им нужно задать нам несколько вопросов и выяснить, что же произошло.

Она закрыла глаза и затряслась. Открыла рот и беззвучно закричала.

– Я верю тебе, – сказал я. – Я хочу тебе помочь. И Брандту. Это правда.

Она медленно подошла ко мне и, плача, положила голову мне на грудь. Она снова стала ребенком. Возможно, она всегда им была. Наверное, помогая мне взрослеть, она увеличивала между нами расстояние. Я привез ей британский паспорт. Своей национальности у нее не было. Я заставил ее остаться со мной на ночь, и она уцепилась за меня так, словно шла ко дну. Ни она, ни я не спали.

– Es ist ein reiner Unsinn, – сказала она. – Это полная чепуха.

– Что именно?

Она отняла руку. Не со злостью, а в каком-то беспредельном отчаянии.

– Это вы их заставили сунуться в воду, а теперь сидите и смотрите, что дальше будет. Если их не убьют, они – герои, если убьют – мученики. Вы не получаете ничего из того, что стоит получить, а моих земляков посылаете на гибель. Что вы от нас хотите? Чтобы мы подняли восстание и перебили русских захватчиков? Вы придете и поможете нам, если мы попытаемся? Не думаю. Мне кажется, что вы вообще всем этим занимаетесь, чтобы хоть чем-то заняться. Думаю, вы нам вообще не нужны.

Я никогда не мог забыть того, что сказала Белла, поскольку это был также и отказ от моей любви. И сегодня я думаю о ней каждое утро, слушая новости, перед тем как идти гулять с собакой. Я задаю себе вопрос: что, как нам казалось, обещали мы в те времена этим храбрым балтам и то ли это было обещание, которое мы так усердно сегодня нарушаем?

На этот раз, к моему облегчению, в аэропорту нас встречал Питер Гиллам – его приятная внешность и беззаботность, казалось, вселили в нее уверенность. В качестве дуэньи он взял с собой наблюдательницу Нэнси, которая на сей раз изображала из себя заботливую мамашу. Обступив Беллу с двух сторон, они провели ее через службу иммиграции к серому фургону, принадлежащему сэрратским инквизиторам. Жаль, что никто не додумался прислать менее устрашающую машину, потому что, как только Белла увидела фургон, она остановилась и укоризненно взглянула на меня, прежде чем Нэнси сгребла ее в охапку и втолкнула внутрь.

Я узнал, что в жизни не всякий раз есть возможность достойно расстаться.

* * *

Я могу только рассказать вам, что сделал после и что потом услышал. Я направился к Смайли на работу и большую часть дня провел, пытаясь поймать его в перерывах между совещаниями. По протоколу Цирка я обязан был сначала идти к Хейдону, но, расспрашивая Беллу, и так уже превысил полномочия, которые он мне дал, а поэтому я полагал, что Смайли выслушает меня более благожелательно. Он выслушал меня, забрал себе Беллино письмо и изучил его.

– Если мы отправим его из Москвы и дадим им для ответа обратный конспиративный адрес в Финляндии, то это может сработать, – пробовал убедить его я.

Но у меня создалось впечатление, что мысли Смайли, как, впрочем, часто с ним случалось, витают где-то в тех сферах, куда я не допускался. Он бросил письмо в ящик и закрыл его.

– Думаю, этого не потребуется, – сказал он. – Во всяком случае, давай на это надеяться.

Я спросил его, что они сделают с Беллой.

– Полагаю, то же, что сделали с Брандтом, – ответил он, достаточно выйдя из состояния погруженности в свои мысли, чтобы грустно мне улыбнуться. – Заставят ее рассказать о мельчайших подробностях ее жизни. Попытаются уличить во лжи. Сломить ее. Но не тронут. Физически. Ей не скажут, что против нее имеется. Они просто постараются выявить ее настоящее лицо. Кажется, недавно собрали большинство тех, кто был с ней в лесу. Это, естественно, сыграет не в ее пользу.

– Что с ней сделают потом?

– Что ж, думаю, мы все же сможем предотвратить худшее, пусть теперь нам и не под силу сделать для нее еще что-то, – ответил он, возвращаясь к своим бумагам. – Может, тебе пора к Биллу отправиться, а? Его, наверное, интересует, что ты задумал.

И я помню выражение его лица, когда он выпроваживал меня: в нем были боль, разочарование и злость.

Отправил ли Смайли письмо, которое я ему принес? Пришла ли в ответ фотография и оказалась ли эта фотография той самой, которую подделыватели из Московского центра, вклеили в групповую фотографию? Хотелось бы мне, чтобы все было так гладко, но в жизни так никогда не бывает, хотя тешу себя надеждой, что мои старания помочь Белле возымели какое-то влияние; ее освободили, и она устроилась в Канаде несколько месяцев спустя при загадочных для меня обстоятельствах.

Ведь Брандт отказался взять ее к себе, не говоря уже о том, чтобы поехать с ней. Неужели Белла рассказала ему о нашем романе? Или кто-то другой? Думаю, вряд ли это возможно, если только со злости это не сделал сам Хейдон. Билл ненавидел женщин и большинство мужчин, и больше всего на свете ему нравилось выворачивать наизнанку людские приязненные отношения.

Брандту также были выданы чистый билет и – после некоторого сопротивления Пятого этажа – пособие, чтобы начать безбедную жизнь. Иными словами, он смог купить себе лодку и отправиться в Вест-Индию, где возобновил свое старое занятие контрабандой, избрав на сей раз доставку оружия на Кубу.

А предательство? Смайли сказал мне позже, что агентура Брандта просто слишком хорошо работала, чтобы Хейдон ее терпел, поэтому Билл предал их, как предал и их предшественника, попытавшись свалить вину на Беллу. Он договорился с Московским центром подделать факты против нее, которые он представил в качестве тех, что пришли от его подложного источника Мерлин, поставщика материала для "Уичкрафт". Смайли, который уже настигал крота, высказал в высоких инстанциях свои подозрения только для того, чтобы быть сосланным за правоту в изгнание. И еще потребовалось два года, прежде чем его вернули расчищать конюшни.

* * *

На этом история и остановилась, пока всерьез не началась наша внутренняя перестройка – зимой 89-го, – когда вездесущий Тоби Эстергази, переживший всех и вся, привез в Московский центр делегацию средних чинов Цирка – первый шаг на пути к тому, что наше благословенное министерство иностранных дел настойчиво называло "нормализацией отношений между двумя службами".

Команду Тоби радушно приняли на площади Дзержинского, показали много помещений, кроме, как можно догадаться, камер пыток старой Лубянки или крыши, с которой, случайно оступаясь, падали некоторые невнимательные заключенные. Тоби и его людей напоили и накормили. Как говорят американцы, устроили показуху. Они купили меховые шапки, прикололи на них веселые значки и сфотографировались на площади Дзержинского.

А в последний день – в знак особого расположения – их провели на балкон огромного информационного зала Центра, куда стекаются для обработки донесения из всех источников. Именно здесь, когда они выходили с балкона, говорит Тоби, они с Питером Гилламом одновременно засекли в дальнем конце коридора высокого плотного блондина, выходящего,

по всей вероятности, из мужского туалета, поскольку в этой части коридора была всего лишь еще одна дверь, на которой был нарисован женский силуэт.

Это был уже немолодой человек, который, однако, прошел в дверь, как бык. Он замер и какое-то время глядел прямо на них, словно находясь в нерешительности – то ли подойти к ним и поздороваться, то ли ретироваться. Потом он опустил голову, как им показалось, с улыбкой и пошел от них, исчезнув в другом коридоре. Но у них было вполне достаточно времени, чтобы заметить его моряцкую походку вразвалку и борцовские плечи.

Ничто не исчезает бесследно в тайном мире, ничто не исчезает и в реальном. Если Тоби и Питер правы – а есть и такие, кто до сих пор уверяет, что русское гостеприимство превзошло тогда самое себя, – то у Хейдона имелась еще более веская причина переложить подозрение с морского капитана Брандта на Беллу.

Был ли Брандт не тем, за кого мы его принимали с самого начала? Если так, то я невольно содействовал его вербовке и смерти наших агентов. Это ужасная мысль, и иногда, когда еще серо и холодно и я лежу рядом с Мейбл, она приходит мне в голову.

А Белла? Я думаю о ней как о моей последней любви, как о правильном пути, которым я не воспользовался. Если Стефани открыла во мне дверь сомнений, то Белла, пока еще было время, направила меня к открытому миру. Когда я думаю о тех женщинах, которые были после них, они уже не имеют значения. А когда я думаю о Мейбл, то могу только объяснить, что она – воплощение прелести семейного очага для фронтовика, вернувшегося с передовой. Но воспоминания о Белле сохранились в моей памяти, как и наша первая ночь на конспиративной квартире, выходящей окнами на кладбище, хотя в моих снах она всегда уходит от меня и даже спина ее выражает укор.

Глава 5

– Вы хотите сказать, что, может, мы и теперь пригрели второго Хейдона? – под стоны коллег раздался выкрик студента по имени Мэггс. – Каковы его побудительные мотивы, господин Смайли? Кто ему платит? Круг его интересов?

С тех самых пор, как к нам присоединился Мэггс, у меня возникли сомнения в отношении его. Его прикрытием в будущем должна была стать работа журналиста, но уже сейчас он приобрел наихудшие черты, свойственные людям его будущей профессии. Однако Смайли это ничуть не смутило.

– Что ж, уверен, что задним числом мы должны быть благодарны Биллу, – спокойно ответил он. – Потому что он сделал вливание Службе, которая тихо помирала, – в замешательстве он нервно нахмурился. – Что касается новых предателей, то уверен: наш нынешний лидер посеет семена недовольства, не правда ли? Может, даже и во мне. Я обнаружил, что становлюсь большим радикалом к старости.

* * *

Но уж поверьте мне, в то время Билла мы не поблагодарили. Было время До Провала и После Провала, а Провалом был Хейдон, и вдруг в Цирке не стало ни одного человека, кто не мог бы сказать, где он был и что делал, когда услышал эту ужасную новость. Старые зубры и поныне рассказывают друг другу о тишине в коридорах, об оцепенении, о том, как в столовых друг от друга отводили глаза, как не отвечали телефоны.

Больше всего пострадало взаимное доверие. Очень постепенно, словно потрясенные люди после воздушного налета, робко выходили мы, один за другим, из наших разрушенных

домов и принимались за восстановление крепости. Считалось, что необходима основательная реформа, поэтому Цирк отказался от своего старого прозвища, лабиринта диккенсовских коридоров и кривых лестниц в кембриджском здании, где поселился позор, и построил вместо этого нечто отвратительное из стали и стекла неподалеку от Виктории, где из окон дует при сильном ветре, а коридоры провоняли запахом жидкости для чистки пишущих машинок и столовской капусты. Только англичане карают себя такими, действительно ужасными, тюрьмами. В мгновение ока мы стали, выражаясь официальным языком, Службой, несмотря на то, что слово "Цирк" все еще изредка слетает с наших губ – ведь продолжаем же мы говорить о фунтах, шиллингах и пенсах, давным-давно уже перейдя на метрическую систему мер.

Доверие было подорвано, поскольку Хейдон являлся его частью. Билл не был задирой, готовым к драке, да еще с пистолетом в кармане. Он был в точности тем, кем всегда ехидно представлял себя: главой церковно-шпионского ведомства с дядюшками, которые заседали в различных кабинетах Тори, с захудалым именьишком в Норфолке и с арендаторами, которые обращались к нему "мистер Уильям". Он был нитью тонко сплетенной паутины английского влияния, центром которой мы себя чувствовали. Он нас всех в нее и запутал.

* * *

Что касается лично меня – а я все еще настаиваю на некотором отличии от других, – мне фактически удалось услышать об аресте Билла через сутки после того, как эта новость разнеслась по всему Цирку, поскольку я был заключен в средневековую камеру без окон во чреве огромных апартаментов в Ватикане. Я руководил командой наблюдателей Цирка под присмотром монаха с ввалившимися глазами, предоставленного нам собственной секретной службой Ватикана, который скорее бы обратился к самим русским, чем к помощи своих коллег-мирян, находившихся в Риме, в одной миле от них. А наша задача заключалась в том, чтобы внедрить зонд-микрофон в зал для аудиенций одного продажного католического епископа, ввязавшегося в махинации по продаже наркотиков и покупке оружия с одной из наших раздробленных колоний – ну, чего стесняться? Это была Мальта.

С Монти и его парнями, специально прилетевшими по такому случаю, мы на цыпочках пробрались сквозь сводчатые подземелья, поднялись по подземным лестницам, пока не достигли самой удобной для нас позиции, где и заставили просверлить узкое отверстие сквозь старую цементную кладку между блоками трехфутового брандмауэра. Мы договорились, что отверстие будет не больше двух сантиметров в диаметре, то есть достаточно широким, чтобы ввести длинную пластмассовую соломинку для коктейлей, которая проводила бы звук из нужной комнаты к нашему микрофону, и достаточно маленьким, чтобы пощадить освященную каменную кладку папского дворца. Сегодня мы воспользовались бы более изощренным оборудованием, но в семидесятых годах кончался век пара и зонды были еще в обиходе. Кроме того, как бы мы горячо этого ни хотели, не станешь же хвастаться перед официальным Ватиканом своими первоклассными устройствами, разве что перед монахом в черной рясе, который выглядит так, словно только что явился из века Инквизиции.

Мы сверлили, Монти сверлил, монах смотрел. Мы лили воду на раскаленные добела сверла и на наши потные руки и лица. Мы наносили жидкую пену, чтобы заглушить жужжание дрелей, и каждую минуту снимали показания, чтобы убедиться, что не вышли по ошибке в комнату святого мужа. Ведь цель наша состояла в том, чтобы остановиться в сантиметре от поверхности и слушать изнутри через мембрану обоев или штукатурки.

Вдруг мы пробили поверхность и даже прошли дальше. Мы попали неизвестно куда. В результате торопливого взятия пробы с помощью вакуума мы получили всего лишь экзотические шелковые нитки. Мы озадаченно молчали. Неужели задета мебель? Портьеры? Кровать? Или кромка одежды ничего не подозревающего прелата? Или в зале для аудиенций что-то переменили с тех пор, как мы произвели фоторазведку?

В эту тяжкую минуту монаха осенило, и он с ужасом прошептал, что любезный епископ собрал бесценную коллекцию вышивки, и до нас дошло, что лоскутки ткани, которые мы рассматривали, были не от дивана или занавески и даже не от одеяния священника, а являлись фрагментами гобелена. Извинившись, монах убежал.

Теперь место действия переносится в старый кентский город Рай, где две сестры – и та и другая по имени мисс Кейл – держат мастерскую по реставрации ковров и тканей. И, к счастью – а можно сказать, по неотвратимым законам английских социальных связей, – их брат Генри некогда работал в Службе, а теперь был на пенсии. Разыскали Генри, сестер подняли с постелей, реактивный самолет Королевских ВВС домчал их до военного аэродрома в Риме, откуда их в мгновение ока к нам доставила машина. Потом Монти спокойно вернулся к фасаду здания и зажег дымовую шашку, которая очистила пол-Ватикана и предоставила нашей пополнившейся команде четыре отчаянных часа в нужной нам комнате. К середине того же дня гобелен был вполне сносно заштопан, а наш зондовый микрофон приютился там, где ему и положено.

И снова место действия переносится туда, где ватиканские хозяева устроили нам большой обед. У дверей с угрожающим видом стоят швейцарские гвардейцы. Монти с белой салфеткой под подбородком сидит между степенными мисс Кейл и подбирает кусочком хлеба остатки соуса со своей тарелки, развлекая их рассказами об успехах своей дочери в школе верховой езды.

– Вы не представляете себе, Рози, да вам это и ни к чему, но у моей Бекки прекрасные руки для ее возраста, лучшие во всем Южном Кройдоне…

Но тут Монти останавливается на полуслове. Он читает записку, которую я ему передал, доставленную мне связным из нашего Римского центра:

"Начальник секретной оперслужбы Цирка Билл Хейдон признался в том, что является шпионом Московского центра".

Иногда я думаю, а не было ли это величайшим из всех преступлений Билла: он навеки лишил нас легкости в наших взаимоотношениях.

Я вернулся в Лондон, где мне сообщили, что, когда будет чего еще сказать, мне скажут. Несколько дней спустя утром Кадровик заявил мне, что я попал в категорию "погорельца", а это на языке Цирка означало "с засылкой только в дружественные страны". Это было равносильно тому, если бы мне сказали, что остаток жизни я проведу в инвалидной коляске. Я не совершил никакой ошибки, я не был ни у кого в немилости, совсем наоборот. Но в нашем деле маска – это добродетель, а моя была сорвана.

Я сложил вещи из своего стола и на оставшуюся часть дня ушел с работы. Я поехал за город: до сих пор не помню дорогу, но там гулял по суссекским изогнутым, словно спина кита, меловым холмам с отвесными обрывами в пятьсот футов высотой.

Только через месяц я услышал свой приговор.

– Боюсь, что ты снова вернешься к своим эмигрантам, – сказал Кадровик со своим обычным отвращением. – И это снова Германия. Однако содержание вполне приличное, да и на лыжах можно в свое удовольствие покататься, если, конечно, повыше забраться.

Глава 6

Близилась полночь, но приподнятое настроение Смайли все улучшалось от каждой новой ереси. Я подумал, что он был похож на веселого Деда Мороза, который вместе со своими подарками раздает подстрекательские листовки.

– Иногда я думаю, что самое вульгарное в "холодной войне" – то, как мы научились заглатывать нашу собственную пропаганду, – сказал он с самой кроткой улыбкой. – Я не хочу читать вам лекции, но мы все, конечно же, в какой-то мере этим и занимались на протяжении всей нашей истории. Но во время "холодной войны", когда наши враги лгали, они лгали затем, чтобы скрыть порочность своей системы. А когда лгали мы, то мы прятали наши добродетели. Даже от самих себя. Мы скрывали то самое, что делало нас правыми. Наше уважение к личности, нашу любовь к разнообразию и аргументу, нашу веру в то, что честно управлять можно только с согласия тех, кем управляют, нашу способность услышать мнение других, особенно когда речь шла о странах, которые мы до смерти эксплуатировали в наших собственных целях. С нашей предполагаемой идеологической честностью мы принесли в жертву нашу сострадательность великому богу безразличия. Мы защищали сильных от слабых и совершенствовали искусство публичной лжи. Честных реформаторов мы выдавали за врагов, а омерзительных диктаторов – за друзей. Мы даже не находим времени, чтобы спросить себя, как долго еще сможем пользоваться такими средствами, чтобы защищать наше общество, и оставаться обществом, которое стоит защищать, – снова взгляд на меня. – Поэтому не было ничего удивительного, – правда, Нед? – что наши двери были открыты каждому обманщику и шарлатану, занимающемуся антикоммунистическим рэкетом. У нас были негодяи, которых мы заслуживали. Нед знает. Спросите у него.

И Смайли, ко всеобщему удовольствию, разразился смехом, а я, секунду поколебавшись, тоже засмеялся и заверил своих студентов, что как-нибудь об этом расскажу.

* * *

Возможно, и вам перепало, как говорят в Штатах. Возможно, вы были среди восторженной публики на одном из впечатляющих представлений, которые они дают во время своего неутомимого путешествия по Среднему Западу Америки, когда они пожимали руки и давились резиновой курицей, которую во время лекционного турне подавали на обед по сотне долларов за порцию, – и порции шли нарасхват. Мы называли это шоу Теодора – Латци. Теодором звали Профессора.

Быть может, и вы присоединились к бессчетному числу аплодирующих стоя людей, пока два наших героя скромно находились в центре сцены – Профессор, высокий и импозантный, в одном из новых дорогих костюмов, специально приобретенных для этой поездки, и маленький Латци, его круглощекий немой, небольшие глазки которого были до краев наполнены идеалами. Овации раздались еще до того, как они начали говорить, и овации – после их речи. Но аплодисменты были недостаточно громкими для "двух великих американских венгров, которые без посторонней помощи пробили себе дырку в Железном Занавесе". Цитата из талсской "Геральд".

Возможно, ваша чисто американская дочь наряжалась в украшавший ее костюм венгерской пейзанки и прикалывала специально для этого случая цветы к волосам – бывало и такое. А может, вы посылали пожертвование в Лигу освобождения, почтовый ящик такой-то, Уилмингтон. Или, может, ожидая в приемной стоматолога, прочитали о наших героях в "Ридерс дайджест".

Или, возможно, как и Питер Гиллам, который в то время работал в Вашингтоне, вы удостоились чести присутствовать на их грандиозном приеме, организованном совместно с нашими Американскими Братьями, городской полицией Вашингтона и ФБР, не где-нибудь, а в таком храме благонамеренности, как выдержанный в строгом стиле, обитый панелями отель "Хей-Адамс", расположенный прямо напротив через площадь от Белого дома. Если так, то вас можно было бы считать серьезным и влиятельным человеком. И вам нужно быть журналистом с переднего края или, по крайней мере, лоббистом, добывающим сведения в кулуарах парламента, чтобы вас допустили в торжественно-безмолвный зал заседаний, где каждое сдержанно сказанное слово обладает силой, словно высеченное на камне, а люди в оттопыривающихся блейзерах напряженно следят, чтобы вам было удобно и покойно. Ведь кто знает, когда Кремль нанесет ответный удар? Это было то еще времечко.

Или, может, вы читали их книгу, которую Братья незаметно всучили послушному издателю с Мэдиссон-авеню и запустили в производство под фанфары одобрения покорных критиков перед тем, как она заняла нижнюю строку в списке документальных бестселлеров и оставалась там в течение целых двух недель. Надеюсь, вы прочли, поскольку, хоть она и появилась под их двумя именами, на самом деле кусочек написал и я, пусть даже Братья воспротивились моему первоначальному названию. Их название было таким: "Кремлевский убийца". Позже я назову вам свое.

* * *

Кадровик, как обычно, все перепутал. Для любого, кто жил в Гамбурге, Мюнхен Германией совершенно не является. Это другая страна. Я никогда не ощущал даже самой отдаленной связи между двумя этими городами, но, когда настало время заняться разведкой, Мюнхен, как и Гамбург, стал одной из невоспетых столиц Европы. Даже Берлин был оттеснен на всего лишь второе место, когда стал вырисовываться размах деятельности невидимого мюнхенского сообщества. Самой крупной и отвратительной из наших организаций был орган, больше известный по названию места, где он был расположен, – Пуллах, – где вскоре после 1945 года американцы разместили малоприятное общество старых нацистских офицеров под началом бывшего генерала гитлеровской военной разведки. Их задача состояла в том, чтобы подкатиться к другим старым нацистам в Восточной Германии и подкупом ли, шантажом или обращением к товарищеским чувствам переманить их на Запад. Казалось, американцам не могло и в голову прийти, что восточные немцы делали то же самое, но в большем объеме и с лучшими результатами.

Итак, Немецкая служба размещалась в Пуллахе, американцы сидели с ними, время от времени подбивали на что-то, потом пугались этого и тащили их назад. А где сидели американцы, там сидели и все остальные. Время от времени разражались ужасные скандалы, в основном когда кто-то из этой компании клоунов буквально забывал, на кого он работает, или плакался в жилетку, делая признание, или пристреливал свою любовницу, любовника или самого себя, или же пьяный неожиданно возникал по другую сторону Занавеса, чтобы высказать свою преданность тем, кому предан до сих пор не был. Никогда в жизни не встречал подобного разведборделя.

После Пуллаха появились расшифровщики и специалисты по обеспечению безопасности, а после них пришли радио "Свобода", радио "Свободная Европа" и радио "Свободное Все Остальное", и неизбежно, поскольку в большинстве своем они оставались все теми же эмигрантами-заговорщиками, они стали чувствовать, что судьба обходит их стороной, но не

решались сказать об этом. И много времени было проведено среди этих изгоев, которые спорили по поводу таких, например, тонкостей: кто станет королевским шталмейстером, когда будет реставрирована монархия; кто будет удостоен ордена Св. Петра; кто вступит во владение летними дворцами эрцгерцога, как только из его гостиных выметут мокрых коммунистических куриц; кто достанет горшок с золотом, который лежит на дне, как его там, какого-то озера, начисто забывая о том, что это озеро узурпаторы-большевики осушили еще тридцать лет назад и построили на том месте гидроэлектростанцию площадью почти что в два с половиной гектара, прежде чем сообразили, что воды здесь не будет.

Словно этого было недостаточно, в Мюнхене родились дичайшие всегерманские амбиции, приверженцы которых даже границы 1939 года считали всего лишь началом того, что нужно Большой Германии. Восточные пруссаки, саксонцы, померанцы, силезцы, балты и судетские немцы – все протестовали против причиненной им ужасной несправедливости и, дабы смягчить свое горе, тянули из Бонна толстые конверты с деньгами. Иногда вечерами, когда я устало тащился домой к Мейбл по пропахшим пивом улицам, мне чудилось, что они поют свой гимн, маршируя за призраком Гитлера.

В деле ли они еще, когда я пишу? Ох, боюсь, что да и выглядят намного менее сумасшедшими, чем в те дни, когда общение с ними было моей работой. Смайли процитировал мне как-то Хораса Уолпола – такое имя само собой не возникло бы у меня в голове. Этот мир – комедия для тех, кто думает, сказал Уолпол, и трагедия для тех, кто чувствует. Что ж, для комедии у Мюнхена имеются баварцы. А для трагедии – прошлое.

Воспоминания мои обрывочны, когда почти двадцать лет спустя я пытаюсь восстановить в памяти детали политического прошлого Профессора. В то время я воображал, что понимаю его, – может, так оно и было на самом деле, поскольку большую часть вечеров проводил с ним, слушая отрывки из истории Венгрии в период между войнами. И я уверен, мы тоже включили бы их в книгу, по меньшей мере на целую главу, если бы мне только удалось раздобыть где-то рукопись.

Проблема состояла в том, что о прошлом Венгрии ему было говорить намного приятнее, чем о ее настоящем. Возможно, он научился, что в жизни, где надо постоянно приспосабливаться, мудрее и безопаснее ограничить свои интересы вопросами, имеющими отношение к истории. Помню, были легитимисты, поддерживающие короля Карла, который в 1921 году внезапно вернулся в Венгрию, к великому ужасу союзников, без обиняков приказавших ему убраться. Думаю, что, когда произошло это трогательное событие, Профессору могло быть чуть больше пяти лет, однако рассказывал он об этом со слезами на просветленных глазах и по манерам чувствовалось мимолетное прикосновение королевского величия. А когда он упомянул о Трианонском договоре, его белая холеная рука, держащая бокал с вином, задрожала от возмущения.

– Это был диктат, герр Нед, – возразил он мне с вежливым упреком, – навязанный нам вами, победителями. Вы украли у нас две трети земель, принадлежащих Короне! Роздали их Чехословакии, Румынии, Югославии. Таким ничтожествам отдали, герр Нед! А мы, венгры, были образованными людьми! Почему вы так с нами поступили? Ради чего?

Я мог только извиниться за плохое поведение своей страны, а также за Лигу Наций, которая в 1931 году разрушила венгерскую экономику. Как Лига дошла до такого безрассудного поступка, я так и не понял, но помню, что речь шла о рынке пшеницы и жесткой политике Лиги в отношении традиционного снижения цен.

Однако, когда мы подошли к более современным проблемам, Профессор стал до странного скрытен в выражении своего мнения.

– Это еще одна катастрофа, – все, что он говорил. – Во всем виноваты Трианон и евреи.

Лучи вечернего солнца косо прошли сквозь окно в сад и осветили великолепную голову Теодора. Это был храбрый и сильный человек, поверьте, с широким сократовским лбом,

похожий на великого дирижера, без пяти минут гения, с хорошо вылепленными руками, ниспадающими кудрями и сутулостью интеллектуала. Невозможно было быть поверхностным, имея такой почтенный вид, даже если ученые глаза, казалось, были немного маловаты для глазниц или украдкой зыркали куда-то в сторону, как у клиента в ресторане, увидевшего, что мимо проносят блюдо повкуснее.

Нет, нет, это был хороший, благородный человек и вот уже пятнадцать лет – наш джо. Если человек высокий, то, несомненно, он обладает авторитетом. Если у него прекрасный голос, то и слова получаются прекрасными. Если он выглядит, как Шиллер, то он и чувствовать должен по-шиллеровски. Если его улыбка духовна и не от мира сего, то нет сомнений, что такова же его душа. Живем ведь в обществе визуальных образов.

Бывают изредка исключения, когда, как я теперь думаю, бог развлекает Самого Себя, наделяя нас внутри нашей оболочки свойствами абсолютно другого человека. Одни не выдерживают этого, а другие развиваются, пока не достигнут уровня своего облика. А некоторые не делают ничего, но величие свое несут, словно дар свыше, вежливо принимая почтение, не принадлежащее им по праву.

* * *

Повествование о рабочем прошлом Профессора занимает немного времени. Настолько немного, что получилось несколько банальным. Родился он в Дебрецене, недалеко от румынской границы, и был единственным сыном во всем потакающих ему родителей, бедных аристократов, державших нос по ветру. Благодаря им он унаследовал деньги и связи, что в наши дни в так называемых социалистических странах случается чаще, чем можно было бы предположить. Он был литератором, писал статьи в научные журналы, немного поэтом и несколько раз женившимся любовником. Пиджаки носил внакидку, не продевая руки в рукава. Всю эту роскошь он мог спокойно себе позволить ввиду своих привилегий и средств, о которых не очень-то распространялся.

В Будапеште, занимаясь преподаванием некой расплывчатой философии, он приобрел небольшое количество последователей среди своих студентов, которые нашли в словах Теодора больше огня, чем это было на самом деле, поскольку он красноречием никогда не отличался, считая ораторское искусство чепухой. Тем не менее он стал в какой-то мере понимать их потребности. Он следил за их страстью и, будучи по природе своей миротворцем, ответил тем, что наделил ее голосом – по совести говоря, довольно сдержанным, но голосом, который они уважали заодно с прекрасными манерами и духом старого, лучшего порядка. К тому времени он был в возрасте, когда юношеская лесть воодушевляла, а он всегда отличался тщеславием. И благодаря тщеславию он позволил себе быть подхваченным контрреволюционным течением. Поэтому ужасной ночью 3 ноября 1956 года, когда советские танки повернули от границы и окружили Будапешт, ему не оставалось ничего другого, как спасать свою жизнь, что он и сделал, бросившись в объятия английской разведки.

По приезде в Вену Профессор первым делом должен был позвонить своему венгерскому другу по Оксфорду, требуя от него в своей безапелляционной манере денег, связей и писем, свидетельствующих о его заслугах. Оказалось, что друг этот тоже дружит с Цирком. В общем, вербовка в этом сезоне удалась.

Не прошло и нескольких месяцев, как Профессор был зачислен на работу. Ухаживания почти не было, как и заискивания, не было и привычной суеты поклонников. Предложение было сделано и принято как должное. За год с щедрой помощью американцев Профессор

Теодор устроился в Мюнхене в удобном доме на берегу реки, с машиной и преданной, но какой-то растерянной женой Хеленой, которая сбежала вместе с ним – похоже, к его огорчению. С этого момента и на невероятно долгое время Профессор Теодор был главным оружием против Венгрии, и даже Хейдону не удалось его подсидеть.

Его прикрытием была работа на радио "Свободная Европа" – он был настоящим зубром в отношении всего, что касалось венгерской истории и культуры, лучшего для него и не придумаешь. А ничем большим он никогда и не был. Вдобавок он читал немного лекций и давал частные уроки – в основном, как я заметил, девушкам. Его нелегальная работа, которая благодаря американцам прекрасно оплачивалась, состояла в том, чтобы развивать свои отношения с бывшими друзьями и студентами, чтобы стать для них центром, вдохновляющей идеей и под руководством сформировать из них оперативную агентурную сеть, хотя ничего, насколько мне известно, из этого не вышло. Это была нереальная работа и лучше выглядела на бумаге, чем в действительности. Все же она шла и шла. Она шла пять лет, потом еще пять, и к тому времени, когда я принял папку с делом великого человека, она продолжалась вот уже пятнадцать невероятных лет. Таковы некоторые операции, и застой лишь благоприятствует им. Они недороги, они не имеют решающего значения и совсем необязательно куда-то должны вести – как никуда не приводит и политический тупик – и не скандальны. Ежегодно, когда слушается годовой отчет, их принимают без голосования, пока долговечность не становится их оправданием.

Теперь я бы не сказал, что Профессор за все это время ничего для нас не сделал. Сказать так было бы не только несправедливо, но и унизительно для Тоби Эстергази, который и сам был венгерского происхождения и, восстановившись в своих правах После Провала, стал вести профессорское дело. Тоби дорого заплатил за свою слепую поддержку Хейдона, и, когда ему дали Венгерский отдел – а это никогда не считалось самым высоким постом среди стран Железного Занавеса, – Профессор быстренько стал самой важной фигурой в личной реабилитационной программе Тоби.

– Я сказал бы, Нед, что Теодор – наша звезда первой величины, – уверял он меня перед моим отъездом из Лондона во время обеда, за который чуть было не заплатил. – Старая школа, полная свобода действий, много лет в седле и предан, как пиявка. Теодор – это наш стопроцентный козырь.

И конечно, одним из самых замечательных достижений Профессора стало то, что ему удалось избежать хейдоновского сокращения, то ли потому, что ему повезло, то ли, выражаясь менее милосердно, он был не настолько умен, чтобы заслужить интерес деятельного предателя. Готовясь принять дела и находясь в отпуске в Ивисе – предшественник мой умер от инсульта, – я не мог не заметить, что, несмотря на то, что персональное дело Теодора насчитывало несколько томов, папка с результатами его работы была необычайно тонка. Отчасти это можно было объяснить тем, что его главная функция заключалась скорее в том, чтобы выявить талант, чем его использовать, а отчасти тем, что те несколько источников, которые за долгий период времени он добавил к нашей агентурной сети, работали на нас все еще относительно непродуктивно.

– Я бы сказал, Нед, что Венгрия – чертовски труднодостижимая цель, – заверил он меня, когда я тактично это ему высказал. – Она слишком открыта. А при открытом доступе получаешь много дерьма, о котором и без того тебе известно. Вместо драгоценностей Короны получаешь общедоступную информацию. А кому она нужна? Но вот что Теодор дает американцам – это фантастика.

Вся суть, казалось, в этом и состояла.

– А что в действительности он им дает? – спросил я. – Кроме сердец и умов, которые он ловит по радио, и статей, которые никто не читает?

Улыбка Тоби стала до противного надменной.

– Извини, старина Нед. "Пределы необходимой информации". К этому тебе доступ не оформлен.

Несколько дней спустя, как того требовал протокол, я заявился к Расселу Шеритону на Гросвенор-сквер, чтобы попрощаться. Шеритон был главой Штаб-квартиры Братьев в Лондоне, а также отвечал за их операции в Западной Европе. Я выждал подходящий момент и произнес имя Теодора.

– Что ж, на этот вопрос, Нед, должен ответить Мюнхен, – быстро сказал Шеритон. – Ты меня знаешь. Никогда не браконьерствую в чужих владениях.

– Но приносит ли он вам пользу? Это все, что я хочу узнать. Ведь и джо выгорают, так? Все-таки пятнадцать лет.

– Честно говоря, Нед, мы считали, что он приносит пользу вам. Послушав Тоби, можно подумать, что Теодор в одиночку поддерживает на своих плечах весь свободный мир.

Нет, подумал я. Послушав Тоби, можно подумать, что Теодор в одиночку поддерживает Тоби на своих плечах. Но я не был циничен. В шпионаже, как в общем-то и в жизни, всегда легче сказать "нет", чем "да". Я приехал в Мюнхен и был готов поверить, что Теодор – звезда, которую Тоби вознес на небеса. Единственное, что мне было нужно, – в этом убедиться.

И я убедился. По крайней мере, сначала. Он был великолепен. Я считал, что мой брак с Мейбл освободил меня от таких поспешных проявлений восторга, что в некотором смысле так и было до той минуты, когда однажды вечером он открыл мне дверь и я решил, что натолкнулся на одну из прекрасно сохранившихся реликвий среднеевропейской истории и все, что мне приличествует сделать, это сесть, как остальные его последователи, у его ног и впитывать в себя его мудрость. Вот для чего нужна Служба, подумал я. Такого человека надо беречь, хотя бы даже ради него самого. Культура, подумал я. Широта. Годы и годы служения.

Он принял меня тепло, но соблюдая некоторую дистанцию, что соответствовало его возрасту и положению. Он предложил мне бокал прекрасного токайского и доставил удовольствие рассказом о его происхождении. Нет, признался я, о венгерских винах я знал мало, но не прочь был бы поучиться. Он говорил о музыке, в которой я тоже ужасный профан, и проиграл мне несколько тактов на своей бесценной скрипке, той самой, объяснил он, которую привез с собой, когда бежал из Венгрии, и которая была выполнена не Страдивари, а кем-то несравнимо лучшим, чье имя уже давно вылетело у меня из головы. Я думал, что на мою долю выпала потрясающая привилегия общаться с агентом, который бежал со своей скрипкой. Он говорил о театре. На гастролях в Мюнхене в то время была венгерская театральная труппа с удивительным "Отелло", и, хотя мы с Мейбл спектакля еще не видели, его мнение по этому поводу привело меня в восторг. Одет он был в то, что немцы называют Hausjacke [14], черные брюки и пару до блеска начищенных ботинок. Мы говорили о боге и мире, ели такой гуляш, какого я в жизни не пробовал, – шепотом извинившись и покинув нас, его подала нам смущенная Хелена. Эта высокая женщина, вероятно, когда-то была красивой, но предпочла перестать за собой следить. В конце обеда мы выпили абрикосовой палинки.

– Герр Нед, если мне можно вас так называть, – сказал Профессор, – существует один вопрос, который не дает мне покоя и который, с вашего позволения, я хочу поднять в самом начале наших с вами деловых отношений.

– Да, пожалуйста, – великодушно сказал я.

– К сожалению, ваш недавний предшественник – конечно, хороший человек, – он запнулся, очевидно, не в состоянии плохо говорить о покойном, – и, как и вы, культурный человек…

– Да-да, продолжайте, пожалуйста, – повторил я.

– Речь идет о моем британском паспорте.

– Я и не знал, что он у вас есть, – удивленно воскликнул я.

– В том-то и дело. У меня его нет. Кто-то считает, что существуют проблемы. Все бюрократы одинаковы. Бюрократия – самое большое зло из всех человеческих институтов, герр Нед. Самое плохое в нас они бережно сохраняют, а самое хорошее – огрубляют. Венгерский эмигрант, живущий в Мюнхене и работающий на американскую организацию, естественно, не подходит для британского гражданства. Это я понимаю. Несмотря на это, после многих лет сотрудничества с вашим отделом этот паспорт я заслужил. А временный проездной документ – это недостойная альтернатива.

– Но я так понял, что паспорт вам дали американцы! Не об этом ли было договорено с самого начала? Американцы должны были отвечать за ваше гражданство и переселение? В это, конечно же, входит и паспорт. Так должно быть!

Я был расстроен из-за того, что человеку, отдавшему нам столько лет своей жизни, отказали в этом простом знаке уважения. У Профессора было к этому вопросу более философское отношение.

– Американцы, герр Нед, народ молодой и люди корыстные. Вычерпав из меня все лучшее, они вряд ли могут рассматривать меня как человека с будущим. Для американцев я старье, которое годится только для мусорной кучи.

– Неужели они не обещали – за хорошую службу? Уверен, что обещали.

Он сделал жест, который я никогда не забуду. Он оторвал руки от стола, словно поднимая невероятно тяжелый камень. Перед тем, как со всей силой уронить руки на стол вместе с воображаемым камнем, он поднял их почти до уровня плеч. Я помню его безмолвно обвиняющие меня глаза с напряженным взглядом. "Хватит ваших обещаний, – говорили они, – и ваших, и американских. Достаньте мне только паспорт, герр Нед". Как честный разведчик, отвечающий за то, чтобы наилучшим образом заботиться о своем джо, я бросил все свои силы на решение этой проблемы. Зная Тоби еще со старых времен, я решил взять официальный тон с самого начала: никаких половинчатых обещаний, никаких пустых перестраховок. Я сообщил Тоби просьбу Теодора и попросил содействия. В конце концов, он был человеком, который занимался нами в Лондоне. Если то, что американцы не собирались выполнить свое обязательство и предоставить Профессору гражданство, было правдой, то вопрос этот нужно было бы решать не в Мюнхене, сказал я, а в Лондоне или в Вашингтоне. И если по причинам, мне не известным, британский паспорт в конце концов будет предоставлен, это также потребовало бы энергичной поддержки Пятого этажа. Давно ушли те дни, когда министерство внутренних дел предоставляло свободное британское гражданство каждому экс-циркачу, будь то Том, Дик или Теодор. Застой и об этом позаботился.

Эту просьбу я передал не как обычно, я послал ее диппочтой, чему в Цирке уделяется большее внимание. Я написал боевое письмо и через пару недель еще раз напомнил о себе. Но, когда Профессор спросил меня, как продвигаются дела, определенного ответа я не дал. Дела идут, заверил я его, Лондон не любит, когда его подталкивают. Но я все-таки удивлялся, почему Тоби так тянет с ответом.

А пока во время моих встреч с Теодором я старался разгадать, что именно он для нас такого сделал, что превратило его в звезду на малонаселенном небосводе Тоби. Колючесть Профессора помогла моим расследованиям, и на первых порах я думал, что он воздерживается от сотрудничества, пока вопрос с паспортом не будет решен. Со временем я понял, что там, где дело доходило до нашей секретной работы, это было его нормальным поведением.

Одно из его банальнейших дел заключалось в том, чтобы содержать однокомнатную студенческую квартиру в районе Швабинг, которую он использовал для того, чтобы получать на этот адрес почту от некоторых его венгерских знакомых. Я уговорил его взять меня туда. Мы открыли дверь и увидели, что на коврике лежат штук двенадцать конвертов – и все с венгерскими марками.

– Господи, Профессор, когда вы были здесь в последний раз? – спросил я, наблюдая, как тщательно он их собирает.

Он пожал плечами, как мне показалось, довольно некрасиво.

– Сколько писем, Профессор, вы обычно получаете в неделю?

Я взял у него конверты и просмотрел марки. Самая старая была прокомпостирована три недели назад, а самая недавняя – неделю. Мы прошли в покрытый пылью крошечный кабинет. Вздохнув, он устроился на стуле, выдвинул ящик и достал из тайника несколько бутылочек с реактивами и кисточку. Взяв первый конверт, он мрачно его рассмотрел, затем вскрыл перочинным ножом.

– От кого это? – спросил я с несколько большим любопытством, чем он, по-видимому, считал оправданным.

– От Пали, – ответил он мрачно.

– Пали из министерства сельского хозяйства?

– Пали из Дебрецена, он был в Румынии.

– В связи с чем? Случайно не на конференции по химическому оружию? Это была бы сенсация!

– Посмотрим. Какая-то научная конференция. Он занимается кибернетикой. Так, ничего особенного.

Я следил, как он обмакнул кисточку в первую бутылочку и обратную сторону написанного от руки письма чем-то смазал. Прополоскал кисточку в воде и нанес второй реактив. И мне показалось, что он решил продемонстрировать свое презрение к такой низкой работе. То же самое он проделывал с каждым письмом, иногда изменяя этот порядок, расклеивая конверт и обрабатывая внутреннюю его сторону или же нанося реактивы между написанных строчек письма. Так же медленно он уселся за старинный "Ремингтон" и стал нудно выстукивать перевод того, что было написано: в новых отраслях промышленности ожидается нехватка ресурсов и энергии… доля бокситов в шахтах в горах Баконь… низкое содержание металла в железной руде, добытой в районе Мишкольца… планируемый урожай кукурузы и сахарной свеклы в каком-то еще районе… слухи о пятилетнем плане по коренной реконструкции государственной железнодорожной сети… подрывные действия против официальных представителей партии в Сопроне…

Я почти что слышал, как громко зевают аналитики с Третьего этажа, осиливая всю эту напыщенную нудятину. Я вспомнил, как Тоби хвастался, что Теодор интересуется только самыми высококачественными сведениями. Господи, если уж это было высококачественным, то что же тогда называется низкокачественным? Терпение, сказал я себе. Великих агентов следует ублажать.

На следующий день я получил ответ на мое письмо о паспорте. Тоби объяснял, что проблема заключалась в том, что за последние годы произошли большие изменения в Венгерском отделе Братьев. Сейчас прилагаются усилия, ответил он, как-то подозрительно используя страдательный залог, чтобы установить условия любых гарантий, данных американцами или нами. Я же тем временем должен избегать обсуждения этого вопроса с Теодором, добавил он, словно именно я, а не Профессор начинал об этом разговор.

Три недели спустя, когда я завтракал в "Космо" с Милтоном Вагнером, вопрос этот все еще висел в воздухе. Вагнер был опытным работником и делал то же самое, что и я, у американцев. Сейчас он завершал свою карьеру в Мюнхене и был начальником Отдела восточных операций. "Космо" был таким местом, которое любили посещать американцы, – там делали картошку с хрустящей корочкой и чесночным соусом и огромные фирменные бутерброды, скрепленные длиннющей пластмассовой шпилькой.

– Как у тебя дела с нашим выдающимся ученым другом? – спросил он, по-южному растягивая слова, после того как мы разобрались с другими делами.

– Превосходно, – ответил я.

– Некоторым из наших людей кажется, что Теодор вот уже неизвестно сколько лет занимается своим бизнесом, – лениво произнес Вагнер.

На этот раз я не сказал ничего.

– У мальчиков, которые вернулись домой, была ретроспектива его работы. Ничего хорошего, Нед. Совсем ничего хорошего. Всякая чепуха типа “Здравствуй, Венгрия”, которую он проталкивает на радио. Все это сказано до него. А один абзац просто слово в слово взят из статьи, опубликованной в 1948 году в газете “Дер Монат”. Тот, кто написал это, быстренько узнал свои собственные слова, как только услышал их в эфире, и просто обалдел, – он щедро налил себе кетчупа. – Может, выберем денек, чтобы вызвать его на подробный и откровенный разговор?

– Наверное, он просто попал в полосу невезения, – сказал я.

– Пятнадцать лет для такой полосы многовато, Нед.

– А он в курсе, что вы его проверяете?

– На радио “Свободная Европа”, Нед? У венгров? Через сплетни! Да ты шутишь.

Свое беспокойство я больше сдерживать не мог.

– Но почему никто не предупредил Лондон? Почему ты этого не сделал?

– Я так понимаю, Нед, что предупреждали. Я так понимаю, что это сообщение пропустили мимо ушей. Для ваших ребят настали плохие времена, мы же знаем.

К этому времени до меня со всей силой дошло то, что он сказал. Если Профессор хитрит со своим радио, почему бы ему не обмануть и еще кого-нибудь?

– Милт, можно мне задать тебе глупый вопрос?

– Я к твоим услугам, Нед.

– Пригодился ли вам Теодор хоть когда-нибудь! За все это время? В какой-нибудь секретной работе? Может, даже чрезвычайно секретной работе?

Вагнер задумался над этим, чтобы быть честным по отношению к Профессору.

– Да, в общем, нет, Нед. Одно время мы считали, что его можно использовать в качестве посредника с одной крупной рыбкой, но нам, как бы это сказать, не понравилось поведение старика.

– Это правда?

– Нед, разве я когда-нибудь тебе врал?

Хватит этой воображаемой работы, которую он делает для американцев, подумал я. Довольно стольких лет преданной службы, о которой никто толком и вспомнить не может.

Я сразу же связался с Тоби. Я потратил время, составляя разные тексты, поскольку злость моя не утихала. И только теперь я очень хорошо понял, почему американцы отказали Профессору в выдаче паспорта и почему он в свою очередь обратился к нам. Я понял, что происходило с ним в последнее время, в чем причина его апатии, его ярости: он ожидал, что его попрут. Я повторил информацию Вагнера и спросил, известно ли это в Главном управлении. Если нет, значит, Братья нарушили соглашение о взаимной информации. Если, с другой стороны, Братья предупредили нас, почему же тогда не предупредили меня?

На следующее утро я получил от Тоби скользкий ответ. Он был изложен царственным тоном. Я подозревал, что он попросил кого-то написать за него, поскольку сделано это было без венгерского акцента. Лондон, объяснил он, получил от Братьев “неспецифическое предупреждение” о том, что Профессору “в недалеком будущем” предстоит дисциплинарное расследование по вопросу его радиопередач. Главное управление – под чем, я подозревал, он

подразумевает себя – “приняло точку зрения”, что отношения Профессора с американскими служащими не имеют прямого отношения к Цирку. Главное управление также “согласилось с точкой зрения” – кто, как не Тоби, мог сделать это? – что Профессора, целиком отдающего себя оперативной работе, можно извинить за “некоторые промашки” в его работе-прикрытии. Если для Профессора будет найдена другая работа-прикрытие, то Главным управлением “в надлежащее время будут предприняты шаги”. Одно решение состояло в том, чтобы устроить Профессора в один из послушных журналов, с которым он уже время от времени сотрудничал. Но это было делом будущего. Профессор и раньше сталкивался со своими служащими, напомнил мне Тоби, и выходил сухим из воды. Это было правдой. Одна секретарша жаловалась на его приставания, а некоторые представители венгерской общины возражали против его антисемитских настроений.

А что касается остального, Тоби посоветовал мне успокоиться, ждать благоприятного случая и – как обычно, в духе Тоби – вести себя, словно ничего не случилось. Так обстояли дела спустя неделю и двенадцать часов после того, как в десять вечера позвонил Профессор, попросив зашифрованным кодом, который употреблялся лишь в крайнем случае, срочно приехать к нему и войти через сад; голос его при этом был чуть подавленным, но повелительным.

Моей первой мыслью было, что он кого-то убил, возможно, и свою жену. Но как же далек оказался я от истины! Профессор открыл заднюю дверь и быстро закрыл ее за мной. Огни в доме были притушены. Где-то во мраке тикали, как большая старая бомба, бидермееровские дедушкины часы. При входе в гостиную стояла Хелена, закрыв руками рот, чтобы не вскрикнуть. Прошло уже двадцать минут с того момента, как позвонил Теодор, но казалось, что крик вот-вот должен был у нее вырваться.

Перед угасающим камином стояли два кресла. Одно было пустым. Я решил, что там должен был сидеть Профессор. В другом, несколько затемненном с той стороны, где я находился, сидел приятный полноватый человек лет сорока с копной мягких черных волос и мигающими круглыми глазами, которые словно говорили: мы же друзья, правда? Кресло было с высоким подголовником, и он вжался в его угол, словно пассажир самолета перед посадкой. Его ботинки с закругленными носами не доходили до пола, и мне показалось, что эти ботинки сделаны в Восточной Европе: крапчатые, из непонятной кожи, с фасонными толстыми подметками. Ворсистый коричневый костюм походил на перешитую военную форму. Перед ним находился столик, на котором стоял горшок с розовато-лиловыми гиацинтами, а за гиацинтами были разложены предметы, в которых я узнал орудия бесшумного убийства: две гарроты, сделанные из деревянных коленец и куска рояльной струны; заточенная отвертка, превращенная в стилет; пятизарядный револьвер 38-го калибра с двумя видами пуль – шесть с мягким наконечником и шесть нарезных со спрессованным порошком, вдавленным в пазы.

– Это цианид, – объяснил Профессор в ответ на мое молчаливое недоумение. – Дьявольское изобретение. Пуле достаточно чуть задеть жертву, чтобы полностью ее уничтожить.

Я вдруг задумался, каким образом ядовитый порошок смог бы сохраниться в раскаленном стволе пистолета.

– Этого джентльмена зовут Ладислаш Калдор, – продолжал Профессор. – Он послан венгерской тайной полицией, чтобы нас уничтожить. Он друг. Прошу садиться, герр Нед.

Соблюдая формальности, Ладислаш Калдор встал и пожал мою руку, словно мы заключили выгодную сделку.

– Сэр, – радостно воскликнул он по-английски, – Латци. Извините, сэр. Не беспокойтесь. Все зовут меня Латци. Герр Доктор. Мой друг. Садитесь, пожалуйста. Да.

Я вспоминаю, что аромат гиацинтов прекрасно сочетался с его улыбкой. И только некоторое время спустя я стал понимать, что не испытываю чувства опасности. В присутствии

некоторых людей чувство опасности возникает всегда; другие же излучают ее, когда сердятся или когда им угрожают. Но Латци, насколько мне говорил мой инстинкт, выражал только огромное желание понравиться. Что ж, возможно, именно это и требуется, если вы профессиональный убийца.

* * *

Садиться я не стал. У меня в голове бились противоречивые чувства, но усталости среди них не было. Пустые кофейные чашки, думал я. Пустые тарелки с крошками торта. Кто же ест торт и пьет кофе, когда над его жизнью нависла угроза? Латци сел снова, улыбаясь, как волшебник. Профессор и его жена изучали мое лицо, но с разных сторон комнаты. Они поссорились, подумал я, ссора развела их в разные углы комнаты. Американский револьвер, подумал я. Но без запасного барабана, который обычно носят с собой серьезные игроки. Восточноевропейские ботинки, подметки которых оставляют прекрасный отпечаток на любом ковре или натертом полу. Пули с цианидом, в которых весь яд выгорит еще в стволе.

– Сколько он здесь? – спросил я Профессора.

Он пожал плечами. Я ненавидел эту его манеру.

– Час. Может, меньше.

– Больше часа, – возразила ему Хелена. Ее пренебрежительный взгляд был обращен ко мне. До нынешнего вечера она демонстративно игнорировала меня, проскальзывая мимо, как призрак, глядя в пол с улыбкой или хмурым видом, чтобы выразить свое осуждение. Неожиданно ей понадобилась моя поддержка.

– Он позвонил ровно без четверти девять. Я слушала радио. Программа изменилась.

Я взглянул на Латци.

– Вы говорите по-немецки?

– Jawohl [15], герр Доктор!

И снова обращаясь к Хелене:

– Какая программа?

– Всемирная служба Би-би-си, – сказала она.

Я подошел к радио и включил его. Какой-то преподаватель из Оксфорда неопределенного пола нес что-то пронзительным голосом о Китсе. Спасибо тебе, Би-би-си. И я его выключил.

– Он позвонил в дверь – кто ему открыл? – сказал я.

– Я, – сказал Профессор.

– Он, – ответила Хелена.

– Да-да, – сказал Латци.

– А потом?

– Он стоял на пороге в пальто, – сказал Профессор.

– В плаще, – поправила его Хелена.

– Он спросил, не я ли Профессор Теодор, я сказал, что да. Он представился и добавил: “Простите меня, Профессор, я пришел, чтобы убить вас гарротой или засадить в вас пулю с цианидом, но я не хочу этого делать, я ваш сторонник и приверженец. Я хочу вам сдаться и остаться на Западе”.

– Он говорил по-венгерски? – спросил я.

– Естественно.

– И вы пригласили его войти?

– Естественно.

Хелена возразила.

– Нет! Сначала Теодор позвал меня, – настояла она. До этого вечера я не слышал, чтобы она поправляла своего мужа. Теперь же она сделала это уже дважды за такое короткое время. – Он позвал меня и говорит: “Хелена, у нас гость”. Я говорю: “Хорошо”. Затем он провел Латци в дом. Я взяла у него плащ, повесила в холле, приготовила кофе. Вот как все произошло на самом деле.

– И торт, – сказал я. – Вы приготовили торт.

– Торт был уже готов.

– Вам было страшно? – спросил я, поскольку страха, как и чувства опасности, как раз и не хватало.

– Я была недовольна, я была шокирована, – ответила она. – Теперь я боюсь, да, я очень боюсь. Мы все боимся.

– А вы? – обратился я к Профессору.

Он снова пожал плечами, словно говоря: уж вам-то я бы излил душу в самую последнюю очередь.

– Почему бы вам не пройти со своей женой в кабинет? – сказал я.

Он было вознамерился спорить, но отказался от этой мысли. Два чужих друг другу человека, они вышли из комнаты рука об руку.

Я остался с Латци наедине. Я стоял, он сидел. Мюнхен может быть очень тихим городом. Даже в состоянии покоя Латци обворожительно мне улыбался. Его маленькие глазки все еще мигали, но прочесть по ним я ничего не мог. Он мне ободряюще кивнул, его улыбка стала еще шире. Он сказал: “Пожалуйста” – и поудобнее устроился в своем кресле. Я сделал жест, который понимает каждый среднеевропеец. Я вытянул руку ладонью вверх и потер большим пальцем кончик указательного. Все еще улыбаясь, он порылся во внутреннем кармане пиджака и вручил мне свои документы. Они были на имя Эгона Браубаха из Пассау, 1933 года рождения, художника по профессии. Никогда не видел никого менее похожего на баварского художника. Среди документов были западногерманский паспорт, водительское удостоверение и страховой полис. Мне показалось, что ни один из этих документов не был хоть сколько-нибудь убедительным. Как и его ботинки.

– Когда вы приехали в Германию?

– Сегодня днем, герр Доктор, сегодня днем, в пять часов.

– Откуда?

– Из Вены, извините. Из Вены, – повторил он, выпалив это на едином дыхании, словно отдавая мне в дар целый город, и крутанул тазом, очевидно, для того, чтобы сильнее подчеркнуть свое раболепство. – Я сел в первый утренний поезд на Мюнхен, герр Доктор.

– Во сколько?

– В восемь часов, сэр. Восьмичасовой поезд.

– Когда вы приехали в Австрию?

– Вчера, герр Доктор. Шел дождь, извините.

– Какие документы вы предъявили на австрийской границе?

– Мой венгерский паспорт. Ваше Превосходительство. В Вене мне выдали немецкие документы.

На его верхней губе выступили капли пота. По-немецки он говорил бегло, но с заметным балканским акцентом. Он сказал, что приехал поездом Будапешт – Вена. На дорогу хозяева дали ему холодную курицу да бутылку вина. А также превосходные соленые огурчики, Ваша Честь, и красный перец. Снова улыбочки. Приехав в Вену, он зарегистрировался в гостинице "Альтес Кайзер-рейх", около вокзала, где для него была забронирована комната. Простая комната, простая гостиница, Ваше Превосходительство, но я и человек простой. Именно в гостиницу поздно вечером к нему пришел джентльмен, венгр, которого он раньше не видел. "Но, подозреваю, он был дипломатом, герр Доктор. Он был таким же запоминающимся, как и вы". Этот господин дал ему деньги, документы, объяснил он, и набор, разложенный перед нами на столе.

– Где вы остановились в Мюнхене?

– В скромном пансионате на краю города, герр Доктор, – ответил он, улыбаясь с извинением. – Скорее в борделе. Да, это бордель. Одни мужчины, которые постоянно приходят и уходят. – Он сказал мне название этого пансионата, и у меня мелькнула мысль, что он собирается, кстати, порекомендовать мне и девочку.

– Это они приказали вам там остановиться?

– Из осторожности, герр Доктор. Для анонимности, извините.

– Там у вас остался багаж?

Он пожал плечами, как несчастный человек, совсем не так, как это делает Профессор.

– Зубная щетка, – сказал он. – Кое-какие вещички. Сумка, сэр. Все очень скромно.

Он сказал, что в Венгрии был профессиональным журналистом и занимался вопросами сельского хозяйства, но получал дополнительный доход, подрабатывая на тайную полицию, сначала в качестве информатора, а впоследствии – наемного убийцы. Он выполнил несколько поручений в самой Венгрии, но предпочел бы – пусть простит Его Превосходительство – не говорить об этом, пока не будет уверен в том, что на Западе его не станут за это преследовать. Профессор был его первым "заграничным" поручением, но мысль о том, чтобы его убить, оскорбляла его чувство приличия.

– Профессор, герр Доктор, человек широкомасштабный! С репутацией! Не какой-нибудь еврей или священник! И с какой стати я должен убивать такого человека? Господи боже мой, да я же приличный человек! У меня, видите ли, есть совесть!

– Расскажите, что вам было приказано сделать.

Все было несложно. Ему нужно было позвонить в дверь герра Профессора, сказали они, – он и позвонил. Было точно известно, что Профессор дома, поскольку по средам до девяти он давал частные уроки, сказали они. Профессор в самом деле был дома. Латци должен был назваться другом некоего Пали из Дебрецена. Он же взял на себя смелость таковым не представляться. Очутившись в доме, он должен был убить герра Профессора любым подходящим способом, но, по возможности, гарротой, поскольку это было надежно и бесшумно, хотя, как это ни прискорбно, существовала опасность обезглавливания. Нужно было убить и Хелену, сказали они, может, даже ее – сначала, в зависимости от того, кто откроет дверь, в общем, как получится. Именно на этот случай он и принес вторую гарроту. Нельзя быть уверенным, герр Доктор, пояснил он, что гарроту после ее использования можно высвободить. После этого он должен был позвонить в Бонн по определенному номеру, попросить Питера и сообщить, что "сегодня вечером Сюзи останется с друзьями". "Сюзи" – это кличка Профессора для данной операции, Ваше Превосходительство. Это означало, что операция прошла успешно, хотя в данных обстоятельствах, герр Доктор, надо признать, что большого успеха не было. Смешок.

– Звонили отсюда? – спросил я.

– Точно так, из этого дома. Питеру, извините. Они отчаянные люди, герр Доктор. Они угрожают моей семье. Естественно, у меня нет выбора. У меня дочь. Они дали мне строгие указания: “Из дома Профессора позвонить Питеру”.

Это тоже меня удивило. Поскольку для тайной полиции Венгрии Профессор являлся западным агентом – вот уже в течение пятнадцати лет, – можно было бы предположить, что хозяева заинтересуются его телефонными разговорами.

– А что вам надо было делать в случае провала? – спросил я.

– Если задание не может быть выполнено – скажем, у герра Профессора гости или по какой-то причине его не окажется дома, – мне надо позвонить из автомата и сказать, что Сюзи отправляется домой.

– Из какого-то определенного автомата?

– Любой автомат подходит, герр Доктор, в случае невыполнения задания. Потом Питер может дать дальнейшие указания, а может и не дать. Если нет, то я сразу же возвращаюсь в Будапешт. Со временем Питер может сказать: “Завтра попробуйте снова”. Или же: “Попытайтесь послезавтра”. В этом случае все в руках Питера.

– Какой номер телефона в Бонне?

Он назвал его.

– Выложите содержимое ваших карманов.

Носовой платок цвета хаки, несколько плохо отпечатанных моментальных семейных фотографий, включая одну с изображением молодой девушки, вероятно его дочери, три презерватива восточноевропейского производства, початая пачка русских сигарет, расшатанный перочинный нож с открывалкой явно восточного производства, огрызок простого карандаша, 960 западногерманских марок, немного мелочи. Обратный железнодорожный билет второго класса Вена – Мюнхен – Вена. Никогда в жизни не видел, чтобы в карманах было так бедно. Неужели в венгерской Службе не было экспедиторов? Контролеров? О чем, черт возьми, они думали?

– И ваш плащ, – сказал я и проследил взглядом, как он пошел за ним в холл. Плащ был новый, с иголочки. В карманах пусто. Австрийский плащ хорошего качества – наверное, за него недешево заплатили в западной валюте.

– Вы купили его в Вене?

– Jawohl, герр Доктор. Дождь лил как из ведра, а мне нечего было надеть.

– Когда?

– Извините?

– На какие деньги?

– Извините?

Я обнаружил, что он довольно быстро мог вывести меня из равновесия.

– Вы сели в первый утренний поезд, правильно? Он ушел из Вены до открытия магазинов, так? А деньги вы получили только поздно вечером, когда к вам приходил венгерский дипломат. Так когда же вы купили плащ и чем за него расплатились? Или вы его украли? Так, что ли?

Сначала он нахмурился, а потом снисходительно усмехнулся: я нарушил правила хорошего тона. Стало ясно, что он меня прощает. Он великодушно простер ко мне руки.

– Я купил его прошлым вечером, герр Доктор! Когда приехал на вокзал! На мою собственную валюту, которую, естественно, привез с собой из Венгрии на покупки! Я не лгун! Извините!

– Вы сохранили чек?

Он глубокомысленно покачал головой: меня, мол, на мякине не проведешь.

– Сохранять чеки, герр Доктор? Никому не советую. Сохранять чеки – значит напрашиваться на вопрос о том, откуда у вас взялись деньги. Чек – как шпион у вас в кармане, извините.

Слишком много извинений, подумал я, высвобождаясь из-под чар его великолепной улыбки. Слишком много ответов в одном абзаце. Все мои инстинкты были за то, чтобы никому и ничему не доверять в истории, которую мне рассказывали. Дело было даже не столько в небрежности плана убийства, поколебавшей мою доверчивость – неправдоподобные документы, содержимое карманов, ботинки, – и даже не в том, что задание в основе своей было невероятным. Я уже навидался на своем веку неумело подготовленных советских вспомогательных операций, чтобы подобное дилетантство считать нормой. Что беспокоило меня в этих людях – так это неправдоподобие их поведения в моем присутствии: появлялось ощущение, что одна история у них приготовлена для меня, а другая для них самих; что меня прислали сюда для того, чтобы я выполнил какую-то функцию, и воля коллектива требует, чтобы я заткнулся и играл свою роль.

И все-таки в то же самое время я попал в западню. У меня не было ни выбора, ни времени, чтобы не принять за чистую монету то, что мне выдавали. Я находился в положении врача, который, несмотря на свои подозрения в том, что пациент симулирует, все же назначает курс лечения болезни. По законам игры Латци был призом. Не каждый день венгерский убийца, каким бы некомпетентным он ни был, просится остаться на Западе. Кроме того, над этим человеком висела серьезная угроза, поскольку нельзя было себе представить, что настолько важное убийство не сопровождалось отдельным наблюдением.

Если есть сомнения, говорится в руководстве, действуй по инструкции. Ведется ли наблюдение за домом? Надо было исходить из того, что да, хотя за таким домом, как этот, было нелегко вести наблюдение, поэтому его-то для Теодора и выбрали пятнадцать лет назад. Дом стоял в конце заросшего глухого переулка и задней стороной выходил на реку. В сад можно было проникнуть по заброшенной тропинке. Но главный вход был виден любому прохожему, и скорее всего те, кому надо, уже заметили, что Латци вошел внутрь.

Я поднялся наверх и из окна, выходящего на лестницу, внимательно исследовал дорогу. Соседние дома были погружены во мрак. Я не увидел никаких случайных машин или прохожих. Моя собственная машина была припаркована в соседнем переулке прямо у реки. Я вернулся в гостиную. Телефон стоял на книжной полке. Я дал Латци трубку и смотрел, как он набирает боннский номер. Его девичьи руки были влажны. Он услужливо повернул трубку в мою сторону, а вместе с ней повернулся и сам. От него пахло старым одеялом и русским табаком. Номер соединился, и я услышал сердитый мужской голос, ответивший по-немецки. Для того, кто ждет известия об убийстве, подумал я, ты очень хорошо делаешь вид, что не имеешь к этому никакого отношения.

Сильный акцент, скорее всего венгерский:

– Але? Да? Кто это?

Я кивнул Латци, чтобы он говорил.

– Добрый вечер, сэр. Мне нужно поговорить с господином Питером, пожалуйста.

– О чем?

– Извините, господин Питер? Я по личному делу.

– Что вы хотите?

– Это Питер?

– Ну, зовут меня Питер!

– Это в отношении Сюзи, господин Питер, – объяснил Латци, подмигнув в мою сторону. – Сюзи сегодня ночью домой не придет, господин Питер. Боюсь, что она останется у друзей. У хороших друзей. О ней позаботятся. Спокойной ночи, господин Питер.

Он хотел было положить трубку, но я задержал его руку и услышал ворчание то ли презрительное, то ли непонимающее, прежде чем на том конце повесили трубку.

Латци, очень довольный собой, улыбнулся мне.

– Хорошо играет, герр Доктор. Я сказал бы, настоящий профессионал. Прекрасный актер, вы согласны?

– Вы узнали голос?

– Нет, герр Доктор. Увы, голос мне незнаком.

Я толкнул дверь в кабинет. Профессор сидел за своим столом, положив перед собой кулаки. Хелена на жестком диванчике. Я почувствовал необходимость познакомить Профессора с причиной моего скептицизма. Я зашел в комнату, закрыв за собой дверь.

– Этот человек, Латци, как вы его называете, – преступник, – сказал я. – Или он что-то вроде самоуверенного ловкача, или зарвавшийся убийца, приехавший по фальшивым документам в Германию, чтобы убить вас и вашу жену. В любом случае вы вправе передать его в руки западногерманской полиции – и дело с концом. Выбирайте. Или вы оставите решение за нами? Так как?

К моему удивлению, он впервые за весь вечер встревожился по-настоящему. Вероятно, он не ожидал, что ему бросят вызов. Возможно, до его сознания дошло, что смерть его близка. Так или иначе, у меня создалось впечатление, что он придавал моему вопросу больше важности, чем я сам. Хелена отвела от меня глаза и тоже стала смотреть на него. Осуждающе. Как женщина, ожидающая расплаты.

– Делайте все, что считаете нужным, – проговорил он сквозь сжатые губы.

– Тогда вы должны делать то, что я скажу. Оба.

– Мы в этом деле вместе. Мы будем – да, будем вместе. Мы и были – вместе – много лет. Слишком много.

Я взглянул на Хелену.

– Мой муж ответит за это, – сказала она.

У меня не было времени размышлять над тайнами этого зловещего заявления.

– Тогда, пожалуйста, сложите кое-какие вещи на ночь и будьте готовы через пять минут у двери в сад, – сказал я, возвращаясь к Латци в гостиную.

Думаю, он стоял у двери, поскольку, когда я вошел, быстро отпрянул назад, всплеснул руками, поднеся их к подбородку, и лучезарно улыбнулся мне, спрашивая, что мне gefallig – что мне угодно.

– Вы когда-нибудь видели Профессора до сегодняшнего вечера?

– Нет, сэр. Только на фотографиях. Им везде можно любоваться. Настоящий аристократ.

– А его жену?

– Ее я знаю, сэр. Естественно.

– Откуда?

– Она когда-то была актрисой, герр Доктор, одной из лучших в Будапеште.

– И вы видели ее на сцене?

Снова пауза.

– Нет, сэр.

– Тогда где же?

Он попытался разгадать мои мысли. У меня было впечатление, что он размышляет, а не сказала ли она мне что-нибудь, чтобы в соответствии с этим он мог подогнать свои ответы.

– На театральных афишах, Ваше Превосходительство. Когда она была молодой, афиши с ее знаменитым лицом можно было увидеть на каждом углу. Все молодые мужчины были в нее влюблены – и я не был исключением.

– Где еще?

Он понял, что я ничего не знаю. И я увидел, что он это понял.

– Так печально, герр Доктор, говорить о женской внешности. Мужчина и до восьмидесяти может оставаться впечатляющим. Женщина же… – Он вздохнул.

Я подождал, пока он сложит свое оружие, затем все забрал себе. Зарядил револьвер пулями с мягкими головками. Пока я это делал, мне пришла в голову мысль.

– Когда я вошел сюда, ствол был пуст, а пули лежали на столе.

– Правильно, Ваше Превосходительство.

– Когда вы вынули пули из ствола? – спросил я.

– Прежде чем войти в дом. Чтобы продемонстрировать свои мирные намерения. Естественно.

– Естественно.

Пока мы шли в холл, я засунул револьвер за пояс.

– Если вам взбредет в голову бежать, я застрелю вас, – объяснил я ему и получил удовольствие, увидев, как тревожно забегали его глазки. По-видимому, профессиональные убийцы с большой неохотой принимают свое собственное лекарство.

Я бросил ему плащ и оглядел комнату в поисках еще каких-нибудь его вещей. Больше ничего не было. Я призвал их к тишине и повел всех троих в сад и дальше по тропинке к моей машине. Знаменитая актриса, подумал я, а в деле об этом – ни слова. Профессора с Хеленой я посадил назад, а Латци вперед, рядом с собой. Так мы просидели минут пять, пока я ждал, не появится ли хоть малейший признак того, что за нами наблюдают. Ничего. Я доехал до главной дороги и снова остановился. Ничего. Была уже полночь, и среди звезд появился молодой месяц. Я покрутил по городу, все время глядя в зеркало, а потом поехал в юго-западном направлении по автобану к Штарнбергерзее, где у нас имелся конспиративный дом для того, чтобы выслушивать и опрашивать транзитных джо. Он располагался на самом берегу озера, и персонал его состоял из двух длинноволосых чудес света грозного вида, которые достались нам в наследство от Лондонского отдела топтунов. Звали их Джеффри и Арнольд. К тому времени, как мы дошли до дома, Арнольд уже стоял, набычившись, в дверях. Одну руку он держал в кармане халата. Другая угрожающе лежала на боку.

– Это я, балда, – тихо сказал я.

Пока Арнольд сидел с Латци в гостиной, Джеффри проводил Профессора и его жену в их спальню. Я спустился в сад, в лодочный сарай, где мог наконец-то поговорить с Тоби Эстергази по телефону, который наверняка не прослушивался. Тоби был на удивление спокоен. Такое впечатление, будто он ожидал моего звонка.

* * *

На следующее утро Тоби прилетел в Мюнхен из Лондона первым же рейсом; в пальто из бобрика и кожаной шляпе наподобие котелка он был похож скорее на преуспевающего импресарио, чем на шпиона в опасности.

– Господи, Недайк! – вскричал он, обнимая меня, как блудный отец. – Слушай, ты прекрасно выглядишь! Поздравляю! Чтобы щечки порозовели, нужно всего ничего – небольшое возбуждение. Как, между прочим, Мейбл? Для тебя брак – все равно что для цветка вода.

Я вел машину медленно и старался говорить по возможности бесстрастно, делясь с ним плодами моих исследований за ту долгую ночь. Мне хотелось, чтобы к тому времени, как мы доедем до домика на озере, Тоби знал все, что знал я.

Ни американцы, ни западные немцы ничего не подозревают о существовании Латци, сказал я. Так же как и Лондон, сделал я вывод, поговорив с Тоби.

– Латци – абсолютно нетронутый лист бумаги, Нед, – согласился Тоби, одобрительно вздыхая всякий раз, когда глядел на проплывающий мимо пейзаж.

Не обнаружено никаких следов ни его баварской клички, ни любой другой клички, которую, как уверяет Латци, он имел во время своих "заданий" в самой Венгрии, сказал я.

Тоби опустил стекло, чтобы насладиться благоуханием полей.

Западногерманский паспорт Латци был фальшивым, решительно продолжал я, одним из серии, недавно выпущенной второсортным фальшивомонетчиком в Вене и проданной в частные руки.

Тоби даже несколько возмутился.

– Господи, да кто же покупает это дерьмо? – воскликнул он, когда мы проезжали мимо пары верховых лошадей, пасшихся в загоне около конюшни. – В наше время надежный паспорт по дешевке не купить. А с таким дерьмом можно угодить на полгода в вонючую тюрьму. – И он грустно покачал головой, словно его предостережением никто вовремя не воспользовался.

Я попал в самую точку. Номер телефона в Бонне принадлежал венгерскому военному атташе, сказал я, имя которого, конечно же, было записано как Питер. Было установлено, что он офицер венгерской разведки. Я позволил себе сдержанную иронию.

– Для нас, Тоби, это что-то новенькое, а? Шпион, в качестве клички пользующийся своим настоящим именем. О чем еще беспокоиться? Тебя зовут Тоби, поэтому мы будем держать это в тайне и вместо этого станем называть тебя Тоби. Потрясающе.

Но Тоби слишком уж был настроен наслаждаться перепавшим ему днем в Баварии, чтобы его могло расстроить значение моих слов.

– Поверь мне, Недайк, эти армейские парни – круглые идиоты. Венгерская военная разведка – то же самое, что и венгерская военная музыка, понимаешь, что я хочу сказать? На самом деле они просто выдувают ее из своих задниц.

Я продолжил свой рассказ. Я сказал, что западногерманская безопасность постоянно прослушивает телефон венгерского атташе. Кассету с записью разговора Латци и Питера уже прислали ко мне в контору. Из чего я понял, что никаких открытий не было, разве только подтверждение того факта, что Питер оказался абсолютно не готовым к звонку. Прошлой ночью, сказал я, Питер никуда не звонил и никто не звонил ему, а также с крыши Венгерского посольства в Бонне не было засечено особого всплеска передачи дипломатических сообщений. Питер, однако, пожаловался в протокольный отдел западногерманского министерства иностранных дел на то, что его домашний телефон часто неправильно соединяет. Я предположил, что это не похоже на действия конспиратора. Тоби в этом был меньше уверен.

– Может, так, Нед, может, и не так, – сказал он, откинувшись назад на сиденье и покачав ладонью из стороны в сторону. – Человек считает, что его скомпрометировали? Может, он не настолько глуп и сначала подает официальную жалобу и заметает свои следы, почему бы нет?

Я выдал ему остальное. Я был настроен решительно. Описание мнимого дипломата в Вене, которое дал Латци, соответствовало описанию Лео Бакокса, секретаря по вопросам торговли,

о котором, как и о Питере, было известно, что он офицер венгерской разведки, сказал я. Наш Братец Вагнер заполучил фотографию, чтобы мы позже показали ее Латци.

Имя Бакокса вызвало на устах Тоби довольную улыбку.

– Они и Лео сюда втянули? Послушай, Лео такой тщеславный, что шпионит только за герцогинями. – Он засмеялся с веселым недоверием. – Чтобы Лео вручал гарроты вонючему убийце в каком-то вшивом отеле? Не вешай мне лапшу на уши, Нед. Серьезно.

– Не я тебе об этом говорю, – сказал я. – А Латци.

Я сказал, что послал наконец Джеффри в мюнхенский бордель, чтобы оплатить счет Латци и забрать его сумку. Единственным интересным предметом в его багаже была пачка порнографических открыток.

– Напряжение, Нед, – великодушно объяснил Тоби. – Убить кого-то незнакомого в чужой стране – для этого нужна своя маленькая интимная компания. Понимаешь, о чем я?

Тоби не сообщил мне ничего такого – ни интимного, ни чего бы то ни было другого. Я-то думал, что он просидит всю ночь на телефоне, хотя, может, так оно и было. Но не для того, чтобы помочь моим расследованиям.

– Может, устроим сегодня вечеринку, – предложил он. – Гарри Палфри из Юридического отдела приведет с собой пару ребят из министерства иностранных дел. Гарри – хороший мужик. Англичанин до мозга костей.

Я был сбит с толку.

– Из какого отдела министерства иностранных дел? – спросил я. – Кто? Почему Палфри?

Но, как сказал бы Тоби, вопросы всегда безопасны, пока на них не ответишь. Мы приехали к домику на озере, когда Арнольд жарил яичницу с ветчиной. Профессор с Латци сидели с одного края стола. Хелена, вегетарианка, сидела с другого края и ела шоколад с орехами, который достала из сумочки.

Арнольд – худощавый блондин, волосы сзади стянуты в узел.

– У них тут произошла небольшая стычка, – осуждающе шепнул он мне по секрету, пока Тоби сжимал Профессора в объятиях. – У Профессора с его мадам был настоящий рукопашный бой. Не знаю, кто его начал и в чем причина, – не спрашивал.

– А Латци не ввязывался?

– Он было собрался, Нед, но я сказал ему, чтобы он не рыпался. Не люблю, когда кто-то встревает в отношения между мужем и женой, да и сам никогда этого не делаю.

* * *

Сейчас кажется, что разговоры в тот день напоминали запутанный менуэт, начавшийся в нашей скромной кухоньке и закончившийся при дворе Самого Всемогущего, а точнее – в зале американского Генерального консульства, где проходила двусторонняя конференция и с портретов благосклонно улыбались, вдохновляя наши усилия, президент Никсон и вице-президент Агню.

А что касается Тоби, то он, как я скоро понял, далеко не бездельничал, а построил себе целую программу, которую поэтапно воплощал в жизнь с проворством шпрехшталмейстера. На кухне, пока Хелена жевала свой шоколад с орехами, он снова прослушал всю историю, рассказанную Латци и Профессором. Я никогда раньше не видел Тоби в его настоящем венгерском обличье и даже удивился такому перевоплощению. Одним предложением он

сбросил с себя противоестественный панцирь англосаксонской сдержанности и был снова среди своих. Глаза его загорелись. Он возгордился и выпятил грудь, словно гарцевал на параде.

– Нед, они говорят, что ты был просто потрясающ, – позвал он меня к столу в разгар всего этого. – Неприступная башня, говорят они, совершенно неприступная. Думаю, может, они выдвинут тебя на Нобелевскую премию!

– Скажи, пусть лучше дадут "Оскара", я согласен, – угрюмо сказал я и отправился прогуляться вниз к озеру, чтобы немного развеяться.

Когда я вернулся в дом, Тоби с Профессором о чем-то непринужденно беседовали, запершись в гостиной. Во всяком случае, казалось, что большое уважение Тоби по отношению к Профессору возросло еще больше. Латци помогал Арнольду мыть посуду, и оба они посмеивались. Латци скорее всего рассказывал какой-то похабный анекдот. Хелены нигде видно не было. Затем настала очередь Латци посидеть наедине с Тоби, а Профессор с женой беспокойно ходили по берегу озера, останавливаясь через каждые несколько шагов, о чем-то спорили, и наконец Профессор развернулся и пошел назад по направлению к дому.

Улучив момент, я выскользнул из дома и подошел к Хелене. Губы ее были поджаты, на лице болезненная бледность – то ли от страха, то ли от злости или усталости, понять я не мог. Она попыталась заговорить, но у нее перехватило горло, и пришлось подождать, прежде чем снова появился голос.

– Он лжец, – сказала она. – Все это ложь! Ложь, ложь! Он лгун!

– Кто?

– Они оба лгут. С самого рождения они лгут. Они и на смертном одре лгут.

– А в чем же правда? – сказал я.

– Правда – это ожидание.

– Ожидание чего?

– Я их предупреждала: "Если вы это сделаете, я скажу англичанам". Поэтому подождем. Если он сделает это, я вам все расскажу. Если же раскается, я его прощу. Я его жена.

Она направилась к дому, эта величественная женщина. Когда она вошла в дом, около него притормозил черный лимузин, и из него вышел Гарри Палфри, юрисконсульт Цирка, в сопровождении еще двух представителей правящих классов Англии. В том, что был повыше ростом, я узнал Алана Барнаби – знаменитость отдела министерства иностранных дел, который неправильно называют отделом информации и исследований и в коммунистической контрпропаганде считают самым низкопробным. Тоби одной рукой тепло поздоровался с ним, а другой подозвал меня. Мы вошли в дом и сели.

Сначала я молчал, хотя кипел от злости. Действующих лиц послали наверх. Говорил Тоби, остальные слушали его с тем особым почтением, которое люди такого рода приберегают для нищих или негров. Я даже почувствовал, что мне немного хочется защитить Тоби Эстергази, да поможет мне бог, его, который защищал всегда лишь себя самого!

– То, с чем мы здесь, Алан, имеем дело, – это, без преувеличения, высшего класса источник, который уже исчерпал себя, – объяснял Тоби. – Большой джо, но дни его кончились.

– Ты имеешь в виду Профессора, – помогая, сказал Барнаби.

– Они за ним охотятся. Они слишком хорошо знают ему цену. По некоторым намекам, которые дал мне Латци, ясно, что у венгров заведено толстенное досье на операции, которые проводил Профессор. В конце концов, я хочу сказать: зачем им пытаться убить человека, от которого нам нет пользы? То, что венгры попытались его убрать, – это, я бы сказал, свидетельствует о том, что объект нужно охранять, как охраняют свой дом.

– Мы не можем беспредельно отвечать за безопасность Профессора, – предостерег нас Палфри с улыбкой потерпевшего поражение игрока. – Ненадолго, естественно, мы можем

предоставить ему защиту. Но мы не можем позволить себе защищать его всю жизнь. Нам придется ему об этом сказать. Возможно, нам придется дать ему кое-что подписать – чистая формальность.

Второй министерский человек был круглым и лоснящимся, с цепочкой на жилете. У меня возникло детское желание дернуть за нее и посмотреть, завизжит ли он.

– Что ж, я думаю, что мы вообще слишком много говорим, – шелковистым голосом сказал он. – Если американцы готовы нас от них освободить – от Профессора и его мадам, – то нам незачем волноваться, так? Лучше сидеть тихо и держать порох сухим.

Палфри возразил.

– Все-таки, Норман, он должен подписать нам документ об освобождении. За последние несколько лет он достаточно стравливал нас с Братьями.

Вечно защищая себя, Тоби понимающе улыбнулся.

– Я бы сказал, Гарри, что все лучшие джо так делают. Рука руку моет, даже на уровне Теодора. Речь идет о том, что теперь, когда его больше нельзя использовать, мы ничего не теряем, кроме неприятностей. Правда, я в этом деле не специалист, – добавил он, обворожительно улыбаясь Барнаби.

– А этот парень, убийца? – спросил человек по имени Норман. – Он-то будет сотрудничать? Чертовски опасно сидеть здесь, как корова на заборе.

– Латци податливый, – сказал Тоби. – Он испуган, кроме того, он настоящий патриот. – Я не согласился бы с ним ни по одному из этих двух пунктов, но мне было так противно, что не хотелось перебивать. – Когда эти аппаратчики покидают свою систему, они просто впадают в шоковое состояние. Латци с этим справляется. Он сходит с ума по своей семье, но смирился. Если согласится Теодор, то согласится и Латци. Естественно, при наличии гарантий.

– Каких именно гарантий? – сказал начищенный министерский человек, да так резво, что даже Гарри Палфри не удалось встрять.

Но Тоби это не смутило.

– Естественно, самых обыкновенных. Латци и Теодор не хотят, чтобы, когда все это кончится, их выкинули в мусорную яму, я бы так сказал. И Хелена тоже. Американские паспорта, приличная сумма деньжонок в конце дороги, помощь и защита – короче, самое основное.

– Все это надувательство, – выпалил я. – Надоело.

* * *

Все улыбались мне. Они улыбались бы, что бы я ни сказал. Они были своего рода толпой. Они бы засмеялись, даже если бы я сказал, что я и на венгров работаю. Если бы я сказал, что перевоплотился в младшего брата Адольфа Гитлера, они бы тоже улыбались. Все, кроме Тоби, чье лицо стало безжизненным, как у человека, который знает, что безопаснее всего ему в данный момент испариться.

– Господи, да почему же, Нед, ты это говоришь? – спросил ужасно заинтересованный Барнаби.

– Латци не из обученных убийц, – сказал я. – Я не знаю, кто он, но убивать он не умеет. При нем был незаряженный пистолет. Ни один профессионал в здравом уме так не поступает. Он выдает себя за художника из Баварии, но на нем венгерская одежда и половина барахла в

его карманах – венгерское. Я стоял рядом, когда он звонил в Бонн. Прекрасно, имя атташе – Питер. В списке дипломатов это имя тоже Питер. Меньше всего Питер ожидал этого звонка, это точно. Латци его обдурил. Послушайте немецкую запись их разговора.

– А как же тогда, Нед, быть с парнем из Вены? – сказал Барнаби, все еще настроенный покровительствовать мне. – Парень, который дал ему денег и оружие? А? А?

– Они и не встречались. Мы показали Латци фотографию, и он был счастлив. "Это он", – были его слова. Уверен, он видел эту фотографию где-то еще. Спросите Хелену, она знает. Сейчас она молчит, но, если на нее надавить, уверен, она заговорит.

Тоби мгновенно вернулся к жизни.

– Надавить, Нед? На Хелену? Ты используешь давление, когда знаешь, что можешь нажать сильнее другого. Эта женщина сходит с ума по своему мужу. Она за него горой.

– Американцы надули Профессора, – сказал я. – Никакой торжественной встречи ему не будет. Он в отчаянии. Если не он придумал все это убийство, это сделал Латци. Все это задумано с одной целью: покончить со всеми неудачами и начать новую жизнь.

Они ждали, чтобы я продолжил, все ждали. Как будто заключительного удара. Наконец заговорил Тоби. Он вновь обрел утраченную форму.

– Недайк, а ты вообще-то давно не спал? – спросил он, снисходительно улыбаясь. – Ответь-ка нам, пожалуйста.

– Какое это имеет значение?

Тоби нарочито стал рассматривать свои часы.

– Мне кажется, Нед, ты не спал уже тридцать часов. И за это время принял несколько серьезных решений – и все неплохие, должен признать. Не думаю, что мы должны винить тебя за чуть повышенное возбуждение.

Будто я и не говорил вовсе, все головы опять повернулись в сторону Тоби.

– Что ж, я считаю, нам необходимо взглянуть на труппу, – говорил Барнаби, пока я шел к двери. – Тоби, можно их свистнуть всех вниз? Хотелось бы посмотреть, как они смотрятся в свете прожекторов.

– Мне кажется, Барнаби, что тут надо действовать сразу, не давая опомниться, – говорил Палфри, а я тем временем направился в сад, чтобы вновь обрести здравомыслие. – Куй железо, пока горячо. Согласен?

– Согласен, согласен, Гарри. На все сто.

* * *

Я отказался присутствовать на первом прослушивании. Я расположился, надувшись, на кухне и позволил Арнольду похлопотать надо мной, пока я делал вид, что слушаю какую-то историю о том, как его мать ушла от человека, с которым прожила двадцать лет, и стала сожительствовать с тем, в которого была влюблена еще в детстве. Я увидел, как Тоби поскакал вверх по лестнице за своими победителями, а потом нахмурился, когда через несколько минут все трое спускались: Тоби, Латци с пробором в черных волосах, Профессор в накинутом на плечи пиджаке и с головой пророка, наклоненной в созерцании чуть вперед, с развевающейся седой гривой волос, что ему было к лицу.

Потом в кухню вошла Хелена – слезы текли по ее щекам; Арнольд обнял ее и принес плед, ведь весеннее утро было свежо, а она дрожала. Затем Арнольд приготовил ей чай с ромашкой

и сел рядом, обнимая ее, пока не ворвался Тоби, чтобы сказать, что через два часа всех нас ждут в американском консульстве.

– Из Лондона прилетает Рассел Шеритон, из Бонна – Пит де Мэй. Они отнеслись к этому с большим энтузиазмом, Нед. С неподдельным энтузиазмом. Вашингтон уже бросает шапки в воздух, в самом деле. – Я не мог вспомнить, кто важнее – Пит де Мэй или Шеритон. Но оба достаточно важные. – Нед, этот Теодор просто восхитителен, – уверил он меня, когда мы остались одни.

– Да ну? В каком смысле?

– Ты знаешь, что ему сказали? "То, что вы делаете, Профессор, очень рискованно. Вы полагаете, что справитесь с этим?" Знаешь, что он ответил? "Господин посол, все мы рискуем, для того чтобы защитить цивилизованное общество". Он спокоен, с чувством собственного достоинства. Латци тоже. После всего этого тебе надо поспать, хорошо, Нед? Я позвоню Мейбл.

Мы отправились в двух машинах: Тоби с венграми, я с Палфри и министерством иностранных дел. Открывая мне дверь, Палфри дотронулся до моей руки и дал мне колкий совет:

– Думаю, отныне нам надо держаться вместе. Усталость – это одно. А разговоры о надувательстве – совсем другое. Да? Договорились?



Нас было человек двадцать. Председательствовал генеральный консул. Это был бледный человек, выходец со Среднего Запада, бывший адвокат, как и Палфри, который все время с волнением говорил о "последствиях". Милтон Вагнер сидел между Шеритоном и де Мэйем. Что бы они там себе ни думали, мне было совершенно ясно, что Шеритону и Вагнеру было приказано попридержать свой скептицизм. Вероятно, они тоже поняли, что существовали и похуже способы избавления от бесполезных агентов, чем передача их в Службу информации США, представленную квартетом обеспокоенных защитников, чьи имена я так и не узнал.

За Пуллах, естественно, тоже высказались. Хоть и не вовлеченные в это дело, они послали своего собственного наблюдателя. Таким образом, мы могли быть уверены, что разговоры о наших решениях пойдут в Потсдаме уже днем. Они также настояли, чтобы подробно изложить свои претензии к Вене. Создавалось впечатление, что между Пуллахом и австрийской полицией идет борьба из-за фальшивых паспортов, которые, как подозревалось, австрийцы продают венграм. Большую часть встречи принял на себя некий оберст фон кто-то, который на все лады стонал об австрийском лицемерии.

Три победителя, конечно же, не присутствовали на нашей дискуссии, а сидели в приемной. Когда всех обнесли бутербродами, тарелка была великодушно отослана им. И когда этих троих наконец позвали, несколько участников заседания разразились аплодисментами, что, вероятно, произошло в первый раз, но за этим должно было последовать множество таких же театральных выступлений под овации.

Но все представление испортила рыдающая Хелена. Профессор произнес несколько слов, и его запинающееся достоинство произвело именно то чудо, на которое оно и было рассчитано. Следом заговорил Латци, и холодок пронесся над комнатой, когда он объяснил, зачем принес две гарроты, которые вместе с остальными экспонатами были осторожно пущены по рукам сидящих за столом. Но когда вперед, опираясь на руку Профессора, выступила Хелена, у меня в горле застрял ком, и я знал, что каждый в этой комнате чувствовал то же самое.

– Я поддерживаю своего мужа, – это все, что смогла продекламировать великая актриса.

Этого было достаточно, чтобы все в комнате встали.

Был уже поздний вечер, когда мне наконец удалось поговорить с ней наедине. К тому времени мы были измотаны; даже неугомонный Латци был в полном изнеможении. Капитаны и короли отъехали, отъехал и Тоби. Я сидел с Арнольдом в гостиной домика у озера. Американский фургон с затененными стеклами и двумя морскими пехотинцами в гражданской одежде внутри ждал на стоянке, но наши звезды учили свою публику терпению. День прошел в подготовке заявлений для дневных газет и подписании расписок, которые, как оказалось, Палфри предусмотрительно привез в своем портфеле.

Она вошла нерешительно, словно боясь, что я ударю ее, но злость уже куда-то улетучилась.

– Мы получим наши паспорта, – сказала она, садясь. – Это новый мир.

Арнольд тактично выскользнул из комнаты, закрыв за собой дверь.

– Кто такой Латци? – сказал я.

– Друг Теодора.

– А еще кто?

– Актер. Плохой, ох какой плохой актер из Дебрецена.

– Он когда-нибудь работал на тайную полицию?

Она сделала пренебрежительный жест.

– У него есть связи. Когда Теодору понадобилось договориться с властями, Латци был посредником.

– То есть когда Теодору требовалось сообщить что-то о своих студентах?

– Да.

– А Латци передавал Теодору свою информацию, когда вы находились в Мюнхене?

– Сначала совсем немного. Но когда ничего не стало приходить из других источников, то больше. Потом еще больше. Латци готовил для Теодора материал. Теодор продавал его англичанам и американцам. Иначе у нас не было бы денег.

– Помогала ли Латци в этом тайная полиция?

– Это было его частным делом. Обстановка в Венгрии меняется. Уже стало неразумно связываться с властями.

Я открыл дверь и смотрел, как она выходит с поднятой головой.

Несколько недель спустя, вернувшись в Лондон, я познакомил Тоби с ее историей. Его это не удивило и не заставило раскаяться.

– Женщины, Нед, – это на самом деле класс преступников. Этот супчик лучше есть, не размешивая.

А еще несколько недель спустя представление Теодора – Латци шло с аншлагами. В этом был весь Тоби. Насколько он принимал в этом участие? Насколько он знал, когда это нужно сделать? Может, он сам придумал все это театральное действо, дабы наилучшим образом использовать своего подвергшегося опасности агента и сбыть его с рук? Я часто втайне подозревал, что пьеса, как минимум, писалась втроем, а Хелена через силу играла роль зрителя.

– Знаешь что, Недайк, – заявил Тоби, любовно обвив мое плечо рукой, – если не можешь поспеть одной жопой посидеть на двух свадьбах, в Цирке тебе делать нечего.

* * *

Вы помните человека, пишущего под псевдонимом полковника Уезерби? Специалиста по изменению внешнего вида, в совершенстве владеющего семью европейскими языками? Пламенного лидера борцов Сопротивления в Восточной Европе? Человека, "мотавшегося туда-сюда через Железный Занавес, словно он был легчайшей паутинкой"? Это был я, Нед. Слава богу, эту часть написал не я. Эту работу сделал нанятый Братьями продажный спортивный журналист из Балтимора. А моим было только вступление, портрет-описание великого человека, напечатанный под заголовком "Настоящий Профессор Теодор, Каким Я Его Знал", выдавленный из меня Тоби и Пятым этажом. Моим рабочим названием для книжки было "Профессиональные хитрости", но Пятый этаж заявил, что это могут не так понять. Вместо этого они меня повысили.

Но прежде я излил все свое возмущение на Джорджа Смайли, который только что оставил должность шефа и как раз удалялся почти в последний раз под сень университета. Я снова был в Лондоне на коротком отдыхе. Был вечер пятницы, и я разыскал его на Байуотер-стрит, когда он собирался отбыть на выходные. Он выслушал меня, слегка усмехнулся, потом усмехнулся сильнее. Затем нежно, с придыханием, пробормотал: "Ах, уж этот Тоби".

– Значит, они убивали, так, Нед? – возразил он, тщательно складывая твидовый костюм. – Венгры, я имею в виду. Даже по восточноевропейским стандартам это одна из самых отвратительных шаек, которые только существуют, а?

Да, допустил я, венгры убивали и мучали, сколько им было угодно. Но это ничего не изменило в том, что Латци был обманщиком, Теодор – сообщником Латци, а что касается Тоби, то…

Смайли прервал меня:

– Да ладно, Нед, просто ты немножко ханжа. Каждой церкви нужны свои святые. А антикоммунистическая церковь – не исключение. И уж если речь зашла о святых, то это тоже хорошенькая компания мошенников. Но никто не станет уверять, что от них нет никакого толка, коли уж у них такая работа. Думаешь, эта рубашка так сойдет или, может, еще раз прогладить?

Сидя в гостиной и потягивая виски, мы слушали шум толпы на Байуотер-стрит.

– А не являлся ли тебе, Нед, призрак Стефани на мюнхенских тротуарах? – нежно спросил Смайли, когда я уже начал подозревать, что он заснул.

Я уже давно перестал удивляться его способности влезать в мою шкуру.

– Иногда, – ответил я.

– Но не во плоти? Жаль.

– Как-то я звонил одной из ее тетушек, – сказал я. – По-глупому разругался с Мейбл и отправился ночевать в гостиницу. Было поздно. Полагаю, был немного пьян. – Я подумал, а не знает ли Смайли уже и об этом, но решил, что мне мерещится. – Или мне кажется, что это была тетя. Может, прислуга. Нет, тетя.

– Что она сказала?

– "Фрейлейн Стефани нет дома".

Долгое молчание, но на этот раз я не совершил той же ошибки и не подумал, что он заснул.

– Голос молодой? – задумчиво спросил он.

– Достаточно.

– Так может, это подходила Стефани.

– Может, так оно и было.

И снова мы вслушались в громкие голоса на улице. Смеялась девушка. Сердился мужчина. Кто-то посигналил и уехал. Звуки смолкли. Стефани – это моя Энн, думал я, возвращаясь назад через реку к Баттерси, где у меня была маленькая квартирка: вся разница лишь в том, что у меня так и недостало смелости позволить ей меня разочаровать.

Глава 7

Смайли прервал свой рассказ о каком-то латиноамериканском дипломате, одержимом страстью к моделям английских железных дорог определенного поколения, и о том, как Цирк завербовал его пожизненно за модель маневрового паровоза "Хорнби-00", украденную командой Монти Эрбака в музее игрушки. За взрывом смеха наступила задумчивая тишина, а неспокойный взгляд Смайли устремился куда-то вдаль, за пределы этой комнаты.

– И лишь случайно мы сталкиваемся с реальностью, в которую играем, – произнес он негромко. – А до тех пор мы только зрители. Наши джо живут вместо нас, а мы, ведущие их сотрудники, сидим в уюте и безопасности, укрытые за зеркальными стеклами, сквозь которые видно только наружу, и уговариваем себя, что видеть – это значит чувствовать. Но вот наступает момент прозрения – если он наступает вообще, – и тогда мы, так сказать, без прежнего высокомерия видим то, что заставляем других делать за себя.

Произнося эту тираду, он ни разу не взглянул на меня. Он даже и не намекнул, кого при этом имел в виду. Но и я, и он знали. Мы оба знали, что речь идет о полковнике Ежи.

* * *

Я увидел его, но ничего не сказал Мейбл. Быть может, потому, что это застало меня врасплох. Или же потому, что до сих пор дает себя знать старая привычка подавлять естественную реакцию на любую неожиданность. Мы смотрели девятичасовой выпуск вечерних новостей по телевизору, что для нас с Мейбл стало чем-то вроде вечерней молитвы – и не спрашивайте почему. Вдруг я увидел его. Полковника Ежи. И вместо того, чтобы вскочить на ноги и закричать: "Господи! Мейбл! Посмотри, вон тот, на заднем плане! Это же Ежи!" – что было бы здоровой реакцией нормального человека, – я продолжал смотреть на экран и потягивать виски с содовой. Затем, когда Мейбл ушла, я вставил чистую кассету в видеомагнитофон, чтобы записать повтор во время ночных новостей. С тех пор, а происшествию этому уже шесть недель, я прокручивал этот эпизод десятки раз, поскольку в нем всегда можно было отыскать еще какую-нибудь любопытную деталь.

Но поставим это событие в ту часть рассказа, где ему и надлежит быть, – в его конец. Лучше рассказать все в том порядке, как это происходило. Потому что Мюнхен – это не только профессор Теодор, а деятельность разведки после разоблачения Билла Хейдона не сводилась только к залечиванию ран.

Полковник Ежи был поляком; я до сих пор не могу понять, почему столько поляков испытывают к нам слабость. Ведь мы так часто предавали их страну, что на месте поляков я бы плевал вслед любому представителю Британии, независимо от того, пострадал ли я от нацистов или от русских, – в разное время мы оставляли бедных поляков на милость то тех, то других. И уж, конечно же, у меня было бы искушение подложить бомбу под так называемый "компетентный отдел" министерства иностранных дел Великобритании. Боже, ну и выражение! И даже сейчас поляки опять оказались в тисках между непредсказуемым Русским Медведем и

довольно предсказуемым Немецким Быком. Но, будьте уверены, что, если им понадобится помощь надежного друга, тот же самый "компетентный отдел" британского МИДа направит им свои слащавые сожаления и предложит более соблазнительную перспективу.

Тем не менее в моем послужном списке числится великое множество удачных операций в Польше и почти неприличное число поляков – мужчин и женщин, – которые с присущей им безумной отвагой рисковали своей жизнью и жизнью родных, занимаясь шпионажем в пользу "Англии".

Поэтому неудивительно, что после разоблачения Хейдона шпионская сеть в Польше понесла огромные потери. Из-за Хейдона длинный перечень английских предательств пополнился еще одним. По мере того как с неотвратимой неизбежностью один провал следовал за другим, похоронное настроение в нашем Мюнхенском центре становилось буквально осязаемым, а чувство стыда усугублялось нашей беспомощностью. Ни у кого не было ни малейшего сомнения в оценке того, что произошло. До Провала польская служба безопасности под умелым руководством начальника Оперативного отдела полковника Ежи скрывала предательство Хейдона и тем временем проникала в нашу тогдашнюю агентурную сеть, используя ее для распространения дезинформации. Когда же им удавалось перевербовать наших агентов, они искусно пользовались ими против нас.

Но После Провала полковник перестал деликатничать и в течение нескольких дней зверски разделался с теми из наших преданных агентов, которых до той поры щадил. "Расстрельный список Ежи", как мы его прозвали, удлинялся с каждым днем, и мы в отчаянии просто возненавидели человека, который ликвидировал наших обожаемых джо, порой даже не утруждая себя преданием их суду, а позволяя допрашивающим их следователям забавляться ими на допросах до конца.

Может показаться странным, что Мюнхен служил для нас трамплином в Польшу. Тем не менее в течение нескольких десятилетий операциями в Польше руководил Мюнхенский центр. Антенна, установленная на крыше пристройки к зданию консульства в зеленом пригороде, денно и нощно принимала сигналы наших польских агентов, порою всего лишь короткое "бип", втиснутое между словами открытого текста. В определенное время мы передавали в ответ слова утешения и новые приказы. Из Мюнхена шли в Польшу письма, напичканные тайнописью. А если нашим источникам удавалось выехать из Польши, мы летели им навстречу опять же из Мюнхена, чтобы получить отчет, угостить их как следует и позволить выплакаться в жилетку.

Именно из Мюнхена в случае особой необходимости сотрудники Центра выезжали в Польшу, как правило, в одиночку, под видом бизнесмена, направляющегося на торговую ярмарку или выставку. Затем где-нибудь за городом или в неприметном городском кафе эмиссар встречался со своим драгоценным джо, быстро завершал то, за чем приехал, и уезжал в полной уверенности, что вновь заполнил резервуар лампы керосином. Ибо, не побывав в шкуре джо, невозможно вообразить, на какое одиночество обрекает их это занятие. Вовремя поданная чашка плохонького кофе, выпитая в обществе опытного ведущего сотрудника, может месяцами поддерживать на должном уровне моральное состояние джо.

Так уж получилось, что однажды зимним днем, когда срок моего второго визита в Мюнхен перевалил за половину и когда наконец профессор Теодор и его свита отбыли в США, я оказался на борту самолета польской авиакомпании "ЛОТ", совершавшего рейс из Варшавы в Гданьск, и в кармане у меня был паспорт гражданина Голландии по имени Франц Йост из Неймегена, сорока лет от роду. В моем заявлении о выдаче визы говорилось, что западногерманским сельскохозяйственным консорциумом мне поручается проинспектировать состояние сельскохозяйственных построек из сборных конструкций. Дело в том, что я некогда учился на инженера, а поэтому имел возможность обменяться визитками с чиновниками из сельскохозяйственного ведомства.

Моя вторая миссия была посложнее. Я разыскивал джо по имени Оскар, воскресшего после того, как полгода назад он был записан в мертвецы. Ни с того ни с сего на старый условленный адрес пришло письмо Оскара, написанное тайнописью, в котором рассказывалось, чем он занимался и чем не занимался с тех пор, как начались аресты, и до сего дня. Он не струсил, а продолжал работать. Чтобы отвести от себя подозрения, он написал анонимный донос на ни в чем не повинного сотрудника Архивного отдела. Он подождал, и спустя несколько недель аппаратчик исчез. Приободрившись, он подождал еще. До него дошли слухи, что аппаратчик сознался. Это и не удивительно, если учесть нежные методы допроса полковника Ежи. Через несколько недель он снова почувствовал себя в безопасности. Сейчас он готов возобновить работу, если кто-нибудь скажет ему, что делать. В подтверждение он нанес микроточки на третьей, пятой и седьмой точках письма, как это предусмотрено правилами. При увеличении они составили шестнадцать страниц текста сверхсекретных приказов министерства обороны Польши департаменту полковника Ежи. Аналитики Цирка заявили, что материал "вероятно, настоящий и предположительно достоверный", что по их меркам было чрезвычайно эмоциональным выражением доверия.

Можете себе представить, в какое возбуждение письмо Оскара привело Мюнхенский центр, включая меня самого, хотя мне и не приходилось с ним встречаться.

– Оскар! – восклицали уверовавшие. – Старый черт! Живой и невредимый под кучей обломков! Положись на Оскара и забудь про все! Оскар, наш закаленный клерк, служащий в Гданьском штабе береговой обороны польского Адмиралтейства, один из лучших наших агентов!

Только самые твердолобые или же те, кому скоро выходить на пенсию, считали письмо приманкой. Сказать "нет" в подобных случаях легко. А чтобы сказать "да", нужна смелость. Тем не менее скептиков всегда слышат лучше, особенно после Хейдона, и поэтому на какое-то время наступила тишина, когда ни у кого не хватало духа принять то или иное решение. Чтобы выиграть время, мы написали Оскару, требуя новых доказательств. Он сердито ответил, что желает знать, доверяют ли ему, и потребовал встречи. "Встреча или ничего", – заявил он. Причем в Польше. Сейчас или никогда.

Руководство из Главного управления продолжало колебаться, и я попросил разрешения выехать к нему. Неверующие из Мюнхенского центра сочли меня сумасшедшим, а верующие утверждали, что только так и следует поступить. Ни та, ни другая стороны не убедили меня, но мне хотелось ясности. Может, мне это было нужно ради самоутверждения, так как именно в то время Мейбл несколько охладела ко мне, и я немного поутратил уверенность в себе. Главное управление приняло сторону скептиков. Я напомнил о своем военно-морском прошлом. Главное управление дрогнуло и ответило: "Пока нет, но быть может". Я напомнил, что владею двумя языками и успешно работаю под голландца (наш голландский коллега помог нам в этом в обмен на оказанные ему услуги в других областях). Главное управление взвесило все "за" и "против" и в конце концов сказало: "Да, но только на два дня". Наверное, они пришли к выводу, что после Хейдона я все равно не смог бы выдать слишком много секретов. Я быстро выправил необходимые документы и отбыл, пока они снова не передумали. Когда самолет приземлился в Гданьском аэропорту, температура воздуха была шесть градусов ниже нуля, на улицах лежал толстый слой снега; снег продолжал идти, и в этой тишине я почувствовал себя в большей безопасности, чем подсказывал здравый смысл. Но, поверьте, я поступал как положено. Я добивался ясности, но больше не был невинным младенцем.

Все гданьские гостиницы одинаково отвратительны, и моя не была исключением. В холле стоял запах продезинфицированного туалета; оформление номера напомнило по сложности процедуру усыновления ребенка, только занимало еще больше времени. В моем номере проживала какая-то дама, изъяснявшаяся на неизвестном мне языке. Пока мне подыскали другой и пока горничная убирала наиболее заметные следы пребывания предыдущего его обитателя, наступили сумерки, и мне было пора сообщить о своем приезде Оскару.

* * *

Каждый агент, или джо, обладает своим особым почерком. Летом, говорилось в досье, Оскар любит порыбачить, и моему предшественнику удалось несколько раз побеседовать с ним на берегу реки. Им даже посчастливилось поймать вместе несколько рыбешек, правда, оказавшихся несъедобными вследствие загрязнения воды. Но сейчас, в эту морозную зимнюю пору, рыбалкой могли заниматься только дети да мазохисты. Зимой привычки Оскара были иными: он любил поиграть в бильярд в клубе для мелких служащих где-то в районе доков. А в этом клубе был телефон. Чтобы назначить свидание, моему предшественнику, владевшему польским, стоило лишь позвонить и поболтать с Оскаром, изображая из себя старого друга по имени Лех, с которым он-де когда-то служил на флоте. В конце Оскару надлежало сказать: "Ну, ладно, приезжай завтра к сестре, пропустим рюмочку-другую", – что означало: "Приезжайте за мной на машине на угол такой-то улицы через час".

Но я по-польски не говорил. Кроме того, согласно правилам послехейдоновского периода, с агентами не следовало возобновлять связь, прибегая к старой процедуре.

В своем письме Оскар сообщил телефоны трех кафе и время, когда он постарается быть в каждом из них, в каждом из трех, потому что всегда существовала вероятность, что один телефон окажется не в порядке или будет занят. Если телефонный звонок не сработает, нам надлежало прибегнуть к помощи автомобиля, и Оскар указал, на какой трамвайной остановке я должен находиться и в какое время. Он сообщил мне регистрационный номер своего нового голубого "Трабанта".

И если покажется, что во всем этом мне отведена пассивная роль, то это из-за железного правила, согласно которому в подобных случаях королем является местный агент и он сам определяет самую безопасную для него процедуру встречи, которая бы вписывалась в привычный для него образ жизни. То, что предложил Оскар, не совпадало с тем, что предложил бы я. Кроме того, мне было непонятно, зачем нам надо было перед встречей говорить по телефону. Возможно, он это понимал. Может, он боялся западни. Возможно, прежде чем решиться на встречу, он хотел еще раз услышать, насколько убедительно звучит мой голос.

А может, было еще что-то такое, что мне предстояло узнать: скажем, или с ним окажется его друг, или он захочет немедленно покинуть страну, или он вообще передумал. Ибо существует второе правило профессии, столь же жесткое, как и первое: самое невероятное при любых обстоятельствах должно приниматься за норму. Хороший оперативник всегда готов к тому, что именно в тот момент, когда он начнет набирать номер, вся телефонная сеть Гданьска выйдет из строя. Он готов к тому, что или трамвайная остановка окажется посреди развороченной дороги, или что в то утро Оскар врезался на машине в фонарный столб, или температура у него подскочила до ста четырех градусов, или жена убедила его потребовать от нас миллион долларов золотом за возобновление работы с нами, или ее ожидаемый ребенок решил появиться на свет раньше срока. Все искусство, твердил я студентам, пока они не возненавидели меня за это, заключается в том, чтобы уповать на закон подлости и ни на что другое.

Памятуя об этом и бесполезно потратив час на обзванивание указанных трех кафе, в десять минут десятого вечера я пришел на условленную трамвайную остановку и стал ждать появления в начале улицы "Трабанта" Оскара. И хотя к этому времени снегопад прекратился,

на улице просматривалась лишь пара черных трамвайных рельсов, а редкие машины, проезжавшие мимо, напоминали измученных солдат, возвращавшихся с фронта.

Есть на свете старый солидный ганзейский порт Данциг, а есть Гданьск – польская промышленная трущоба. Трамвайная остановка была в Гданьске. Слева и справа от меня мрачные, плохо освещенные жилые дома из бетона стояли, нахохлившись, под задымленным оранжевым небом. Ни в начале, ни в конце улицы я не мог обнаружить ни малейшего признака человеческой любви или заботы о человеке. Ни кафе, ни кино, ни приятного освещения. Даже двое пьяниц, притулившихся в подъезде дома напротив, казалось, боялись разговаривать. Всплеск смеха, громкое выражение дружеских чувств или удовольствия были бы преступлением против убожества этой улицы-тюрьмы. Мимо прошел автомобиль, но он был не голубого цвета и не "Трабант". Его боковые стекла были залеплены снегом, и, когда он проехал, я не смог бы сказать, сколько в нем пассажиров. Он остановился. Не у кромки дороги, не на тротуаре или обочине, ибо все это было в сугробах снега. Он просто остановился на черных рельсах посреди дороги; сначала заглох двигатель, потом погас свет.

Влюбленные, подумал я. Если так, то ради любви они пренебрегали осторожностью, потому что дорога была с двусторонним движением. Появился второй автомобиль, шедший в том же направлении, что и первый. Он тоже припарковался, но не доезжая до трамвайной остановки. Еще влюбленные? Или же осторожный водитель, опасающийся, как бы его не занесло на стоящую впереди машину? Результат был один: по обе стороны от меня стояло по машине, а те два молчаливых пьяницы вышли из подъезда и казались вполне трезвыми. Затем я услышал позади себя мягкую поступь человека, как бы ступавшего в тапочках по снегу, который остановился очень близко от меня. И я знал, что не должен делать никаких резких движений, особенно расчетливых. Спасение бегством невозможно, так же как невозможно спастись, нанеся удар первым, потому что страх рисовал мне все или ничего. И если это – все, то ничего не поделаешь.

Слева от меня оказался человек, причем так близко, что мог меня коснуться. На нем были меховое пальто и кожаная шляпа, в руках он держал сложенный зонт, который мог оказаться свинцовой трубой, упрятанной в нейлоновый чехол. Прекрасно, он, как и я, ждет трамвая. Второй встал справа от меня. От него пахло лошадью. И это прекрасно: как мы с его компаньоном, он тоже ждет трамвая, даже если он прибыл сюда верхом на лошади. Затем кто-то обратился ко мне по-английски с густым польским акцентом, и голос звучал не слева и не справа от меня, а точно сзади, где до этого я слышал крадущиеся шаги.

– Боюсь, Оскар сегодня не придет, сэр. Уже полгода как его нет в живых.

Но он дал мне время подумать. Фактически целую вечность. Я не знаю никакого Оскара. Что еще за Оскар? Откуда? Я – голландец, слабо владеющий английским, и говорю с сильным акцентом, как все мои дядьки и тетки из Неймегена. Я сделал паузу, как бы проверяя на себе действие его слов, затем медленно, без любопытства повернулся.

– Вы меня спутали с кем-то, наверное, сэр, – возразил я неторопливо с поющей интонацией, усвоенной мною еще с детских лет. – Я есть Франц Йост из Голландии, и я не думаю, что жду кого-нибудь, кроме трамвая.

Вот тут-то те двое как настоящие профессионалы заломили мне руки, одновременно сбив меня с ног, и, пригибая к земле, потащили меня ко второй машине. И все же я ухитрился взглянуть на приземистого мужчину, который обратился ко мне, на его рыхлые серые щеки и впалые глаза ночного клерка. То был полковник Ежи собственной персоной, знаменитый герой, Защитник Польской Народной Республики, чье невыразительное лицо украшало первые страницы нескольких популярных польских газет именно в то время, когда он галантно арестовывал и пытал наших агентов.

* * *

Порой, представляя себе свою кончину, мы невольно связываем ее с тем, чем занимаемся. Размышляя о смерти, похоронный агент воображает свои похороны, богач страшится нужды, тюремщик – камеры, а развратник – импотенции. Говорят, что для актера нет страшнее картины, чем зрители, покидающие зал, в то время как он на сцене не может вспомнить текста своей роли. Что это, как не картина приближающейся смерти? Для государственного чиновника смерть наступает тогда, когда рушится защитная стена его привилегий и он, подобно простому смертному, оказывается на виду у внешнего мира и начинает оправдываться за свое вранье и распутство, как неверный супруг. Большинство моих коллег из разведки, говоря по чести, относятся к этой категории: больше всего они боятся, проснувшись однажды утром, прочитать свои настоящие фамилии, написанные черным по белому в газетах, услышать, как о них говорят по радио и телевидению, как подшучивают и посмеиваются над ними или, того хуже, выносят на суд общества, которому, им казалось, они служили. Публичное разбирательство для них гораздо страшнее, чем разоблачение противником или предание гласности перед всеми родственными службами земного шара. Это означало бы для них смерть.

А для меня самая страшная смерть, а потому – величайшее испытание, к которому я готовил себя с тех пор, как вошел в тайную дверь, наступало именно сейчас: подвергалось проверке на прочность мое сомнительное мужество, до предела напрягались мои нравственные и физические возможности, когда я сознавал, что в моих силах одним словом предотвратить смерть. Во мне шла смертельная борьба между духом и телом, а те, кто причинял мне боль, были лишь платными наемниками в этом происходившем внутри меня сражении.

Так что моей реакцией на первую нестерпимую вспышку боли была заученная фраза: “Привет, наконец-то вы явились. Меня зовут Йост, а вас?”

* * *

В общем, все было просто, без церемоний. Он не усадил меня за стол в лучших традициях экрана и не сказал: “Либо рассказывайте, либо вас изобьют. Вот ваше признание. Подпишите”. Он не приказал запереть меня на несколько дней в камере, чтобы я в конце концов решил, что признание ничем не хуже мужества. Меня просто вытащили из машины и поволокли в ворота какого-то, видимо, частного дома, а потом во двор, где единственными следами были следы наших ног. Они сбили меня с ног в глубокий снег, и все трое швыряли меня от одного к другому ударами то по лицу, то в пах, то по животу, потом снова по лицу, на сей раз – локтем или коленом. Я корчился от ударов, а они пинками стали гнать меня по скользкому булыжнику, будто одуревшую свинью, и, казалось, им невтерпеж загнать меня в дом, чтобы окончательно разделаться со мной.

Когда они оказались в доме, их действия стали более методичными, словно изящество старой пустой комнаты внушило им ощущение порядка. Они работали надо мной по очереди, как цивилизованные люди, причем двое держали меня, а третий бил; они сменялись вполне демократично, за исключением случая, когда в пятый или пятнадцатый раз это делал полковник Ежи: он с таким сожалением и такой силой ударил меня, что я на самом деле на

какое-то время умер, а когда очнулся, мы оказались с ним наедине. Он сидел, облокотившись, у раскладного стола, обхватив свое грустное лицо заскорузлыми ладонями, будто с перепоя. Он разочарованно выслушивал ответы на свои вопросы, которые задавал между ударами, то поднимая голову, чтобы с неодобрением взглянуть на мою изменившуюся внешность, то с болью покачивая головой и вздыхая, словно говоря, что судьба к нему несправедлива и он не знает, чем еще он мог бы облегчить мою жизнь. Меня осенило, что прошло больше времени, чем мне показалось, быть может, несколько часов.

Именно в этот момент сцена стала такой, какой я ее всегда воображал: мой мучитель удобно расположился за столом, размышляя обо мне с профессиональным участием, а я сидел, прикованный наручниками к раскаленной трубе по обе стороны черного, похожего на гармошку радиатора отопления, острые кромки которого впивались в мою спину, будто раскаленные зубья. Изо рта и носа, а возможно, и из уха у меня, по-видимому, шла кровь, и моя рубашка напоминала передник мясника. Кровь теперь высохла и больше не сочилась, что тоже позволило мне прикинуть, сколько прошло времени. Как быстро сворачивается кровь в просторном пустом доме в Гданьске, когда ты прикован к печи и смотришь в щенячье лицо полковника Ежи?

Мне было ужасно тяжко ненавидеть его, и от жжения в спине с каждой секундой становилось все тяжелее. Он был мой единственный спаситель. Теперь он не сводил с меня глаз. Даже когда он склонял голову, будто в беззвучной молитве, или вставал и закуривал вонючую польскую сигарету, или прогуливался для разминки по комнате, его пристальный взгляд не отрывался от меня, независимо от того, где в тот момент находился он сам. Он повернулся ко мне сутулой спиной, показав лысину среди густой шевелюры и морщинистый затылок. И все же его глаза, изучавшие и урезонивавшие меня, а порой, казалось, умолявшие облегчить его страдания, ни на секунду не отрывались от меня. И что-то во мне действительно стремилось помочь ему, и это стремление становилось тем сильнее, чем сильнее горела спина. Это было не просто горение, а чистая боль, боль неделимая и абсолютная, нараставшая по шкале, у которой не было верхнего предела. Так что я отдал бы почти все, чтобы ему было лучше, – кроме самого себя. Кроме той своей части, которая отделяла меня от него и была поэтому моим спасением.

– Как вас зовут? – спросил он меня на польско-английском.

– Йост, – ему пришлось наклониться надо мной, чтобы услышать. – Франц Йост.

– Из Мюнхена, – подсказал он, опираясь на мое плечо и приставив ухо к моему рту.

– Родился в Неймегене. Работаю на фермеров в Таунусе возле Франкфурта.

– Вы позабыли свой голландский акцент. – Он встряхнул меня, чтобы привести в чувство.

– Вы не различаете. Вы – поляк. Я хочу видеть голландского консула.

– То есть английского консула.

– Голландского, – мне кажется, я повторил слово “голландского” несколько раз и продолжал повторять его, пока он не облил меня холодной водой и не дал мне немного воды прополоскать рот. Я обнаружил, что у меня нет одного зуба. Нижняя челюсть, впереди слева. Может быть – двух. Трудно сказать.

– Вы верите в бога? – спросил он меня.

Когда он склонялся надо мной, его щеки отвисали, как у младенца, а губы складывались, как для поцелуя, и тогда он напоминал опешившего херувима.

– Сейчас – нет, – сказал я.

– Почему?

– Вызовите голландского консула. Вы не того взяли.

Я понял, что он недоволен таким ответом. Он не привык выслушивать приказы или возражения. Он провел по губам тыльной стороной ладони – этот жест он иногда повторял

перед тем, как ударить меня, и я приготовился к удару. Он похлопал по своим карманам, как мне показалось, в поисках какого-то предмета.

– Нет, – заметил он со вздохом. – Вы ошибаетесь. Я взял нужного человека.

Он встал передо мной на колени, и я подумал, что он собирается убить меня, потому что заметил, что, когда он в кровожадном настроении, его лицо приобретает самый несчастный вид. Вместо этого он стал расстегивать наручники. Сделав это, он продел сжатые в кулаки руки мне под мышки и перетащил меня – проводил, едва не подумал я, – в просторную ванную комнату со старой, на ножках, ванной, наполненной теплой водой.

– Раздевайтесь, – сказал он, наблюдая с отрешенным видом, как я стаскивал с себя остатки одежды, слишком изможденный, чтобы думать, как он поступит со мной, когда я окажусь в воде: утопит, сварит, заморозит или убьет, бросив в воду электрический провод.

У него был мой чемодан из гостиницы. Пока я лежал в ванне, он вынул из него чистое белье и бросил его на стул.

– Завтрашним рейсом вы вылетите во Франкфурт через Варшаву. Налицо ошибка, – сказал он. – Мы приносим извинения, мы отменим ваши деловые встречи и скажем, что вы стали жертвой наезда.

– Мне недостаточно одного извинения, – сказал я.

От ванны мне лучше не стало. Я опасался, что если еще немного полежу неподвижно, то снова умру. Я с трудом принял сидячее положение. Ежи подал мне руку. Ухватившись за нее, я встал на ноги, рискованно качаясь из стороны в сторону. Ежи помог мне вылезти из ванны, протянул полотенце и мрачно наблюдал, как я вытирался и натягивал на себя чистую одежду.

Он вывел меня из дома, провел через двор, держа в одной руке мой чемодан, а другой поддерживая меня, так как ванна, ослабив боль, ослабила также и меня. Я огляделся вокруг, но его подручных не обнаружил.

– От холодного воздуха вам будет лучше, – сказал он с уверенностью специалиста.

Он повел меня к машине, не похожей ни на одну из тех, которые участвовали в моем аресте. На заднем сиденье лежало игрушечное рулевое колесо. Мы ехали по пустынным улицам. Временами я засыпал. Мы подъехали к металлическим воротам, охраняемым милицией.

– Не смотрите на них, – приказал он и протянул им свои документы, а я снова задремал.

Мы вышли из машины и оказались на краю покрытого травой обрыва. Ветер с моря холодил нам лица. Мое было размером с два футбольных мяча, а рот сместился на левую щеку. Один глаз закрылся. Ночь была безлунная, а из солоноватого тумана доносился рокот моря. Единственным источником света были городские огни позади нас. Время от времени мимо нас проносились фосфоресцирующие искры, а в темноте возникали и уносились прочь пятна белесой пены. Так вот где мне предстоит умереть, подумалось мне; сначала он избивает меня, потом устраивает теплую ванну, а теперь пристрелит и сбросит труп с обрыва. Но его руки спокойно висели по бокам, и пистолета в них не было, а глаза, насколько я мог их разглядеть, были устремлены в беззвездную ночь, а не на меня. Значит, кто-то другой должен пристрелить меня, может, он уже ждет в темноте. Будь у меня силы, я бы мог убить Ежи, напав первым. Но у меня их не было, да и не испытывал я такой необходимости. Я думал о Мейбл, но без чувства потери или выигрыша. Я подумал, как она будет жить на пенсию и с кем. "Фрейлейн Стефани нет дома", – вспомнил я… "Так, может, это подходила сама Стефани?" – предположил Смайли… Как много безответных молитв, думал я. Но ведь как много их и не произносится. Мысли мои плыли.

Наконец Ежи заговорил, и голос его был не менее унылым, чем прежде:

– Я привез вас сюда, потому что нет на свете микрофона, который мог бы нас здесь подслушать. Я хочу работать на вашу страну. Мне нужен хороший профессионал в качестве посредника. Я остановил свой выбор на вас.

Я снова потерял чувство места и времени. Но, быть может, и он тоже, потому что он повернулся спиной к морю, придерживая от ветра свою кожаную шляпу, и стал мрачно изучать прибрежные огни, беспричинно хмурясь и время от времени резким движением своих больших кулаков стирая со щек навернувшуюся от ветра слезу.

– Кому нужно шпионить на Голландию? – спросил я.

– Ладно, пусть это будет Голландия, – ответил он устало, смирившись с педантом. – Поэтому мне нужен хороший профессионал-голландец, который умеет держать язык за зубами. Зная, каких идиотов вы, голландцы, подсылали к нам в прошлом, я, естественно, стал разборчив. Однако вы выдержали испытание. Поздравляю. Я выбираю вас.

Я решил промолчать. Вероятно, я не поверил ему.

– В тайнике вашего чемодана находится пачка секретных польских документов, – продолжал он осуждающим голосом. – В Гданьском аэропорту у вас, естественно, не будет никаких проблем с таможней. Я дал им команду не проверять ваш багаж. Им известно только, что вы теперь мой агент. Во Франкфурте вы у себя дома. Я буду работать на вас и никого больше. Наша следующая встреча состоится в Берлине 5 мая. Я приму участие в майских праздниках по поводу славных побед пролетариата.

Он пытался закурить сигарету, но ветер гасил спички. Тогда он снял шляпу и прикурил в ней сигарету, погрузив в нее свое пухлое лицо, словно пил воду из ручья.

– Ваши люди захотят знать мои мотивы, – продолжал он после сильной затяжки. – Скажите им… – неожиданно запнувшись, он втянул голову в плечи и стал вглядываться в меня, будто умолял дать совет, как вести себя с идиотами. – Скажите им, мне стало скучно. Скажите, мне обрыдла эта работа. Скажите им, что партия – это шайка мошенников. Они это знают, но все равно скажите. Я католик. Я еврей. Я татарин. Черт побери, скажите им то, что они хотят услышать.

– Они могут поинтересоваться, почему вы решили перейти к голландцам, – сказал я. – А не к американцам, французам или кому еще.

Он задумался, попыхивая в темноте сигаретой.

– У вас, голландцев, были неплохие агенты, – произнес он задумчиво. – Некоторых я довольно хорошо знал. Они недурно работали, пока не появился этот негодяй Хейдон. – Тут ему в голову пришла идея. – Скажите, что мой отец – летчик, участвовал в битве за Англию, – предложил он. – Его сбили над Кентом. Это должно им понравиться. Вы знаете Кент?

– Откуда голландцу знать Кент?

Если бы я дал слабину, я мог бы ему сказать, что до нашего “дружеского” развода мы с Мейбл купили дом в Танбридж-Уэлсе. Но, к счастью, я этого не сделал, потому что, когда наше Главное управление занялось проверкой его версии, выяснилось, что самым крупным летательным аппаратом, которым когда-либо управлял отец Ежи, был воздушный змей. А когда несколько лет спустя я задал этот вопрос Ежи – уже после того, как его преданность заносчивым англичанам была доказана и не вызывала сомнений, – он лишь рассмеялся, заметив, что его отец был старый дурак, интересовавшийся лишь водкой и картофелем.

* * *

Так почему же?

В течение пяти лет Ежи был моим тайным университетом по шпионажу, но он по-прежнему с полным презрением относился к вопросу о мотивации, особенно своей. Во-первых, мы, идиоты, делаем то, что нам нравится, говаривал он, а потом ищем оправдание сделанному. Он всех считал идиотами, а шпионы, говорил он мне, самые большие идиоты из всех.

Вначале я подозревал, что он шпионит из мести, и выводил его на его начальство. Он ненавидел их всех, но больше всех – самого себя.

Тогда я подумал, что он шпионит по идеологическим мотивам и что своим цинизмом лишь прикрывает какие-то привязанности, обнаруженные им в зрелом возрасте. Но когда я попытался хитростью прорваться сквозь его цинизм: "Твоя семья, Ежи, твоя мать, Ежи. Признайся, тебе приятно быть дедом..." – то лишь обнаружил еще больший цинизм. Он не питал никаких чувств ни к кому из них, говорил он, причем так холодно, что не оставалось сомнений, что, как он и утверждал, ненавидит весь людской род и что его жестокость и, возможно, даже предательство являются просто выражением этой ненависти.

Что же касается Запада, то им руководят такие же идиоты, что и везде, так какая же разница? А когда я пытался разубедить его в этом, он начинал защищать свое кредо с рвением настоящего фанатика, и мне приходилось сдерживаться, чтобы по-настоящему его не разозлить.

Так ради чего же? Зачем рисковать шеей, своей жизнью, своей семьей, которую он ненавидел, ради мира, который презирал?

Церковь? И этот вопрос я задал ему, а он, как я понял теперь, не без основания в ответ возмутился. Христос – жертва маниакальной депрессии, заявил он. Он-де жаждал совершить самоубийство на людях и спровоцировал власти, пока те не оказали ему такую любезность. "Эти святоши все на один лад, – сказал он с презрением. – Я их пытал и знаю".

Как и большинство циников, он был пуританином, и этот парадокс проявлялся в нем по-разному. Когда мы предложили ему деньги – как обычно, открыть на его имя счет в швейцарском банке, – он пришел в ярость и заявил, что он не какой-то там "дешевка-стукач". Однажды по рекомендации Главного управления я улучил момент и стал заверять его, что, если дела пойдут плохо, мы сделаем все, чтобы вывезти его под чужим именем на Запад. Его презрению не было конца: "Я – глупый поляк, но лучше быть расстрелянным взводом своих кретинов, чем помереть предателем в вашем капиталистическом свинарнике".

Что же касается обычных жизненных благ, мы не могли предложить ничего, чего бы он не имел. По его словам, дома его ждала ворчливая жена, так что после работы его туда особенно не тянуло. Его молодая любовница просто глупа, поэтому, проведя с ней час, ее болтовне он предпочитал партию в бильярд.

Так ради чего же, спрашивал я себя, исчерпав стандартный перечень мотивов, составленный Службой.

Ну, а тем временем Ежи продолжал наполнять наши сейфы. Он выворачивал наизнанку свою Службу так же тщательно, как Хейдон поступил с нашей. Когда он получал приказы из Московского центра, мы узнавали о них раньше, чем его подчиненные. Он фотографировал все, что попадало ему в руки, и рисковал там, где, по-моему, рисковать не следовало. Он был настолько бесстрашен, что порой мне казалось, что, подобно Христу, которого так решительно отрицал, он искал смерти на людях. И лишь то, с какой неизменной безупречностью он делал свое тайное дело, отводило от него все подозрения. Но в его умении балансировать была и теневая сторона: не дай бог настоящему или воображаемому западному агенту попасть в руки Ежи, добивающегося добровольного признания!

Только раз за все пять лет, что я руководил им, он, кажется, позволил себе проговориться. Он тогда смертельно устал. Он принимал участие в совещании руководителей разведок стран Варшавского договора в Бухаресте, в то время как у себя на родине ему пришлось отбиваться

от обвинений в жесткости и коррупции его Службы. Мы встретились в Западном Берлине в пансионе на Курфюрстендамм, где принимали только приличную публику. У него был вид действительно уставшего палача. Он сидел на моей кровати, курил и отвечал на мои вопросы по поводу принесенных материалов. У него были красные глаза. Когда мы закончили, он попросил виски, потом еще.

– Жизнь без опасности – не жизнь, – сказал он, бросая еще три кассеты пленки на покрывало. – Безопасна смерть. – Он вынул несвежий коричневый носовой платок и тщательно вытер им лицо. – Не хочешь опасности – сиди дома и присматривай за младенцем.

Я предпочитал не верить, что он имеет в виду именно опасность. Я решил, что речь идет о чувстве опасности – и его страхе, – что без этого чувства он перестанет существовать и что, возможно, именно по этой причине он так упорно насаждал это чувство в других. В тот момент мне показалось, что я понял, почему он сидит со мной в этом номере, нарушая все существующие правила поведения агента. Он поддерживал в себе живым дух как раз в то время, когда его жизни, казалось, наступал конец.

В тот вечер я ужинал со Стефани в армянском ресторане, что в десяти минутах ходьбы от пансиона, в котором я встречался с Ежи. Мне удалось заполучить номер ее телефона у ее мюнхенской сестры. Она по-прежнему была стройна, красива и упорно старалась доказать мне, что счастлива. "О, жизнь прекрасна, Нед", – заявила она. Она живет с этим ужасно знаменитым ученым; он не первой молодости, но ведь и мы не дети; он совершенно очарователен и умен. Стефани назвала его имя, которое ничего мне не говорило. Она сказала, что беременна от него. Внешне это было незаметно.

– А вы, Нед? Как у вас сложились дела? – спросила она, будто мы – два генерала, обменивающиеся сведениями о двух успешных, но разных кампаниях.

Я одарил ее самой лучезарной из своих самонадеянных улыбок, той, что снискала мне доверие моих джо и коллег за годы, прошедшие со времени нашей прошлой встречи.

– О, похоже, все получилось довольно хорошо, да, да, спасибо, – сказал я, как бы проявляя английскую сдержанность. – В конце концов, такого не бывает, чтобы в одном человеке было все, что тебе нужно, верно ведь? Мы довольно хорошо ладим, живем, так сказать, параллельно.

– И вы все еще занимаетесь этим делом? Как Бен?

– Да.

Мы оба в первый раз упомянули его имя. Он живет в Ирландии, сообщила она. Его кузен приобрел небогатое поместье в Каунти-Корк. В отсутствие кузена Бен присматривал за ним, укреплял берег речки, занимался фермой и так далее.

Я спросил, виделась ли она с ним.

– Нет, – сказала она. – Он не хочет.

Я вызвался отвезти ее домой, но она предпочла такси. В ожидании такси мы вышли на улицу, и время тянулось удивительно долго. Когда я захлопнул за ней дверцу машины, ее голова поникла, будто она искала что-то внизу. Я махал ей рукой, пока машина не скрылась из виду, но она не махнула мне в ответ.

Программа вечерних новостей показывала митинг Солидарности в Гданьске, на котором какой-то польский кардинал призывал огромную толпу к сдержанности. Потеряв интерес, Мейбл развернула на коленях "Дейли телеграф" и снова занялась кроссвордом. В начале выступления кардинала толпа вела себя шумно. Затем – видимо, как следствие набожности поляков – шум утих. Закончив речь, кардинал подошел к своей пастве, раздавая благословение. И, когда к нему стали подводить одну важную персону за другой, я заметил Ежи, который прохаживался туда-сюда позади всех, будто хулиганистый мальчишка, которого не пустили на праздник. С тех пор как он вышел в отставку, он здорово похудел, и я подумал,

что новый порядок в Польше не пошел ему впрок. Пиджак сидел на нем, будто с чужого плеча, а его некогда устрашающие кулаки едва виднелись из-под рукавов.

Вдруг кардинал, как и я, заметил его.

Кардинал замер, словно не веря своим глазам, затем как-то покорно подобрался и будто вытянул руки по швам и расправил плечи, как по стойке смирно. Тут он снова поднимает руки и что-то приказывает сопровождающему его молодому священнику, который, кажется, ему возражает. Кардинал повторяет приказ, священник раздвигает толпу, и двое мужчин – офицер тайной полиции и кардинал – оказываются друг перед другом. Ежи зажмуривается, будто от внезапной боли. Кардинал наклоняется к нему и что-то говорит на ухо. Ежи неуклюже опускается на колено и принимает благословение кардинала.

Сколько бы раз я ни прокручивал в уме эту сцену, я вижу, как глаза Ежи закрываются, будто от боли. В чем он кается? В жестокости? В своей преданности загубленному делу? Или в том, что предал его? Или же то, что он закрыл глаза, было лишь инстинктивной реакцией палача, получающего прощение жертвы?

* * *

Я хожу на рыбалку. Время от времени погружаюсь в воспоминания. Моя привязанность к английскому ландшафту стала еще сильнее, если это только возможно. Я вспоминаю Стефани, Беллу и других женщин, у которых пользовался успехом. Я обращаюсь к нашему члену парламента по поводу загрязнения реки. Он консерватор, так что же, будь он неладен, он консервирует? Я стал членом одной из солидных групп защиты природы и собираю подписи под петициями. На петиции никто не реагирует. Я не хочу играть в гольф и никогда не буду. Но сопровождаю Мейбл по средам, при условии, что она играет одна. Я поощряю ее. Нашей собаке это нравится. Оказавшись на пенсии, не надо чувствовать себя не у дел или размышлять о том, как переделать мир.

Глава 8

Мои студенты решили поиздеваться над Смайли, как время от времени они поступали и со мной. Бывало, работа идет гладко, сдвоенные занятия по естественному прикрытию, скажем, во второй половине дня, как вдруг один из них начинает донимать меня, обычно высказывая какие-то анархистские мысли, которые не придут в голову ни одному здравомыслящему человеку. Но тут присоединяется еще один, а затем и все остальные, и если мне на выручку не придет чувство юмора – а я ведь тоже человек, – то эта забава продолжается до самого звонка. На следующий день никто об этом не вспоминает: овладевший ими маленький демон удовлетворен, и теперь они готовы продолжить занятия. Так, пожалуйста, на чем мы остановились? Вначале такие случаи не давали мне покоя, я подозревал заговор, искал зачинщиков. Но впоследствии понял, что это – стихийное выражение сопротивления неестественным ограничениям, которым эти ребята сознательно подвергли себя.

Но когда они начали проделывать это со Смайли, нашим почетным гостем, и даже подвергли сомнению саму цель всей его жизни, моему терпению пришел конец. На сей раз заводилой был не Мэггс, а его подружка, скромница Клэр, весь вечер с обожанием смотревшая на Смайли со своего места напротив.

– Нет, нет, Нед, – запротестовал Смайли, когда я сердито вскочил на ноги, – Клэр права. В девяти случаях из десяти хороший журналист способен рассказать столько же, сколько шпион. Нередко они пользуются одними источниками. Так не лучше ли субсидировать газеты,

а не шпионов? На этот вопрос в наши меняющиеся времена должен быть найден ответ. Почему бы и нет?

Я неохотно опустился на свое место, а Клэр, тесно прижимаясь к Мэггсу, не сводила ангельского взгляда со своей жертвы, в то время как ее коллеги прятали свои ухмылки.

Смайли решил ответить на ее издевку серьезно, тогда как я стал бы искать спасения в юморе.

– Совершенно справедливо, – согласился он, – многое из того, что мы делаем, не приносит пользы или дублируется открытыми источниками. Беда в том, что шпионы должны просвещать не публику, а правительства.

Я почувствовал, как его чары снова стали постепенно овладевать ими. Они придвинули к нему свои стулья, образовав неровное полукружие. За исключением тех, кто расположился на полу в живописных позах.

– Правительства же, как, впрочем, и все, верят тому, за что платят, и не доверяют тому, за что – нет, – продолжал он. Обойдя, таким образом, провокационный вопрос Клэр, он перешел к более серьезной теме. – Шпионство – вечное занятие, – заявил он просто. – Если бы даже правительства могли обойтись без него, они бы этого не сделали. Они обожают шпионить. Если даже наступит такой день, когда в мире не останется врагов, будьте уверены, правительства их придумают. Кроме того, кто сказал, что мы шпионим только за врагами? История учит нас, что сегодняшние союзники завтра окажутся соперниками. Предпочтения диктует мода, но не проницательность. Ибо мы будем шпионить до тех пор, пока мошенники становятся лидерами. Ибо мы будем шпионить, пока на свете есть и лгуны, и сумасшедшие. Ибо до тех пор, покуда страны соперничают, политические деятели лукавят, тираны осуществляют завоевания, потребители нуждаются в ресурсах, бездомные ищут крова, бедные – еду, богатые – излишества, до тех пор избранной вами профессии ничто не угрожает, уверяю вас.

Вернув их, таким образом, к проблеме собственной судьбы, Смайли снова предупредил о подстерегающих их опасностях.

– На свете нет более странной профессии, чем та, которую выбрали вы, – убеждал он с великим чувством удовлетворения. – Вы более всего пригодны для засылки, пока у вас меньше всего опыта, а к тому времени, когда вы узнаете, что почем, куда бы вас ни послали, на вас будет висеть бирка с указанием рода занятий. Старые спортсмены знают, что свои лучшие игры они провели в расцвете сил. Разведчики же в расцвете сил оказываются за бортом, и именно по этой причине они недолюбливают приближение зрелого возраста и начинают прикидывать, во что обошлись им прожитые годы.

Могло показаться, что он, не отрываясь, смотрел на бокал с бренди, однако я заметил, как он искоса взглянул на меня.

– Так вот, в определенном возрасте вам нужен ответ, – продолжал он. – Вам нужен свиток пергамента из самой потайной комнаты, где сказано, кто правит вашей жизнью и почему. Беда в том, что к тому времени как раз вы-то и знаете, что комната пуста. Нед, вы не пьете. Вы предаете бренди. Кто-нибудь, налейте ему. Неприятная правда о следующем периоде моей жизни заключается в том, что я вспоминаю о нем как об одном нескончаемом поиске, объект которого был мне неясен. И этот объект, когда я его обнаружил, оказался забытым шпионом Хансеном.

Хотя в действительности я преследовал совсем иные цели и людей во время своей поездки на Восток, все они в ретроспективе казались лишь этапами моего путешествия к нему. Я никак иначе не могу объяснить это. Хансен в своих камбоджийских джунглях был моим Курцем в самом сердце тьмы. И все, что на том пути произошло со мной, было подготовкой к нашей встрече. Именно голос Хансена я жаждал услышать. У Хансена были ответы на вопросы, которые я задавал, сам того не зная. Внешне я не изменился: был тем же солидным,

сдержанным, попыхивающим трубкой приличным человеком, всегда готовым подставить плечо более слабым. В глубине души я терзался чувством собственной бесполезности, ощущением того, что, несмотря на все отчаянные попытки, я не сумел разобраться в собственной жизни, что в борьбе за свободу других я не нашел ее для себя. В период уныния я казался себе никчемным героем вроде Дон Кихота.

Я принялся записывать сардонические этапы своей жизни и, просматривая описанные эпизоды, давал им меткие насмешливые заглавия, чтобы подчеркнуть их никчемность: “Панда” – я пекусь о наших интересах на Ближнем Востоке! “Бен” – я разделываюсь с перебежчиком! “Белла” – я приношу невероятную жертву! “Теодор” – я принимаю участие в грандиозной махинации! “Ежи” – я веду игру до конца! Следует, правда, признать, что в случае с Ежи был достигнут положительный эффект, хоть и кратковременный, как и все в разведке, и не имевший отношения к событиям, охватившим сейчас его страну.

Подобно Дон Кихоту, я поставил себе целью жизни борьбу со злом. Но во время приступов хандры мне казалось, что, наоборот, я способствую ему. И все же я еще ждал, что мир даст мне шанс проявить себя, и винил его за неумение использовать меня.

Чтобы понять это, надо знать, что со мной произошло после Мюнхена. Как бы то ни было, а благодаря Ежи мой престиж несколько вырос, и Пятый этаж придумал для меня работу: я стал оперативным инспектором, задача которого во время краткосрочных поездок на места “оценивать и, сообразуясь с обстановкой, использовать возможности вне компетенции местной резидентуры” – прочитано, подписано, возвращено составителю.

Задним числом я понял, что связанные с такой работой частые поездки – на неделю в Центральную Америку, затем в Северную Ирландию, Африку, на Ближний Восток, а затем снова в Африку – должны были унять владевшее мной тогда беспокойство и что, по всей вероятности, Кадровик учел то, что как раз тогда у меня началась любовная интрижка с девушкой по имени Моника, работавшей в Отделе по связи с промышленностью нашей Службы. Я решил, что мне нужен роман. Я увидел ее в столовой и остановил свой выбор на ней. Все было очень банально. Однажды вечером, когда шел дождь, я ехал на машине домой и заметил ее на остановке автобуса № 23. Банальность становилась реальностью. Мы приехали к ней на квартиру и улеглись в постель. Потом поужинали в ресторане и стали разбираться в том, что произошло. Мы пришли к удобному выводу, что влюбились. В течение нескольких месяцев это нас вполне устраивало, пока случившаяся трагедия не привела меня в чувство. По счастью, я оказался в Лондоне, готовясь к следующему заданию, когда мне сообщили, что моя мать при смерти. Волею Провидения, обладавшего дурным вкусом, в тот момент, когда раздался телефонный звонок, я был в постели с Моникой. Но, по крайней мере, я сумел присутствовать на этом событии, которое длилось долго, но было преисполнено удивительного спокойствия.

И тем не менее я оказался совершенно не подготовленным к нему. Я почему-то не сомневался, что, давно научившись обходить острые углы, я сумею так же справиться и со смертью матери. Это было великое заблуждение. Лишь немногие сговоры, заметил как-то Смайли, выдерживают проверку реальностью. Такова была участь моего тайного сговора с собой: я уговаривал себя, что смерть матери будет для нее своевременным и необходимым спасением от боли. Я не учел, что боль эта может стать моей собственной.

Я осиротел и воспрянул одновременно. Иначе это не опишешь. Мой отец умер давно. Я не сознавал, что мать выполняла роль обоих родителей. С ее смертью пришел конец не только моему детству, но и многим годам зрелости. Наконец я стоял один на один с жизнью и ее проблемами, хотя многие из них были уже позади – одни надуманные, другие незамеченные, третьи неразрешимые. Наконец я был волен любить, но кого? Боюсь, не Монику, как бы я ни утверждал противное и ни ждал, что жизнь это подтвердит. Ни Моника, ни моя женитьба не обладали магией, которую мне впредь и надлежало сохранять. Когда после моего ночного бдения я взглянул на себя в зеркало в отделанной розовым кафелем уборной похоронного

бюро, я пришел в ужас от увиденного. То было лицо шпиона – с отметиной собственного предательства.

Вы такое видели у кого-нибудь? У себя? Такое лицо? Что до меня, то я настолько к нему привык, что перестал его замечать, покуда не прозрел от шока смерти. Мы улыбаемся, но необходимость что-то утаивать делает нашу улыбку фальшивой. Когда мы веселимся или напиваемся или даже, говорят, когда занимаемся любовью, то до конца этому не отдаемся: гироскоп стоит вертикально, а внутренний голос твердит о долге. И постепенно само утаивание становится таким явным, что начинает представлять угрозу безопасности. А сегодня, скажем, на какой-нибудь традиционной встрече или когда просто вижусь с выпускниками Сэррата, то стоит лишь взглянуть на них – и я вижу, как на каждом проступает тайная отметина. Вот слишком оживленное лицо, а то – несколько тусклое, и на каждом – следы потаенной жизни. До меня доносится взрыв вроде бы самозабвенного смеха, но мне не надо знать, кто смеется, чтобы сказать, что забвению не предано ничто: ни причина смеха, ни самоконтроль – ничто. В молодости я полагал, что это удел лишь представителей предубежденных правящих классов Англии. "Они рождаются в плену своих предрассудков, и у них нет выбора", – убеждал я тогда себя, замечая их наигранную учтивость и обмениваясь с ними простодушными улыбками. Но, будучи англичанином лишь наполовину, я исключал себя из их несчастной судьбы – лишь до того дня, пока в розовом туалете похоронного бюро не обнаружил на себе ту же тень, что падает на всех нас.

С того дня, как я теперь понимаю, я видел только горизонт. "Я слишком поздно начинаю! – думал я. – И так издалека! Жизнь – это поиск или ничто!" Но именно страх, что она окажется ничем, и был моей движущей силой. Так это мне видится сейчас. И так, простите, должны видеть это и вы – в отрывочных воспоминаниях, которые составляют сюрреалистическое течение моей жизни. В глазах человека, которым я стал, каждая встреча была встречей с самим собой. Признание каждого незнакомца было моим собственным, а признание Хансена – самым обвинительным, а значит, в конечном счете самым утешительным. Я похоронил мать, я распрощался с Моникой и Мейбл. На следующий день я вылетел в Бейрут. Но даже такому простому делу, как отлет, сопутствовал неприятный эпизод.

* * *

Для подготовки к своей миссии мне пришлось поработать в одном кабинете с довольно толковым мужчиной по имени Жиль Латимер, занимавшим угол в отделе, известном под названием "отдел безумного муллы" и изучавшем изощренную и кажущуюся недоступной разгадке паутину различных группировок мусульманских фундаменталистов, действовавших с территории Ливана. Столь популярное представление о том, что эти организации индустрии любительского террора являются частью какого-то сверхзаговора, – не более чем чепуха. Если бы это было так, тогда появилась бы возможность до них добраться! Пока же они перемещаются с места на место, сливаясь и разделяясь, как капли воды на мокрой стене, и такие же неуловимые.

Но Жиль, арабист по образованию и прекрасный игрок в бридж, как никто другой был близок к разгадке, поэтому сейчас мне надлежало примоститься у его ног и готовиться к своей миссии. Он был высок, угловат и волосат и пришел в Службу в одно со мной время. Розовощекий, с мальчишескими манерами, он выглядел очень моложаво, хотя его румянец возник оттого, что на лице полопались мелкие кровеносные сосуды. Это был джентльмен до мозга костей: он вежливо открывал перед вами двери и вскакивал, когда входила женщина. Я

видел дважды, как весной он промок до нитки из-за своей привычки одалживать собственный зонтик любому, кто вознамерится выйти наружу во время дождя. Он был богат, но бережлив, считался весьма добропорядочным человеком, имел добропорядочную жену, приглашавшую на партию в бридж и знавшую по имени всех младших сотрудников и членов их семей. Поэтому тем более странным показалось исчезновение некоторых записанных за ним материалов.

И совершенно случайно я обратил на это внимание. Я разыскивал немецкую девушку по имени Бритта, прошедшую подготовку в лагере террористов в Шуфских горах, и затребовал соответствующее досье, содержавшее перехваченные деликатные сведения о ней. Материал принадлежал американцам и выдавался по особому списку, но, когда я прошел всю бюрократическую процедуру его получения, никто не мог его обнаружить. В документах он числился за Жилем, как, впрочем, и многое другое, потому что Жиль есть Жиль и его имя значилось во всех допусках.

Однако Жиль ничего о нем не знал. Он припомнил, что читал его, и помнил его содержание, но ему казалось, что он передал досье мне. Должно быть, досье попало на Пятый этаж, предположил он, или возвращено в регистратуру. А может, еще куда-нибудь.

Итак, досье было объявлено в розыске, о чем были поставлены в известность ищейки из регистратуры, и пару дней все шло нормально, покуда это не повторилось снова. На сей раз инициатором стал секретарь того же Жиля, когда регистратура затребовала все три тома о странной группе с названием “Братья пророка”, базирующейся якобы в Дамаре.

И снова Жиль ничего об этом не знал: он данный материал не видел и даже не прикасался к нему. Ищейки регистратуры показали ему его собственную расписку. Он категорически отрицал, что расписывался. А когда Жиль что-нибудь отрицает, ему как-то не хочется возражать. Как я уже говорил, он – исключительно честный человек.

Вот тут началась настоящая охота с повальной проверкой всех списков. Регистратуру тогда еще не оборудовали компьютерами, а поэтому пока еще была возможность найти пропажу или убедиться, что материал действительно потерян. Сегодня же человек лишь покачает головой и вызовет инженера.

Регистратура обнаружила, что отсутствовало тридцать два досье, числившихся за Жилем. Из них двадцать одно считалось просто конфиденциальным, пять имели более высокую степень секретности, а шесть досье относились к категории с пометкой “хранить”, что, к сожалению, означало, что к ним не допускались лица с явными проеврейскими настроениями. Понимайте это как хотите. Пометка гнусная, и нас она раздражала. Но речь шла о Ближнем Востоке.

Первый намек на размеры кризиса я получил от Кадровика. Это было в пятницу утром. Кадровик всегда любил прикрываться уикендом, занося над тобой свой топор.

– Скажите, Нед, как сейчас со здоровьем у Жиля? – спросил он доверительно, как старый приятель.

– Отлично, – ответил я.

– Он ведь христианин, верно? Христианский парень; набожный.

– Пожалуй.

– То есть мы все немного верующие, а он, наверное, убежденный христианин, так ведь, Нед? Как по-вашему?

– Мы никогда этой темы не касались.

– А вы?

– Нет.

– А как, например, по-вашему, может ли он сочувствовать, скажем, такой организации, как Англо-израильская секта, или чему-либо подобному – хоть сколько-нибудь? Учтите, ничего против них не имею. У каждого свои убеждения, я так считаю.

– Жиль весьма набожный, этакая посредственность. Занимает какой-то мирской пост в своем приходе. Он, кажется, произносит речь по поводу Великого поста, и вроде бы все.

– Это у меня здесь есть, – посетовал Кадровик, постукивая костяшками пальцев по закрытой папке. – Именно таким я его представляю, Нед. Ну и что? Непростая у меня работа, знаете ли. И порой довольно неприятная.

– Почему бы вам самому у него не спросить?

– О, знаю, знаю, конечно, нужно. Если вы, разумеется, этого не сделаете. Можете на ленч его пригласить – за мой счет, естественно. Прощупайте его. Скажете потом, что думаете по этому поводу.

– Нет, – сказал я.

От его доверительного тона и приятельского обращения не осталось и следа.

– Я знал, что вы так ответите. Я порой беспокоюсь за вас, Нед. Эти ваши женщины, да и упрямство ваше на пользу не идут. Ваша голландская кровь дает себя знать. Ладно, держите язык за зубами. Это приказ.

В конце концов, на обед меня пригласил Жиль. Возможно, Кадровик играл и в те, и в другие ворота и проверял на Жиле какую-то версию обо мне. Так или иначе, а в двенадцать тридцать Жиль вдруг вскочил на ноги и сказал:

– Черт с ним, Нед. Сегодня пятница. Пошли, я приглашаю тебя на обед. Уж вон сколько времени.

Итак, мы отправились в ресторан клуба "Травеллерз" [16], сели за столик у окна и очень быстро опорожнили бутылку сансерра. Жиль ни с того ни с сего стал рассказывать о своей командировке в ФБР в Нью-Йорк. Сначала все шло нормально, затем его голос застопорило на одной ноте, а взгляд устремился на что-то видимое только ему одному. Вначале я отнес это за счет вина. Жиль не был похож на пьяницу и вообще-то не пил. И все же он говорил с большой убежденностью и даже с напором провидца.

– Странные парни, эти американцы, Нед. За ними глаз да глаз нужен. Сначала и не сообразишь, что они тобой интересуются. Возьми гостиницу, например. В гостинице всегда можно заметить что-то подозрительное. Слишком улыбчивый администратор. Слишком большой интерес к твоим вещам. За тобой слежка. Как в отличной многоэтажной теплице, будь она неладна. На верхнем этаже бассейн. Видно, как под тобой вдоль реки пролетают вертолеты. "Добро пожаловать, мистер Лэмберт. Приятного вам дня, сэр". Я был там под фамилией Лэмберт. Я всегда пользуюсь ею в Америке. Меня поместили на четырнадцатом этаже. Я мужик педантичный. Всегда таким был. Колодки для обуви и всякое такое. Иначе не могу. Отец был таким же. Здесь обувь, там рубашки. Носки там. Костюмы в определенном порядке. Мы, англичане, не носим облегченных костюмов, верно ведь? Мы считаем, что они облегченные. Выбираем облегченный материал. Твой портной заявляет, что они облегченные. "Самые что ни на есть легкие, сэр. Легче не найдете". Можно было бы подумать, что они хоть этому научатся, учитывая размах деловых контактов с американцами. Ничего подобного. Будь здоров.

Он выпил, и я выпил тоже. Я налил ему минеральной воды. Он вспотел.

– На следующий день возвращаюсь в гостиницу. Весь день совещания. Все стараются понравиться друг другу. Я тоже. Они ведь хорошие ребята. Просто… ну, другие. Другое отношение. Оружие носят. Требуют результатов. Но ведь их и быть не может, правда? Мы все это знаем. Чем больше фанатиков убьешь, тем больше придет на их место. Я это знаю, они – нет. Мой отец тоже был арабист. Понимаешь?

Я ответил, что не знал этого.

– Расскажи мне о нем. – Я хотел перевести разговор. Мне казалось, будет лучше, если он расскажет об отце, а не о гостинице.

– Так вот, я вхожу, мне дают ключ. “Эй, позвольте, – говорю. – Это не четырнадцатый этаж, а двадцать первый. Ошибочка”. Улыбаюсь, естественно. Ошибиться может любой. Тем более на сей раз это была женщина. Весьма решительная дама. “Это не ошибка, мистер Лэмберт. Вы на двадцать первом этаже. Ваш номер 2109”. – “Нет, нет, – говорю. – У меня – 1409. Смотрите”. У меня была их визитка, которую обычно дают в гостинице, и я стал рыться в карманах. На ее глазах вывернул карманы, да так и не нашел. “Слушайте, – говорю. – Поверьте. У меня хорошая память. Мой номер 1409”. Она протягивает мне список проживающих. “Лэмберт, 2109”. Поднимаюсь на лифте, захожу в комнату, все на месте. Здесь обувь, там рубашки, там носки. Костюмы в должном порядке. Все так, как я оставил в старом номере, на четырнадцатом этаже. Знаешь, как они это сделали?

Я опять сказал, что не знаю.

– Сфотографировали. Полароидом.

– Но для чего?

– Чтобы подслушивать меня: 2109 был оборудован, а 1409 – нет. Им это не понравилось, и меня перевели наверх. Они решили, что я арабский агент.

– С чего бы это?

– Из-за отца. Он был человеком Лоуренса. Они это знали. Вот и решили. И сфотографировали мой номер.

Я почти не помню, что было дальше, что мы ели и пили, – вообще ничего. Вспоминаю, что Жиль превозносил Мейбл как идеальную супругу разведчика, хотя, может, это игра моего воображения. Единственное, что я помню, это как мы сидим рядышком в кабинете Жиля в Главном управлении, а перед стальным шкафом Жиля со снятой дверцей стоит Кадровик и созерцает тридцать два пропавших досье, кое-как распиханных по полкам. То были все материалы, с которыми Жиль не сумел справиться во время своего, по определению Смайли, “нервного срыва силою в двадцать четыре балла”.

Причину случившегося я узнал позже. Жиль тоже нашел свою Монику. По всей вероятности, он сдвинулся из-за своей страсти к девушке двадцати одного года из его деревни. Его любовь к ней, чувство вины и отчаяния привели к тому, что он больше не мог работать. Он продолжал делать вид, что работает – в конце концов, он же солдат, – но его мозг больше не включался. Он был занят другим, даже если и не отдавал себе в этом отчета.

Я предоставляю вам и нашим штатным лекарям, которые, похоже, с каждым днем становятся влиятельнее, право решить, от чего еще он мог свихнуться. Возможно, к этому имеет какое-то отношение расхождение между мечтами и действительностью. Может, расхождение между тем, к чему Жиль стремился в молодости, и тем, что имеет сейчас, когда достиг зрелого возраста. Суровая правда заключается в том, что Жиль напугал меня. У меня было такое чувство, что он просто опередил меня на дороге, по которой шел я сам. Я чувствовал это, направляясь в аэропорт. Я чувствовал это в самолете, размышляя о матери. Я выпил несколько порций виски, чтобы отделаться от этого чувства.

Это чувство не покинуло меня, когда я раскладывал свой скромный гардероб в номере 607 гостиницы “Коммодор” в Бейруте и когда у моего уха зазвонил телефон. Снимая трубку, я вообразил, что услышу голос Ахмеда, администратора гостиницы, который сообщит, что мне выделили номер на двадцать первом этаже. Я ошибся. Только что заявил о себе сюрреалистический эпизод номер два.

* * *

Началась стрельба, стреляли с ходу из полуавтоматического оружия. Вероятнее всего, это группа мальчишек на японском пикапе поливает все вокруг из автомата Калашникова-47. Бейрут переживал тот период, когда по первым вечерним выстрелам можно было проверять часы. Впрочем, я никогда ничего не имел против стрельбы. В стрельбе есть своя логика, пусть даже случайная. Стреляют либо в вас, либо не в вас. Я же больше всего боялся автомобильных бомб. Продвигаясь торопливо вдоль тротуара или застряв в потной, медленно ползущей пробке, всегда опасаешься: не поднимет ли в воздух целый квартал какая-нибудь припаркованная машина, так разорвав тебя на куски, что и похоронить будет нечего. Что бросается в глаза при взрыве – то есть после, разумеется, – автомобильных бомб, так это обувь. Человека разносит на части, а обувь остается целехонькой. Так что, бывает, соберут останки пострадавшего и увезут прочь, а среди осколков стекла, раздробленных искусственных челюстей и обрывков одежды валяется пара или две вполне пригодной для ношения обуви. Так что короткая пулеметная очередь или выстрел гранатомета не так беспокоят меня, как некоторых.

Я снял трубку и, услышав женский голос, насторожился. Не только из-за двусмысленности моей семейной жизни, но и потому, что приехал с заданием выследить немку, ту самую Бритту, которая овладевала премудростью подготовки террористических актов в Шуфских горах.

Но это была не Бритта. И не Моника, и не Мейбл. Голос принадлежал американке из средних штатов и звучал испуганно. А меня зовут Питер, не забудь, Питер Картер из крупной английской газеты, пусть даже ее местный корреспондент никогда обо мне не слышал, напоминал я себе, слушая эту женщину.

– Питер, ради бога, я должна быть с тобой, – произнесла она на одном дыхании. – Питер, так твою мать, где тебя носило?

Прозвучала очередь станкового пулемета, сразу же оборванная взрывом реактивной гранаты. Голос в трубке зазвучал еще более возбужденно.

– Боже, Питер, почему ты мне не позвонил? Ну, ладно, я наговорила кучу дерьма. Я испортила твой материал. Прости. То есть, господи, кто мы? Дети, что ли? Ты знаешь, как я это ненавижу.

Треск ружейных выстрелов. Иногда дети так палят в воздух просто забавы ради.

Ее голос зазвучал еще громче.

– Поговори со мной, Питер! Расскажи что-нибудь смешное, пожалуйста. Происходит же где-нибудь что-нибудь смешное! Питер, почему ты не отвечаешь? Ты же не умер? Ты не лежишь на полу с оторванной головой? Ну, хоть кивни в ответ. Я не хочу умирать в одиночестве, Питер. Я – компанейская. Я люблю быть в компании, на миру и смерть красна. Питер, ответь. Ну, пожалуйста.

– В какой номер вы звоните? – спросил я.

Мертвая тишина. Действительно мертвая тишина, возникающая между вспышками автоматного огня.

– Кто говорит? – требовательно спросила она.

– Я – Питер, но думаю, не ваш Питер. В какой номер вы звоните?

– В ваш номер.

– А какой именно?

– Номер 607.

– Боюсь, он, должно быть, выехал. Я приехал в Бейрут сегодня днем. Мне дали эту комнату.

Раздался взрыв гранаты, затем еще один. На улице, кварталах в трех отсюда, кто-то громко закричал. Потом крик оборвался.

– Он погиб? – прошептала она.

Я не ответил.

– А может, это была женщина, – сказала она.

– Может быть, – согласился я.

– Кто вы? Англичанин?

– Да. (Питер – тоже, подумал, сам не знаю почему.)

– Чем вы занимаетесь?

– Для пропитания?

– Разговаривайте со мной. Продолжайте говорить.

– Я журналист, – сказал я.

– Как Питер?

– Я не знаю, какой он журналист.

– Он – крутой человек. Опасность любит. А вы?

– Кое-чего я боюсь, а кое-чего – нет.

– Мышей?

– Мышей боюсь до смерти.

– А вы хороший?

– Как новости, пожалуй. Я мало сейчас пишу. Больше редактирую.

– Женаты?

– А вы замужем?

– Да.

– За Питером?

– Нет, не за Питером.

– Давно вы его знаете?

– Своего мужа?

– Нет, Питера, – сказал я. (Я не спрашивал себя, почему меня больше интересует ее внебрачная жизнь.)

– Здесь это так не измеряют, – ответила она. – Год, пару лет – какая разница. Во всяком случае, в Бейруте. Вы ведь тоже женаты, верно? Вы не хотели ответить, пока я вам про себя не скажу?

– Да, женат.

– Расскажите о ней.

– О жене?

– Конечно, вы ее любите? Она высокая? Прекрасная кожа? Настоящая англичанка, сдержанная такая?

Я рассказал ей кое-что о Мейбл, кое-что придумал, ненавидя себя за это.

– Слушайте, да какой может быть секс после пятнадцати лет совместной жизни? – сказала она.

Я рассмеялся, но не ответил.

– Вы ей верны, Питер?

– Несомненно, – ответил я после паузы.

– Ладно, займемся делом. Перейдем к работе. Что вы здесь делаете? Что-нибудь важное? Расскажите, чем вы занимаетесь.

Мое шпионское нутро уклонилось от ответа.

– Пожалуй, пришло время послушать, что делаете вы, – сказал я. – Вы тоже журналист?

Небо прочертили трассирующие пули. Затем послышались выстрелы.

Ее голос зазвучал устало, будто страх утомил ее.

– Да, я отправляю статьи.

– Кому?

– В одно вшивое телеграфное агентство, кому еще? Пятьдесят центов строка, а какой-нибудь мудак перехватит и за один вечер заработает пару тысчонок. Старо, как мир.

– Как вас зовут? – спросил я.

– Не знаю. Может, Энни. Зовите меня Энни. Слушайте, вы мне нравитесь. Что нужно сделать, если доберман оседлал вашу ногу?

– Залаять?

– Притвориться, что у вас оргазм. Мне страшно, Питер. До вас, наверно, это еще не дошло. Мне нужно выпить.

– Где вы?

– Здесь.

– Где здесь?

– В гостинице. Господи, в "Коммодоре". Торчу в холле, чувствую, как несет чесноком от Ахмеда, а на меня пялится какой-то грек.

– Кто этот грек?

– Ставрос. Он торгует настоящими наркотиками, а божится, что это легкая травка. Скользкий тип.

Я прислушался и впервые различил невнятные голоса. Стрельба прекратилась.

– Питер?

– Да.

– Питер, погасите у себя свет.

Она, должно быть, знала, что в комнате работает только один рахитичный светильник с покосившимся пергаментным абажуром. Он стоял на тумбочке между двумя диванами. Я выключил свет. Снова стали видны звезды.

– Отоприте дверь и оставьте ее приоткрытой. Всего на дюйм. Выпить найдется?

– Бутылка виски.

– А водка?

– Нет.

– Лед?

– Нет.

– Я захвачу. Питер?

– Да?

– Вы хороший. Вам кто-нибудь говорил это?

– Давно не говорили.

– Не сводите глаз с двери, – сказала она и повесила трубку.

* * *

Она так и не пришла.

Можно вообразить все, что угодно, и передумать всякое, как это делал я, сидя на диване, уставившись в темноте на дверь и вспоминая всю свою жизнь в ожидании звука ее шагов по коридору.

Час спустя я сошел вниз. Я сидел в баре, прислушиваясь к каждому женскому голосу с американским акцентом. Ни один не подходил. Я приглядывался ко всем, кто мог назвать себя Энни и сделать предложение мужчине, всего лишь поговорив с ним по телефону. Я дал взятку Ахмеду, чтобы узнать, кто пользовался телефоном в холле в девять часов вечера, но по какой-то причине в его памяти образ возбужденной американки не сохранился.

Я пошел даже на то, чтобы попытаться установить личность предыдущего жильца моего номера и узнать, действительно ли его звали Питер, но Ахмед стал странно уклончив, заявив, что уезжал в то время в Триполи, чтобы навестить старушку-мать, и что в гостинице не хранятся списки постояльцев.

Может, настоящий Питер возвратился в мгновение ока и утащил ее? Может, грек Ставрос? Может, она проститутка? А я? Не сутенер ли Ахмед? Не служил ли телефонный звонок своеобразной приманкой, которой она завлекала только что прибывших постояльцев в их первый беспокойный одинокий вечер? Или же, как мне хотелось думать, просто перепуганная женщина, соскучившаяся по своему любовнику и жаждущая найти хоть в ком-то опору в приступе безумного страха перед ночным грохотом этого города?

Что бы за этим ни скрывалось, я узнал о себе кое-что новое, пусть даже не очень хорошее. Я узнал, как опасно мое одиночество, как я был доступен, с какой готовностью мог поделиться своей любовью и получить чужую и сколь непрочной была во мне та добродетель, которую на Службе звали “личной безопасностью”, в сравнении с моей растущей тягой к связям. Я подумал о Монике и о своих неискренних заверениях в любви, так и не сумевших тронуть богов, к которым они были обращены. Я подумал о Жиле Латимере и его безнадежной страсти. И по какой-то неведомой причине женщина, назвавшая себя Энни, казалось, принадлежит к той же плеяде страдальцев, вопиющих у меня в душе.

А после безликой девушки появился безликий юноша. Это случилось на следующий вечер.



Изможденный, я уселся в холле гостиницы и в одиночестве потягивал свое шотландское виски. Накануне я объезжал лагеря в районе Сайды, и мои руки дрожали после очередного дня в Южном Ливане. Наступил чудодейственный час сумерек, когда обитатели бейрутских человеческих джунглей по взаимному согласию забывают про междоусобицы и собираются у общего водопоя. Подобное я наблюдал в джунглях. Возможно, и вы тоже. По какой-то команде слоны, африканские кабаны, газели, львы и жирафы потихоньку покидают спасительную тень деревьев и чаще всего молча располагаются на болотистых берегах. Таким в этот час был холл гостиницы “Коммодор”, когда после своих дневных похождений в нем собирались журналисты. Автоматическая стеклянная дверь, всегда открывавшаяся с заминкой, вздыхала и ворчала от напряжения, и ранняя бейрутская ночь извергала свою пеструю толпу: телевизионную группу

из Швеции во главе с бесцветной блондинкой в наимоднейшем хлопчатобумажном одеянии; фотографа и пишущего журналиста из американского еженедельника; представителей телеграфных агентств – обычно парами; пожилого и чрезвычайно таинственного восточного немца с любовницей-японкой. Все, как сговорившись, входили с нарочитым спокойствием, останавливались, а затем усаживались в холле, сбрасывая с себя дневные заботы.

Но день на этом не кончался. Настоящему журналисту предстояло отправить пленку, написать статью и передать ее по телексу или телефону. Кто-то не явился, и надо найти этому объяснение. Такой-то схватил шальную пулю; сообщили ли об этом его жене? Так или иначе закрывшаяся за ними стеклянная дверь означает, что еще один день отвоеван у противника. Трудяги задраивали люки на ночь.

Наблюдая за ними, я рассчитывал, что встречу человека, который знает кого-то, кто знает того, кто знаком с разыскиваемой мною женщиной. В течение дня до этого момента я ничего не добился и лишь увидел еще больше несчастных людей.

А тем временем в холле собирались и другие представители человеческой расы, менее броские на вид, но порою более интересные для наблюдателя: деляги и торговцы оружием и наркотиками, дипломаты среднего ранга в темных костюмах, разносчики влияния и информации, перебирающие свои четки и ощупывающие своими беспокойными глазами всех находящихся в холле. И шпионы всех мастей, торгующие в открытую, потому что в Бейруте тем, чем торгуют они, торгуют все. Здесь не было мужчины или женщины без своего собственного источника информации, даже если это всего лишь Ахмед за стойкой, который за несколько долларов и улыбку выдаст тебе все тайны Вселенной.

Но человек, привлекший мое внимание, был фигурой экзотической даже по меркам зверинца гостиницы "Коммодор". Я не заметил, как он вошел. Возможно, он шел в группе людей. Я увидел его в холле на темном фоне стеклянной двери; на нем были полосатая футболка и белоснежная косынка, какие носят медсестры, повязанная вокруг головы. Не будь он худощавым с плоской грудью, то с первого взгляда я бы не мог с уверенностью сказать, женщина ли это, рядящаяся под мужчину, или наоборот.

Охранник тоже обратил на него внимание. Так же как и Ахмед за своей ужасающей стойкой. Два его автомата Калашникова были прислонены к стенке позади него как раз под шкафчиком с ячейками для ключей от номеров. Я увидел, как Ахмед сделал полшага назад, чтобы дотянуться до одного из них. Небольшой ручной гранаты было бы сейчас здесь достаточно, чтобы смести половину самого цвета мошенников города.

Но это видение продолжало двигаться вперед, либо не сознавая, что вызывает любопытство, либо пренебрегая им. Он был высок и молод, двигался плавно, но скованно. Он напоминал человека, лишенного собственной воли, действовавшего по команде того, кто им управлял. Теперь я разглядел его получше: темные очки, черная щетина и усы. По этой причине лицо его казалось таким темным. И эта белая косынка на голове. Но именно от его скованной походки робота у меня пошли мурашки по коже, и я пытался прикинуть, какой он веры.

Он дошел до середины холла. Люди уступали ему дорогу. Одни, взглянув на него, отводили взгляд, другие демонстративно поворачивались к нему спиной, словно знали его, но не любили. И вот при ярком свете центральной люстры стало казаться, что он начал возноситься. Наклонив вперед свою повязанную голову и слегка двигая руками, он как бы восходил на собственный помост по приказу свыше. Теперь я увидел, что он американец. Я понял это по полусогнутым ногам, повисшим кистям рук и слегка похожим на девичьи бедрам – типичный американский юноша. Его солнечные очки были, видимо, недостаточно темны для него, потому что в одной своей длинной руке он держал матерчатый козырек для защиты глаз. Именно такие козырьки носили профессиональные картежники и редакторы ночных изданий в

фильмах сороковых годов. Он был, как минимум, шести футов ростом. На нем были полукеды такой же непорочной белизны, как и головная повязка, и он ступал в них бесшумно.

Какой-то арабский чудик? – подумал я.

Тронувшийся сионист? Такие тоже бывают.

Или под кайфом?

Школьник на экскурсии, подражающий хиппи и ради острых ощущений оказавшийся в городе проклятых?

Сменив направление, он подошел к администратору и начал что-то говорить ему, повернувшись лицом к холлу и выискивая того, кто ему был нужен. Именно тогда я заметил у него на щеках и лбу красные точки, похожие на сыпь при крапивнице или оспе, но более яркие. Клопы здорово попитались им в какой-нибудь вонючей ночлежке, подумал я. Он двинулся по направлению ко мне. Опять скованно, без всякого выражения на лице. Целеустремленно – очевидно, этот человек привык привлекать к себе внимание. Сердито – защитный козырек болтается на руке. Он слепо сверлил меня взглядом сквозь темные очки, а я продолжал потягивать виски. Какая-то женщина взяла его за руку. На ней была юбка, и, вполне возможно, именно она была той медсестрой, которая отдала ему свою косынку. Они остановились возле меня. Рядом со мной никого больше не было.

– Сэр? Это – Сол, сэр, – сказала она, – или Морт, или Сид, или как вам будет угодно. Он спрашивает: не журналист ли вы, сэр?

Я сказал, что журналист.

– Из Лондона, сэр, в командировке? Сэр, вы редактор? Сэр, вы пользуетесь влиянием?

Сомневаюсь насчет влияния, ответил я с примирительной улыбкой. Больше по административной линии, а здесь почти проездом.

– Вы возвращаетесь в Лондон, сэр? Скоро ли?

В Бейруте не принято заранее сообщать о своих планах.

– Довольно скоро, – согласился я, хотя, по правде говоря, собирался возвратиться на юг на следующий день.

– Нельзя ли Солу поговорить с вами одну минуту, сэр, просто поговорить? Ему очень нужно поговорить с влиятельным лицом из западной прессы. Все эти журналисты, по его мнению, всякого тут насмотрелись, они предубеждены. Солу нужно мнение свежего человека.

Я подвинулся, и она села рядом со мной, а Сол очень медленно опустился на стул – молчаливый, очень опрятный молодой человек в футболке с длинными рукавами и косынке. Наконец усевшись, он положил руки на колени, держа защитный козырек обеими руками. Затем он глубоко вздохнул и забормотал:

– Вот я тут написал кое-что, сэр. Я бы хотел, если возможно, напечатать это в вашей газете.

Он говорил тихо, как культурный и вежливый человек. Но голос его был каким-то безжизненным, и казалось, будто каждое его слово, как и движение, стоило ему усилий. За стеклами его очень темных очков я разглядел, что его левый глаз был меньше правого, поуже. Не из-за опухоли от удара, а просто меньше, чем его собрат, словно с совершенно другого лица. И красные точки не были следами укусов, или сыпью, или царапинами. То были маленькие кратеры, как оспины на бейрутских стенах, оставленные пулями и запекшиеся на жаре. И, как у кратеров, кожа вокруг них вспухла, но не затянулась.

Он рассказал о себе без всякого с моей стороны понуждения. Он доброволец для оказания помощи пострадавшим, сэр, студент-медик третьего курса из Омахи. Он верил в мир, сэр. И он пострадал от бомбы, сэр, там, неподалеку, в том самом ресторане, которому досталось больше всего – просто начисто смело, вам стоило бы сходить и посмотреть, – он назывался “Акбар”,

сэр, и его облюбовали американцы, сэр, так вот там взорвался этот автомобиль, начиненный бомбами, и нет ничего хуже, чем такое. Всегда застает врасплох.

Я сказал, что знаю.

Почти все, кто был в ресторане, погибли, кроме него, сэр, а тех, кто находился ближе к стене, просто разнесло на куски, продолжал он, не сознавая, что описал мой самый страшный ночной кошмар. И вот он написал об этом, ему казалось, что это его долг, сэр, своего рода заявление во имя мира, которое ему хотелось бы опубликовать в моей газете для общей пользы, может, в ближайший уикенд или в понедельник. Он хотел бы внести деньги в фонд милосердия. Сотни две долларов, а может, больше. Для бейрутских больниц, все еще дающих людям луч надежды.

– Нам нужна передышка, сэр, – объяснил он своим мертвым голосом, в то время как женщина достала из его кармана пачку отпечатанных на машинке бумаг. – Передышка для переговоров. Просто перерыв между войнами, чтобы найти какой-то компромиссный путь.

Только в бейрутском "Коммодоре" может не показаться абсурдным, что пострадавший от бомбы сторонник мира просит помощи в безнадежном деле у журналиста, который таковым не является. Тем не менее я пообещал сделать все, что в моих силах. Закончив свои дела с человеком, которого я ждал, – который, разумеется, знать ничего не знал и ничего не слышал, но, пожалуй, сэр, может быть, стоит поговорить с полковником Асме в Тире? – я отправился в свой номер и, поставив рядом стакан, стал читать рукопись, решив про себя, что, если она окажется хоть сколько-нибудь приемлемой, я по возвращении в Лондон заставлю одного из наших бесчисленных дружков с Флит-стрит [17] опубликовать ее и прослежу, чтобы это было сделано.

В статье описывалась трагическая ситуация, но вскоре читать ее стало невозможно: она перешла в бессвязный эмоциональный призыв к евреям, христианам и мусульманам помнить о своих матерях и детях и жить в мире и любви. Она призывала к поискам компромисса и изобиловала неточными примерами из истории. Предлагалась новая религия, "какую хотела дать нам Жанна д'Арк, только англичане воспротивились этому и сожгли ее заживо, не обращая внимания на ее крики и на волю простого народа". Это великое новое движение, утверждал он, "сплотит семитские расы в духовное братство любви и терпимости". А дальше он совсем запутался и перешел на заглавные буквы, подчеркивания и строки из одних восклицательных знаков. Ближе к концу статья совсем перестала быть тем, с чего начиналась, и в ней уже говорилось о "целой семье – детях и стариках, сидящих у стены, ближайшей к эпицентру". И о том, как их всех разнесло на куски. Это повторялось столько раз, сколько Сол позволял себе заглянуть в свою измученную память.

И вот ни с того ни с сего я стал писать статью за него. Ей. Энни. Сначала мысленно, затем на полях его рукописи, а потом на чистом листе бумаги А4 из моего портфеля. Я быстро исписал страницу и взял другую. Я вспотел, пот стекал с меня подобно дождю; это была одна из типичных бейрутских ночей, пока еще тихая, с накатывающейся со стороны гор влажной, зудящей жарой и со зловещим сырым смогом, напоминающим пушечный дым, заволакивающий побережье. Я продолжал писать, не переставая думать, позвонит ли она еще раз. Я писал незнакомой мне девушке от имени юноши, оказавшегося жертвой терроризма. Я писал – к своему ужасу, я обнаружил это на следующее утро – претенциозную чепуху. Я провозглашал странные привязанности, разглагольствовал о великих сантиментах, вещал о нерушимом цикле людского зла, о бесконечных поисках причин совершения неблаговидных поступков.

Передышка, сказал юноша. Передышка, чтобы образумиться, перерыв между войнами. Я поймал его именно на этом. И Энни тоже на этом поймал. Я написал, что все передышки в истории конфликтов между людьми использовались не для разрешения противоречий, а для их усиления, были перерывом для нового передела мира, для того, чтобы преступники обнаружили свои жертвы, а алчность и лишения поменялись местами. То была исповедь

истекающего кровью сердца подростка, и наутро, когда я увидел исписанные страницы, разбросанные по полу вокруг пустой бутылки из-под виски, я не мог поверить, что это – дело рук знакомого мне человека.

Поэтому я поступил так, как не поступить не мог. Я положил страницы в умывальник и кремировал их, затем разворошил пепел, сбросил его в унитаз и спустил в забитую трупами канализацию Бейрута. Покончив с этим, я в виде наказания заставил себя совершить пробежку вдоль набережной, причем бежал с такой скоростью, будто спасался от преследователя.

Я бежал к Хансену, спасаясь от себя, но на этом пути мне предстояло сделать еще одну остановку.

* * *

Моя немочка, Бритта, объявилась в Израиле посреди пустыни Негев в поселке, состоящем из неприветливых серых хижин и носящем название Ревивим. Хижины окаймляли полоса распаханной земли и двойной ряд колючей проволоки со сторожевыми башнями на каждом углу. Если в поселке и содержались другие пленники-европейцы, то мне их не представили. Я не видел рядом с ней никого, кроме молоденьких арабских девушек, главным образом из бедных деревень Западного берега или сектора Газа, которых палестинские товарищи уговорили или заставили совершать акты жестокости против ненавистных сионистских оккупантов. Чаще всего они подбрасывали бомбы на базарах или швыряли их в гражданские автобусы.

Я приехал туда из Биршебы на джипе, который вел крепкий молодой полковник разведки. Его отец еще ребенком прошел подготовку в отряде "ночных диверсантов" эксцентричного генерала Уингейта во времена британского мандата. Отец полковника помнил, как полуобнаженный Уингейт сидел на корточках в своей палатке и при свете свечи составлял план боя в пустыне. Чуть ли не каждый израильский солдат вспоминал его отца, и вообще многие вспоминали англичан. Им кажется, что после прекращения действия мандата они знают о нас то, что, возможно, и составляет нашу сущность: мы антисемиты, невежды и империалисты, но среди нас есть довольно много исключений. Дальше по дороге находилась Димона, где израильтяне хранят свое атомное оружие.

Ощущение отрыва от реальности не покидало меня. Наоборот, оно усиливалось. Создавалось впечатление, что я стал очень далек от состояния человека, необходимого в нашей профессии. Мои чувства и чувства других, похоже, значили для меня больше, чем то, что я видел собственными глазами. Стоит только в Ливане утратить бдительность, как у тебя появляется необъяснимая ненависть к Израилю. И я ощутил все признаки этой болезни. Пробираясь сквозь грязь и зловоние разгромленных лагерей, сидя, скорчившись, под прикрытием мешков с песком, я убедился, что жажда мести израильтян не будет удовлетворена до тех пор, пока навечно не закроются обвиняющие глаза последнего палестинского ребенка.

Быть может, мой молодой полковник почувствовал это: хоть я и прилетел с Кипра, но всего несколько часов назад побывал в Бейруте, и мое лицо, по-видимому, еще хранило какие-то ощущения.

– Вам доводилось встречаться с Арафатом? – спросил он, криво улыбнувшись.

– Нет, не доводилось.

– Почему? Он неплохой парень.

Я не отозвался.

– Зачем вам нужна Бритта?

Я рассказал. Скрывать не было смысла. Лондону потребовалось все его умение убеждать, чтобы получить согласие на встречу с ней, и едва ли мои хозяева разрешат говорить с ней один на один.

– Мы думаем, может, она захочет рассказать о своем старом друге, – сказал я.

– Почему вы так думаете?

– Он бросил ее. Она на него зла.

– А кто ее друг? – спросил он, будто не знал.

– Один ирландец. У него чин адъютанта в ИРА. Он инструктирует террористов, разведывает цели, снабжает техникой. Она жила с ним в подполье в Амстердаме и Париже.

– Как у Джорджа Орвелла, а?

– Как у Джорджа Орвелла.

– Давно он ее бросил?

– Полгода назад.

– Может, она на него больше не злится. Может, она пошлет вас подальше. Для такой девицы, как Бритта, шесть месяцев – чертовски долгий срок.

Я спросил, много ли она говорит в заключении. Вопрос был деликатный, так как израильтяне до сих пор скрывали, сколько они ее держат и вообще как она к ним попала. У полковника было широкое загорелое лицо. Его родители родом из России. На его рубашке цвета хаки с короткими рукавами были крылышки парашютиста. Ему двадцать восемь лет, он – сабра, рожденный в Тель-Авиве, обручен с девушкой из Марокко. Его отец, бывший “ночной диверсант”, сейчас лечит людям зубы. Все это он рассказал мне в течение первых нескольких минут знакомства на своем гортанном английском, который выучил по самоучителю.

– Говорит? – повторил он с мрачной улыбкой. – Бритта? Да с тех пор как эта леди поселилась у нас, она рта не закрывает.

Будучи немного знаком с израильскими методами, я не удивился, хотя внутренне содрогнулся от перспективы вести допрос женщины, которая подверглась обработке этими методами. Я пережил подобное в Ирландии, когда мужчина в наглухо застегнутой рубахе, уставившись на меня мертвым взглядом, признавался в чем угодно.

– Вы сами ее допрашивали? – спросил я, снова обратив внимание на его мощные руки и упрямые скулы. При этом я, кажется, подумал о полковнике Ежи.

Он покачал головой.

– Невозможно.

– Почему?

Он вроде бы хотел что-то рассказать, затем передумал.

– На это у нас есть специалисты, – сказал он. – Ребята из Шинабет, такие же толковые, как Бритта. Они долго с ней работали. В семье.

И об этой любящей семье я наслышан, хотя ничего не сказал. Сионисты заманили ее в ловушку, прошептал мне в Тире информатор с налитыми кровью глазами. Из лагерей она со своим новым дружком Саидом и его тремя приятелями перебралась в Афины. Хорошие ребята. Способные. План заключался в том, чтобы сбить самолет компании “Эль-Аль” на подходе к Афинскому аэропорту. Ребята обзавелись ручным ракетным гранатометом и сняли дом на трассе полетов. Задача Бритты сводилась к тому, чтобы она, как не вызывающая подозрений европейская женщина, стояла в телефонной будке аэропорта с дешевеньким коротковолновым приемником в руках и передавала находящимся на крыше дома ребятам указания

диспетчерской башни. Все было здорово подготовлено, сказал мой до смерти уставший информатор. Репетиции прошли идеально. Но операция провалилась.

Слушая его, я мысленно дополнял его рассказ, пытаясь представить, как действовала бы заранее предупрежденная служба: две группы захвата – одна на крышу, вторая – в телефонную будку; самолет – цель террористов – заранее предупрежден и без пассажиров садится в полной безопасности в Афинах; тот же самолет с прикованными к креслам террористами возвращается на родину в Тель-Авив. Интересно, как они с ней поступят? Предадут суду или, поторговавшись, обменяют с выгодой для себя?

– Что произошло с ее ребятами из Афин? – спросил я полковника, пренебрегая указаниями Лондона не выказывать любопытства в подобных обстоятельствах.

– С ребятами? Она ничего об этих ребятах не знает. Афины? А где эти Афины? Она невинная немецкая туристка, на отдыхе в Эйлате. Мы ее украли, мы накачали ее наркотиками, мы бросили ее в тюрьму, а теперь обвиняем в пропаганде. Она хочет, чтобы мы доказали обратное, потому что знает, что нам это не удастся. Вы еще что-то хотите знать? Спросите Бритту, будьте любезны.

Еще большее недоумение вызвало у меня то, что, когда мы вышли из джипа, он положил мне руку на плечо и как бы пожелал успехов.

– Делайте с ней, что хотите, – сказал он. – Mazel tov [18].

Мне становилось страшно от того, что меня могло ожидать.

Коренастая женщина в военной форме приняла нас в опрятном кабинете. Уборщиков в тюрьме предостаточно, подумал я. Ее звали капитан Леви, и едва ли она могла быть тюремщиком Бритты. Она говорила по-английски, как школьная учительница из небольшого американского городка, но несколько медленнее и более осторожно. У нее были мигающие глаза, короткие седые волосы и взгляд человека, смирившегося с судьбой. Тюремная жизнь оставила на ее лице свой сероватый налет. Но, когда она складывала свои ручки, у меня возникало ощущение, что она, должно быть, занимается вязанием для своих внуков.

– Бритта очень умная, – сказала она извиняющимся тоном. – Умному мужчине допрашивать умную женщину бывает иногда трудно. У вас есть дочь, сэр?

Я вовсе не собирался снабжать ее своими анкетными данными и потому сказал “нет”, что, впрочем, соответствовало действительности.

– Жаль. Но не важно. Может, еще будет. Такой мужчина – у вас еще все впереди. Вы говорите по-немецки?

– Да.

– Тогда вам повезло. Вы можете общаться с ней на ее языке. Так вам удастся лучше ее узнать. Мы с Бриттой можем говорить только на английском. Я говорю по-английски как мой покойный муж, который был американцем. Бритта говорит по-английски как ее покойный любовник, который был ирландцем. Тель-Авив разрешил дать вам два часа. Двух часов вам будет достаточно? Если понадобится больше, мы их спросим, может, они согласятся. А может, и двух часов окажется слишком много. Посмотрим.

– Вы очень добры, – сказал я.

– Добра? Не знаю. Может, нужно быть менее доброй. Может, мы слишком много делаем добра. Увидите сами.

Затем она распорядилась принести кофе и доставить Бритту, а мы с полковником заняли свои места по одну сторону простого деревянного стола.

Однако капитан Леви за стол не села. Видимо, потому, что не собиралась принимать участия в разговоре. Она примостилась у двери на кухонном стуле с прямой спинкой и полузакрыла глаза, будто в предвкушении концерта. Даже когда Бритта в сопровождении двух охранниц вошла в комнату, она приподняла глаза ровно настолько, чтобы увидеть, как три

пары ног прошествовали мимо нее в глубь кабинета и остановились. Одна из охранниц подвинула стул для Бритты, а вторая сняла с нее наручники. Охранницы вышли, и мы придвинулись к столу.

Мне хотелось бы точно нарисовать вам сцену, какой она виделась мне со своего места: справа от меня сидел полковник, Бритта – прямо напротив, по ту сторону стола, а склоненная седая голова капитана Леви – почти позади нее, но несколько левее, на лице задумчивая полуулыбка. В течение всей беседы она не переменила позы, застыв, как восковая фигура. Ее многозначительная полуулыбка, нисколько не меняясь, не покидала лица. Поза выражала сосредоточенность, какое-то усилие, будто она напрягалась, чтобы уловить фразы и слова, которые могла понять благодаря знанию идиш и английского, тем более что Бритта, уроженка Бремена, говорила на чистом литературном немецком языке, который легче понять.

Бритта же, несомненно, была превосходным экземпляром своей породы. Она была, по их выражению, "бела, как булка", высока, с развернутыми плечами и хорошими формами; у нее были широко расставленные дерзкие голубые глаза и симпатичный волевой подбородок. Она была ровесницей Моники, одинакового с ней роста и – я не мог об этом не подумать – такой же, наверное, чувственной, как Моника. Мое подозрение, что с ней жестоко обращались, улетучилось, как только она вошла. Она держалась, словно балерина, но с более явными признаками интеллекта и с большим чувством реальности, чем это бывает у большинства танцовщиц. Она хорошо смотрелась бы в костюме для тенниса или в тирольском женском наряде, и я прикинул, что в свое время она, видимо, носила и то, и другое. Но даже в тюремной одежде она неплохо выглядела, повязав вокруг талии какой-то матерчатый пояс и раскидав по плечам копну своих белокурых волос. Как только ей сняли наручники, она протянула мне руку, одновременно присев, как школьница, в книксене. Трудно сказать, какой смысл вкладывался в это: ирония или уважение. Она пожала руку по-мужски, но несколько задержала ее в своей. На ее лице не было косметики, но она ей и не требовалась.

– Und mit wem hab'ich die Ehre? – поинтересовалась она вежливо, но с вызовом. – Так с кем я имею честь говорить?

– Я британский чиновник, – сказал я.

– Простите, как вас зовут?

– Это не важно.

– Но вы ведь важная персона!

Когда заключенных выводят из камеры на допрос, они чаще всего в своем первом порыве несут всякую чушь, поэтому я ответил ей серьезно:

– Я сотрудничаю с израильтянами по вашему делу. Это все, что вам нужно знать.

– Делу? Значит, я уже стала делом? Забавно. А мне-то казалось, что я – человек. Прошу вас, садитесь, мистер Никто, – сказала она, усаживаясь.

Итак, мы сидим в описанном мною порядке, причем лицо капитана Леви находится позади Бритты, несколько вне фокуса, как и выражение на нем. Полковник не встал, чтобы приветствовать Бритту, и практически не обращал на нее никакого внимания. Казалось, он вдруг утратил всякий интерес к делу. Он поглядывал на свои часы. Они были из матового металла и на его бронзовом запястье выглядели оружием. Запястья Бритты были белыми и гладкими, как у Моники, но с красными ссадинами от наручников.

Ни с того ни с сего она начала поучать меня.

Начала без вступления, будто продолжая урок. В каком-то смысле так оно и было, ибо я вскоре понял, что она поучала так всех, во всяком случае, тех, кого относила к буржуазии. Она начала с заявления, которое просила передать моим "коллегам", как она их назвала, поскольку, по ее мнению, власти не совсем правильно понимают ее положение. Она считает себя военнопленной, подобно тому, как военнопленным считается израильский солдат, попавший в

руки палестинцев, а потому требует к себе соответствующего отношения и привилегий, предусмотренных Женевской конвенцией. Здесь она находилась в качестве туристки и не совершила никаких преступлений против Израиля; ее арестовали лишь на основании приписываемых ей прегрешений в других странах, что является умышленным актом провокации против мирового пролетариата.

Я прыснул со смеху, и она запнулась. Смеха она не ожидала.

– Позвольте, – возразил я. – Либо вы военнопленная, либо невинная туристка. Нельзя быть и тем, и другим.

– Речь идет о невиновности и виновности, – ответила она без колебаний и возобновила свою лекцию. Ее враги – не только сионизм, заявила она, но и динамика буржуазного угнетения, подавление естественных инстинктов и сохранение деспотической власти под вывеской "демократии".

Я вновь попытался прервать ее, но на сей раз она просто игнорировала мои слова. Она сыпала цитатами из Маркузе и Фрейда. Она ссылалась на восстание достигших половой зрелости сыновей против своих отцов и осуждение ими же этого восстания по мере того, как они сами становились отцами.

Я взглянул на полковника, но он, казалось, задремал.

Цель ее "акций" и "акций" ее товарищей заключалась в том, чтобы остановить этот подсознательный цикл подавления во всех его формах, проявляющийся в порабощении труда материализмом, в репрессивном принципе самого "прогресса", и высвободить реальные силы общества, такие, как эротическая энергия, направив их в новые, раскованные формы культурного созидания.

– Все это нисколько не интересует меня, – запротестовал я. – Прошу вас, прекратите и послушайте меня.

Поэтому так называемые "террористические акты" преследуют две четкие цели, продолжала она, будто не слыша меня: первая – расстроить армии буржуазно-материалистического заговора и вторая – дать предметный урок тягловой силе земли, потерявшей способность видеть свет в конце туннеля. Другими словами, привнести брожение и пробудить сознание наиболее угнетенных масс народа.

Она при этом добавила, что, хотя и не является адептом идеи коммунизма, предпочитает ее теории капитализма, поскольку коммунизм – это мощное оружие против эгоцентризма, превращающего собственность в тюрьму для народов.

Она отстаивает сексуальную свободу и право – для тех, кому это требуется, – пользоваться наркотиками как средством раскрытия свободного "я" в противоположность несвободному "я", кастрированному посредством агрессивной терпимости.

Я повернулся к полковнику. Существует определенный этикет допроса, как, впрочем, он существует во всем.

– Нужно ли нам выслушивать всю эту дребедень? Эта дама ваша пленница, не моя, – сказал я. Дело в том, что у меня не было права предъявлять ей здесь законные претензии.

Полковник приподнял голову лишь настолько, чтобы равнодушно взглянуть на нее.

– Ты хочешь вернуться в камеру, Бритта? – спросил он. – Хочешь посидеть на хлебе и воде пару недель? – Его немецкий звучал так же странно, как и английский. Он вдруг показался мне и мудрее, и старше своих лет.

– Я еще не закончила, спасибо.

– Если хочешь оставаться здесь, будешь отвечать на его вопросы, а пока заткнись. Решай. Хочешь уйти – пожалуйста. Он добавил что-то на иврите капитану Леви, которая рассеянно кивнула. Заключенный араб вошел с подносом, на котором стояли четыре чашки кофе и вазочка с песочным печеньем; он скромно обнес всех кофе, включая капитана Леви, а печенье

поставил посредине стола. Нами овладела какая-то апатия. Бритта протянула свою длинную руку за печеньем – лениво, словно находилась у себя дома. Полковник грохнул кулаком по столу и, опередив ее, успел отодвинуть печенье в сторону.

– Так о чем, простите, вы хотели спросить меня? – поинтересовалась Бритта как ни в чем не бывало. – Вы желаете, чтобы я выдала вам ирландца? Какие другие аспекты моего дела могут интересовать англичан, мистер Никто?

– Если вы выдадите нам одного конкретного ирландца, мы будем удовлетворены, – сказал я. – Вы год жили с мужчиной по имени Саймус.

Она была довольна. Я дал ей новую тему. Она внимательно посмотрела на меня и, похоже, обнаружила в моем лице что-то знакомое.

– Жила с ним? Это преувеличение. Я спала с ним. Саймус пригоден только для секса, – объяснила она с хитрой улыбкой. – Он был нужен для удобства, своего рода бытовой прибор. Причем я сказала бы: хороший прибор. И я для него была тем же. Вы любите секс? Иной раз к нам присоединялся еще один мужчина, а порой и девушка. Мы комбинировали. Это к делу не относилось, но нам было весело.

– К какому делу? – спросил я.

– К нашей работе.

– Какой работе?

– Я ведь уже описала вам, чем мы занимались, мистер Никто. Я говорила вам о наших целях и мотивах. Гуманизм не надо приравнивать к ненасилию. За свободу надо бороться. Иногда даже самые высокие цели могут быть достигнуты лишь с помощью насилия. Разве вы этого не знаете? Секс тоже может быть сопряжен с насилием.

– В каких видах насилия участвовал Саймус? – спросил я.

– Мы говорим не о бессмысленных актах, а о праве народа оказывать сопротивление актам, совершаемым силами подавления. Вы – часть этих сил. Или вы, может быть, сторонник стихийности, мистер Никто? Может, вам следует освободиться и присоединиться к нам?

– Он – террорист, – сказал я. – Он уничтожает невинных. Его недавней целью была пивная на юге Англии. Из-за него погибли одна пожилая пара, бармен и пианист. И, даю вам слово, он не принес освобождения ни одному обманутому рабочему.

– Это вопрос или утверждение, мистер Никто?

– Это просьба рассказать о его поступках.

– Пивная была неподалеку от британского военного лагеря, – ответила она. – Она была частью инфраструктуры и обеспечивала удобства для фашистских сил угнетения.

И снова ее холодные глаза игриво остановились на мне. Я говорил, что она привлекательна? Что значит привлекательна в подобных обстоятельствах? На ней было ситцевое платье. Она находилась в принудительном заключении за грехи, в которых не желала каяться.

Все ее существо было в состоянии постоянного напряжения, я чувствовал это, и она это знала, и разделявшая нас преграда манила ее.

– Мое учреждение предполагает выдать вам по освобождении определенную сумму, которая, по вашему желанию, может быть заранее выплачена указанному вами лицу, – сказал я. – Нам нужна информация, которая приведет к аресту и осуждению вашего приятеля Саймуса. Нас интересуют и его прошлые преступления, и те, которые он только еще намеревается совершить, его явки, контакты, привычки и слабости. – Она ждала продолжения, и я, возможно опрометчиво, продолжил: – Саймус не герой. Он свинья. Настоящая свинья. Никто с ним плохо не обращался, когда он был молодым; его родители – приличные люди, владельцы табачной лавки в североирландском графстве Даун. Его дед был полицейским, причем неплохим. Саймус убивает для развлечения, потому что он неполноценный. Поэтому

он и с вами плохо обошелся. Он существует, только когда причиняет боль. А в остальное время он – испорченный мальчишка.

– А вы тоже неполноценный, мистер Никто? По-моему, да. В вашей профессии это обычное дело. Вступайте в наши ряды, мистер Никто. Вам следует поучиться у нас, и мы обратим вас в свою веру. Тогда вы будете полноценным.

Не забудьте, что, произнося это, она нисколько не повышала голоса и не старалась драматизировать обстановку. Она оставалась снисходительной и собранной, даже доброжелательной. Зло затаилось у нее в самой глубине и было хорошо скрыто. Пока она говорила, с ее лица не сходила здоровая искренняя улыбка, а капитан Леви тем временем попрежнему была погружена в свои воспоминания, видимо потому, что не понимала сказанного.

Полковник вопросительно взглянул на меня. Не доверяя своему голосу, я поднял над столом руки, как бы спрашивая: "Какой смысл?" Полковник что-то приказал капитану Леви, и та нажала кнопку вызова конвоя с разочарованным видом хозяйки, которая приготовила какоето особое блюдо, а теперь уносит его нетронутым. Бритта встала, расправила свое тюремное платье на груди и бедрах и протянула руки для наручников.

– Сколько денег предполагалось мне предложить, мистер Никто? – поинтересовалась она.

– Нисколько, – ответил я.

Она сделала мне еще один книксен и направилась в сопровождении охранниц к двери, при этом покачивание ее бедер под тюремным платьем напомнило мне покачивание бедер Моники под ее халатиком. Я боялся, что она заговорит снова, но она не заговорила. Возможно, она знала, что этот раунд выиграла и что, сказав что-нибудь еще, можно испортить впечатление. Полковник вышел вслед за ней, и мы с капитаном Леви остались одни. На ее лице все еще блуждала полуулыбка.

– Так вот, – сказала она. – Теперь вы немного представляете, что чувствуешь, слушая арию Бритты.

– Пожалуй, да.

– Порой мы слишком много общаемся. Может, вам следовало говорить с ней по-английски. Пока она говорит по-английски, я еще могу заботиться о ней. Она – человек, она – женщина, она – в тюрьме. И будьте уверены, она страдает. Она мужественная, и до тех пор, пока она говорит по-английски, я выполняю по отношению к ней свой долг.

– А когда она обращается к вам по-немецки?

– Какой смысл? Ведь она знает, что я ее не понимаю.

– А если бы обращалась и если бы вы ее понимали? Что тогда?

Ее рот скривился, и улыбка стала немного застенчивой.

– Тогда, наверное, я бы боялась, – ответила она на своем размеренном американском. – Мне кажется, если бы она что-нибудь мне приказала, у меня было бы желание повиноваться. Но я не позволю ей приказывать. С какой стати? Я не даю ей власти над собой. Я говорю поанглийски и остаюсь начальницей. Понимаете, я два года провела в концлагере, в Бухенвальде. – Она продолжала улыбаться, а затем заговорила по-немецки, на сдавленном шепоте лагерника: "Man hort so scheussliche Echos in ihrer Stimme, wissen Sie". Понимаете, ее голос вызывает такие ужасные воспоминания.

Полковник стоял в дверях, ожидая меня. Мы шли вниз по лестнице, и он опять положил мне руку на плечо. На сей раз я знал почему.

– Она так ведет себя со всеми мужчинами?

– Капитан Леви?

– Бритта.

– Конечно. Просто с вами поактивнее – вот и все. Возможно, потому что вы – англичанин.

Возможно, подумал я, а может, потому, что увидела во мне нечто большее, чем принадлежность к Англии. Возможно, она прочитала мои подсознательные сигналы готовности? Но как бы то ни было, Бритта подвела итог моим тогдашним сомнениям. Она сформулировала мое желание попытаться удержаться в мире, который ускользал от меня, мою восприимчивость к каждому случайному аргументу и каждому желанию.

В тот же вечер, в разгар веселого дипломатического приема в "Герцлии", устроенного моим хозяином из английского посольства, прибыло распоряжение найти Хансена.

Глава 9

Эрнест Перигрю забросал Смайли вопросами о колониализме. Рано или поздно Перигрю подвергал этому испытанию любого, кто приезжал в Сэррат, и его вопросы всегда носили почти оскорбительный характер. Он был беспокойный юноша, сын английских миссионеров в Западной Африке и один из тех, кого Служба почти вынуждена нанимать благодаря их редкостному багажу знаний и лингвистическим способностям. Как обычно, он сидел в стороне от других в глубине библиотеки, устремив вперед свое худощавое лицо и подняв кверху длинную руку, будто защищаясь от нападок. Вначале вопрос звучал разумно, но затем выродился в тираду, против безразличия Великобритании к судьбе ее бывших порабощенных подданных.

– Да, пожалуй, готов согласиться с вами, – ко всеобщему удивлению, вежливо сказал Смайли, выслушав его до конца. – К сожалению, напрашивается ответ: "холодная война" породила в нас своеобразный косвенный колониализм. С одной стороны, мы отказались практически от всех аспектов национального самосознания в пользу американской внешней политики. С другой – мы заработали себе отсрочку исполнения приговора за свое видение собственной колониальной сущности. Но хуже всего то, что мы поощряли американцев вести себя таким образом. Не то чтобы они нуждались в таком поощрении, но им, естественно, это было приятно.

Хансен говорил почти то же самое. И почти такими же словами. Но если Смайли почти не утрачивал при этом своей учтивости, Хансен уставился мне в лицо пламенными красными глазами, загоревшимися еще там, в аду, из которого он возвратился.

* * *

Я вылетел из Израиля в Бангкок, потому что Смайли сообщил, что Хансен сошел с ума, что он знает слишком много секретов. Сообщение пришло на имя начальника отделения в Тель-Авиве, и его надлежало расшифровать самому. Смайли тогда возглавлял Отдел безопасности Службы и носил почетное звание заместителя ее главы. Когда бы я о нем ни слышал, он всегда, казалось, только и делал, что затыкал один канал утечки за другим или улаживал какой-нибудь скандал. Я провел жаркий уикенд, пропотев над кипой доставленных нарочным документов, и битый час успокаивал по телефону Мейбл, павшую перед последним препятствием на трассе ее ежегодной гонки за звание капитана женской команды нашего гольф-клуба и подозревавшую интриги.

Не знаю, почему они так относятся к Мейбл. Может, их отталкивает ее простая манера говорить. Я сделал все, что мог. Я сказал ей, что ничто в нашем ведомстве не может сравниться с интриганством этих жен из Кента. Я обещал, что по возвращении устрою ей великолепный отпуск. Не помню, куда мы должны были отправиться, потому что отпуск так и не состоялся.

Досье Хансена обрисовало мне человека, с какими я не раз встречался, поскольку мы немало таких привлекаем. К ним принадлежал и я, да и Бен тоже: англичанин-полукровка, для которого Служба становится приемной родиной и наделяет его несуществующими качествами.

Как и я, Хансен был наполовину голландцем. Может, именно поэтому Смайли остановил свой выбор на мне. Он родился в долгую ночь немецкой оккупации Голландии и воспитывался в тени Делфтского собора. Родители его матери, служащей туристской конторы "Томас Кук", были родом из Англии, и, когда началась война, они убедили ее возвратиться с ними в Лондон. Она отказалась и вместо этого вышла замуж за делфтского кюре, которого год спустя расстреляли немцы и который оставил после себя беременную жену. Не пав духом, она стала членом английского подполья и к концу войны возглавляла разветвленную агентурную сеть с собственной связью, осведомителями, явками и прочими службами. Сотрудничество моей матери со Службой выражалось практически в том же.

В досье не говорилось, каким путем младенец Хансен попал к иезуитам. Возможно, мать переменила веру. То были еще темные годы, и, если того требовала обстановка, она могла поступиться своими протестантскими убеждениями во имя приличного образования ребенка. Подари иезуитам его душу, могла рассуждать она, и они наделят его умом. Или она уже тогда распознала изменчивую натуру своего сына, которая правила всей его жизнью, и решила подчинить его более строгой религиозной дисциплине, чем у благодушных протестантов. Если так, то это была мудрая женщина. Хансен набросился на веру, как набрасывался на все, – со страстью. Он побывал у монахинь, у братьев-монахов, у священников и у ученых. Затем, когда ему исполнился двадцать один год, его, обученного и набожного, но пока еще послушника, отправили в семинарию в Индонезии, чтобы познакомить с обычаями неверных на Суматре, Молуккских островах и на Яве.

У Хансена, как и у многих голландцев, Восток, казалось, вызывал чувство инстинктивной любви. Истинный голландец, подобно знаменитой сосне Гейне, может стоять среди плоской равнины на своей маленькой родине и вдыхать азиатские ароматы лимонной травы и кухонных горшков, принесенные свежим морским ветром. Хансен пришел, увидел и был побежден. Буддизм, ислам, ритуалы и предрассудки дикарей в самых отдаленных уголках – он набросился на все это с рвением, возраставшим по мере того, как он углублялся в джунгли.

Языки тоже давались ему легко. К его родным голландскому и английскому он без труда добавил французский и немецкий. А теперь он овладел тамильским, кхмерским, санскритом и знал даже немного кантонский диалект, проходя порою сотни миль по холмистой местности в поисках недостающего диалекта или ритуала. Он писал работы по филологии, о свадебных обрядах, рукописных заставках и обезьянах. В дебрях джунглей он обнаруживал храмы и завоевывал награды, которые его Общество запрещало принимать. Через шесть лет бесстрашных исследований и поисков он стал не только образцом учености у иезуитов, но и настоящим священником.

Но какой секрет может продержаться шесть лет? Постепенно стала выходить наружу изнанка его жизни. Хансен – художник до мозга костей. Аппетиты Хансена. Не оборачивайтесь, но вот идет одна из девиц Хансена.

Погубили же его масштабы и длительность: как только началась проверка, оказалось, что в его жизни нет нетронутого уголка, нет дороги без перекрестка. Женщина там и здесь, а то и мальчик или два, в общем, каких только верований не нагляделся я на земном шаре, каких только священнослужителей не повидал я на своем веку, но подобное греховодничество скорее связано с подчинением вере, чем с ее нарушением.

Эта всепоглощающая слабость в каждом кампонге, в каждой улочке, это ненасытное беспутство процветали, как теперь известно, у них под самым носом больше десятка лет с участием девочек, которые, по западным меркам, едва достигли возраста первого причастия, не говоря уж о супружеском ложе, – многие, кстати, находились под защитой церкви, – из-за

всего этого Хансен вдруг стал драматично беззащитным. Имея перед собой доказательство столь длительного и самозабвенного греха, отец-игумен скорее опечалился, чем возмутился. Он велел Хансену возвратиться в Рим, предварительно направив письмо руководителю Общества. Из Рима, сообщил он Хансену с грустью, его, вероятно, отправят в Лойолу в Испании, где квалифицированные психотерапевты помогут ему справиться с его достойной сожаления слабостью. После Лойолы… в общем, начнем с самого начала, возможно, в другой части света еще одно, не похожее на это десятилетие.

Но Хансен, как и его мать прежде, упрямо отказался покинуть свою вторую родину.

В растерянности отец-попечитель отправил его в отдаленную миссию в горах, руководимую традиционалистом суровой школы. Там Хансену пришлось испытать варварство домашнего ареста. За ним следили, как за безумным. Ему запрещалось покидать пределы дома, ему не давали книг и газет, запрещали веселиться и заводить приятелей. Мужчины по-разному относятся к заключению, как по-разному реагируют на высоту, холод или смерть. Хансен реагировал на это ужасно и через три месяца больше не мог этого вынести. Однажды, когда два его брата-попечителя сопровождали его на мессу, он столкнул одного из них с лестницы, а второй убежал. Затем он перебрался в Джакарту и, не имея ни денег, ни паспорта, ушел в подполье в борделях, которые хорошо знал. Девушки стали о нем заботиться, а он выполнял обязанности сутенера и вышибалы. Он подавал пиво, мыл бокалы, вышвыривал буянов, выслушивал исповеди, помогал, кому нужно, играл с детьми в задней комнате. Я представляю, поскольку теперь знаю его, как он выполнял все эти свои обязанности – просто и без суеты. Ему недавно минуло тридцать, и его желания горели ярко, как никогда. Но вот в один прекрасный день, поддавшись какому-то порыву, Хансен побрился, надел чистую рубашку и предстал перед британским консулом, чтобы востребовать свою британскую душу.

Консул же, не страдавший отсутствием ни зрения, ни слуха, был давнишним сотрудником Службы; он выслушал рассказ Хансена, задал для видимости пару вопросов и, прикрывшись маской безразличия, резво приступил к делу. Уже много лет он искал человека со способностями Хансена. Его замашки нисколько консула не смущали. Ему это нравилось. Он затребовал из Лондона данные на Хансена; понемногу он стал одалживать ему небольшие суммы денег под расписку в трех экземплярах, потому что не хотел обнаруживать свой энтузиазм. Когда же Лондон ответил, что у матери Хансена – белая полоска, означавшая, что она прежде была агентом Службы, чаша весов перевесила в пользу Хансена.

Прошел месяц, и Хансен наполовину пришел в сознание, а это означало, что он знал, но только наполовину, да и то едва ли, что установил своего рода контакт с тем, что с определенной натяжкой можно назвать Британской разведкой. Еще через два месяца, как всегда непоседливый, он уже путешествовал по южной Яве якобы в поисках древних свитков, а в действительности собирал для консула сведения о подрывном коммунистическом движении, ставшем его нынешним антихристом. К концу года он был на пути в Лондон с новым британским паспортом в кармане – правда, на вымышленную фамилию.

* * *

Я обратился к досье за данными о его подготовке за все шесть месяцев. Сэрратом занимался долговязый и вредный эстонец по имени Клайв Беллами. "Отлично справляется с практическими заданиями, – пишет он в своей заключительной характеристике на Хансена. – Обладает первоклассной памятью, хорошей реакцией, самостоятелен. Требует жесткого

обращения с собой. Если на моем корабле вспыхнет бунт, первым, кого я подвергну порке, будет Хансен. Оснастка хорошая, но при отличном рулевом".

Затем я просмотрел оперативные данные. Здесь тоже все было в порядке. Поскольку Хансен все еще был голландцем по происхождению, руководство решило не менять этого и не выпячивать его английские качества. Хансен было взбрыкнул, но его укротили. За границей в то время на англичан смотрели как на американцев, но без их влияния, поэтому Руководство было готово мать родную заложить ради шведа или западного немца. Даже с канадцами заигрывали, хотя тех было куда легче заполучить. Вернувшись в Голландию, Хансен оформил свои отношения с иезуитами и отправился на Восток в поисках работы. В те дни в ряде западных столиц разместились научные центры по изучению Востока. Хансен посетил их и заручился обещаниями одних и согласием других. Восточное отделение французского телеграфного агентства взяло его в качестве внештатного корреспондента. Лондонский еженедельник с подачи Руководства приготовил для него место при условии, что ему не придется платить. Мало-помалу крыша для него была готова, причем такая, что он мог отправиться куда угодно и задавать какие угодно вопросы; разобраться в его финансовом положении было практически невозможно, так как не было возможности разобраться, кто и сколько ему платит и за что. Пришло время его запускать. Пусть британские интересы в Юго-Восточной Азии вместе с империей пошли на убыль, но там по колено завязли американцы, которые вели официальную войну во Вьетнаме, полуофициальную – в Камбодже и тайную – в Лаосе. Довольствуясь вторыми ролями, мы были только рады предложить им бесценные таланты Хансена.

Шпионская техника может дать многое. С ее помощью можно сфотографировать урожай и окопы, танки и ракетные установки, а также следы шин и миграцию оленей. Она может сработать при звуке русского истребителя, преодолевающего звуковой барьер на высоте сорока тысяч футов, или когда китайский генерал рыгнет во сне. Но заменить человеческий разум она не может. Она не может сказать, что творится в душе у камбоджийского крестьянина, чей урожай уничтожен дотла бомбардировщиками доктора Киссинджера, чьи дочери стали городскими проститутками, а сыновья поддались на уговоры и покинули деревню, вступив в ряды марионеточной армии американцев, или во имя спасения своей же семьи были вынуждены драться на стороне красных кхмеров. Она не может читать по губам партизан джунглей в черных пижамах, самым мощным оружием которых является извращенный марксизм кровожадного камбоджийского психопата с сорбоннским образованием. Она не может вдохнуть выхлопные газы немеханизированной армии. Или же расшифровать радиокоды армии, не имеющей радио. Или вычислить запасы продовольствия для солдат, способных питаться земляными жуками и древесной корой. Или определить нормальное состояние тех, которые, потеряв все, что у них есть, воюют только за будущее.

Хансен же мог. Хансен, приемный азиат, неделями мог обходиться в пути без пищи, сидеть на корточках в кампонгах и слушать бормотание деревенских жителей; Хансен сумел распознать усиливающийся ветер их сопротивления задолго до того, как зашевелился звездно-полосатый флаг на зданиях посольств в Пномпене и Сайгоне. И он мог сообщать бомбардировщикам – что он и делал и в чем потом раскаивался, – он мог сообщать американским бомбардировщикам, в каких деревнях скрывались вьетконговцы. Кроме того, он умел вылавливать людей. Он вербовал себе агентов из любого слоя общества и учил их видеть и слышать, запоминать и докладывать. Он понимал, когда им нужно было знать много, когда – мало, когда их вознаградить, а когда – нет.

Месяцами, а затем годами Хансен занимался этим в так называемых "освобожденных районах" Северной Камбоджи, где правили красные кхмеры, пока в один прекрасный день он не исчез из деревни, где до этого обосновался. Исчез без звука, уведя с собой жителей. Вскоре его зачислили в покойники, как без вести пропавшего в джунглях. И он числился таковым до недавнего времени, покуда не объявился в одном из борделей Бангкока.

– Не торопитесь, Нед, – убеждал меня Смайли по телефону в Тель-Авиве. – Я не буду против, если вы захотите взять еще пару дней из-за разницы во времени.

Что на языке Смайли означало: “Найдите его как можно быстрее и доложите, что нам не придется расхлебывать еще один грандиозный скандал”.

* * *

Руководителем нашей разведки в Бангкоке был лысый, грубый, маленький, усатый тиран по имени Рамбелоу, к которому я так и не стал относиться теплее. Когда разведчику пятьдесят, перспектив остается очень немного. Большинство к тому времени бывают засвечены, а многие настолько устают и разочаровываются, что им становится все безразлично. Некоторые устремляются в частные банки или большой бизнес, и редко у кого сохраняется семья. Что-то происходит с их мышлением и мешает им вести открытую жизнь. Но очень немногим, одним из которых был Тоби Эстергази, а другим – Рамбелоу, удается каким-то неведомым образом держать Службу заложницей своих талантов.

Не знаю, какими талантами обладал Рамбелоу. Уверен – низменными, поскольку если он и специализировался на чем-то, то это была людская подлость. Говорят, он содержал пару разложившихся таиландских генералов, которые не желали ни с кем работать, кроме него. По другим слухам, он оказал одному члену королевской семьи какую-то грязную услугу, за которую тот был ему обязан. Как бы то ни было, бароны с Пятого этажа не желали слышать о нем ничего дурного. “И ради бога, не гладь Рамбелоу против шерсти, Нед, – умолял меня Смайли. – Я знаю, что он зануда, но он нам очень нужен”.

Я принял его в своем гостиничном номере. Для внешнего мира я был бухгалтером Марком Сеймуром и не желал выставлять себя ни в посольстве, ни у него дома. Я провел в самолете двадцать часов. Время было вечернее. Манера речи у Рамбелоу была как у букмекера на скачках. Да и выглядел он, пожалуй, так же.

– Мы на этого негодяя напали по ч-и-и-сто идиотской случайности, – рассказывал он мне с раздражением. – Но, натурально, мы тут кое-что нащупали. Держали ушки на макушке. Знаем, что к чему. О таких случаях наслышаны. И не бесчувственные какие-нибудь. Стоит лишь представить, как твоего джо, привязанного к палке, волокут по джунглям неделю кряду и как, натурально, красные кхмеры при этом его пытают. Не страус небось. Знаю, что к чему. Ну, а уж если попался, тебе не до Правил Куинзберри [19], – убеждал он меня, будто я утверждал противоположное. И, выудив носовой платок из рукава своего пропотелого пиджака, он промокнул им свои дурацкие усы. – Нормальный джо через сутки после такого вопить будет, чтобы в него всадили пулю.

– Вы уверены, что он попался?

– Ни в чем не уверен, старина. Слухи, вот и все. Как я могу быть уверен, если этот негодяй не желает с нами говорить? Угрожает применить силу, если попробуем! Насколько знаю я, красные кхмеры ни сном, ни духом о нем не ведали. Голландцам никогда не верил, по крайней мере здесь; воображают, что все это им здесь принадлежит. Хансен из тех, кто ложится на дно, как только становится жарко, а когда все пройдет, он тут как тут: бляху требует и пенсию как ни в чем не бывало. По всем данным, ни одного пальца не потерял ни на руках, ни на ногах. И вообще ни одной части тела не лишился, судя по тому, где прятался. Его засек Даффи Марчбэнкс. Помните Даффи? Хороший парень.

Да, я помнил Даффи, и мне стало не по себе. Я вспомнил его, как только увидел его имя в досье. Это был лихой мошенник из Гонконга, любивший проворачивать быстрые дела – от опиума до снарядов. В течение нескольких непутевых лет мы финансировали его заведение.

– То была чистая случайность для Даффи. Он здесь объявился, прилетел вдруг. На один день – и все. День и ночь – и назад, к жене и своей бухгалтерии. Компания по организации отдыха на море подрядила его купить на побережье сотню акров земли. Сделали дело Даффи и эти его торгаши и всей кодлой закатились в ресторан с девочками. Даффи всегда был не прочь порезвиться на стороне. Заведение под названием "Море счастья" прямо в центре квартала красных фонарей. Говорят, одно из лучших заведений подобного рода. Отдельные кабинеты, приличная еда, если вам она вообще по душе, все прилично, причем девушки оставляют мужчин одних, если те того пожелают.

В ресторанах с девочками, объяснил он, намекая при этом, что сам-то лично он там не бывал, молоденькие официантки в одежде или без нее рассаживаются между приглашенными, кормят их и поят вином, в то время как мужчины рассуждают о высоких материях бизнеса. Кроме этого, в "Море счастья" имелись салон для массажа, дискотека и варьете на нижнем этаже.

– Даффи заканчивает сделку с компанией, получает чек. Он – в ударе. Ну, и решает доставить себе удовольствие с одной из девочек. Договорившись, они удаляются в кабинет. Девушка говорит, что хочет пить и как, мол, для начала насчет бутылки шампанского? Она получает комиссионные, как и все они. Ну, не важно. Даффи не прочь раскошелиться, почему бы нет? Девочка нажимает кнопку звонка, квакает что-то в переговорное устройство, и не успевает Даффи опомниться, как в комнату вваливается здоровенный европеец с ведерком льда на подносе. Ставит его, Даффи дает ему двадцать батов на чай, парень говорит "спасибо" по-английски, вежливо, но без улыбки и уходит. Это – Хансен. Хансен из джунглей. Не портрет – сам, лично!

– Откуда Даффи это знает?

– Ведь он видел его фото.

– Почему?

– О господи, да потому, что, когда Хансен исчез, мы показали Даффи эту чертову фотографию! Мы показывали ее всем, кого знаем, в этом чертовом полушарии! Мы не говорили зачем, просто сказали, как увидите, мол, этого малого, свистните. Между прочим, приказ сверху, не моя идея. Я-то как раз подумал, что это вовсе не безопасно.

Чтобы успокоиться, Рамбелоу налил нам обоим еще по стаканчику виски.

– Даффи шпарит в гостиницу и сразу звонит мне домой. В три ночи. "Ваш парень", – говорит. "Какой парень?" – спрашиваю. "А тот, чью карточку вы прислали мне в Гонгкерс год назад, а то и раньше. Он – подавала в борделе "Море счастья"". Ну, вы знаете, как этот старина Даффи выражается. Тот еще язык. Посылаю туда на следующий день Генри. Этот идиот все завалил. Ну, вы, наверно, слышали. Обычное дело.

– Даффи говорил с Хансеном? Спросил, как его зовут? Хоть что-нибудь?

– Ни словечка. Смотрел сквозь него. Даффи – артист. Соль земли. Всегда был таким.

– Где Генри?

– Сидит внизу в холле.

– Позовите его.

Генри был китайцем, сыном гоминдановского военного и нашим главным резидентом, хотя, подозреваю, он давным-давно вступил в контакт с таиландской полицией и потихоньку зарабатывал себе на жизнь, оказывая услуги обеим сторонам.

Это был низкорослый, лоснящийся и жаждущий угодить человек, который слишком часто улыбался. На шее у него висела золотая цепочка, а в руках он держал красивый блокнот в

кожаной обложке и с золотой ручкой внутри. Он работал под видом переводчика. Ни разу не видел переводчика с блокнотом от Гуччи, но Генри был именно таким.

– Расскажи Марку, какого дурака ты свалял в "Море счастья" в четверг вечером, – приказал угрожающе Рамбелоу.

– Сейчас, Майк.

– Марк, – поправил я.

– Сейчас, Марк.

– Ему приказали посмотреть. Вот и все, что ему надлежало сделать, – вмешался Рамбелоу, прежде чем Генри сумел открыть рот. – Взглянуть, принюхаться, уйти и позвонить мне. Верно, Генри? Ему надлежало что-нибудь придумать, принюхаться, постараться засечь где-нибудь Хансена, но не обращаться к нему, а доложить мне. Скрытая, бесконтактная разведка. Вынюхать и доложить. А теперь скажи Марку, что ты сделал.

Сначала Генри выпил у стойки бара, сказал он, затем посмотрел шоу. Потом он позвал Маму-сан, которая тут же явилась, полагая, что это особый заказ. Мама-сан оказалась уроженкой той же китайской провинции, что и отец Генри, так что они быстро нашли общий язык.

Он показал Маме-сан свою визитку переводчика и сообщил, что пишет статью о ее заведении – о превосходной еде, романтических девушках, высоком уровне деликатности и гигиены, особенно гигиены. Он сказал, что у него задание одного немецкого туристского журнала, рекомендующего лишь первоклассные места.

Мама– сан заглотала приманку и сама предложила показать ему все. Она повела его в кабинеты ресторана, показала кухни, номера, туалетные комнаты. Она представила его девушкам, предложив одну из них за счет заведения (предложение он отклонил), познакомила с шеф-поваром, швейцаром и вышибалами, но, к сожалению, не с огромным пучеглазым европейцем, которого Генри засек трижды: первый раз, когда тот нес поднос с бокалами из кабинетов в кухню, затем, когда он вез по коридору тележку с бутылками, и, наконец, когда тот выходил из двери, ведущей, по-видимому, в винный погреб.

– А кто этот фаранг, который носит вам бутылки? – воскликнул Генри со смешком в голосе. – Его, наверное, оставили поработать здесь за неуплату?

Мама– сан тоже рассмеялась. Все азиаты испытывают естественное чувство единства против фарангов, или людей с Запада.

– Фаранг живет с одной из наших камбоджиек, – ответила она с презрением, ибо по таиландской классификации камбоджийцы стоят еще ниже, чем фаранги и вьетнамцы. – Он познакомился с ней здесь и влюбился, а теперь хочет ее выкупить и сделать дамой. Но она отказалась уйти от нас. Так что он каждый день привозит ее на работу и ждет здесь, пока она не освободится.

– А что он за фаранг? Немец? Англичанин? Голландец?

Мама– сан пожала плечами. Какая разница? Генри настаивал. Трудно себе представить, что фаранг приводит свою женщину в бордель и подает напитки, пока она находится с другими мужчинами, а затем отвозит ее домой, в свою постель. Должно быть, та еще девочка!

– У нее девятнадцатый номер, – пожала плечами Мама-сан. – Здесь ее зовут Аманда. Хотите ее?

Но Генри так увлекся своим журналистским расследованием, что не мог позволить себе отвлекаться.

– Но этот фаранг, как его зовут? Откуда он появился? – воскликнул он, забавляясь еще больше.

– Его зовут Хам Син. С нами он говорит по-нашему, а со своей девушкой – по-кхмерски. Но вам не стоит писать о нем, потому что он нелегал.

– Я могу замаскировать его. Я могу все замаскировать. А девушка отвечает ему взаимностью?

– Она предпочитает быть здесь, в "Море счастья", со своими друзьями, – ответила Мама-сан высокомерно.

Генри не мог удержаться, чтобы не полюбопытствовать. Девушки, не занятые с клиентами, отдыхали на обитых плюшем скамьях за стеклянной перегородкой. Если не считать номерков на шеях, они были совершенно обнажены. Девушки болтали друг с другом, приводили в порядок свои ногти или безучастно смотрели на экран плохо настроенного телевизора. На глазах у Генри девушка под номером 19 встала, прихватила свою маленькую сумочку и накидку и по знаку Мамы-сан вышла из комнаты. Она была очень молода. Многие девушки, чтобы обойти правила, называли неправильный возраст, особенно камбоджийки, у которых не было ни гроша за душой. Но этой девушке, по словам Генри, на вид было не больше пятнадцати.

И вот тут чрезмерное усердие Генри начало уводить его в сторону. Попрощавшись с Мамой-сан, он поставил свою машину в переулке напротив черного хода в заведение и стал ждать. Где-то после часа ночи персонал стал расходиться, и среди них был Хансен, ростом вдвое выше всех, который вел под руку номер 19. На площади Хансен и девушка стали оглядываться в поисках такси, и тут Генри, проявив крайнее безрассудство, подогнал к ним свою машину. В эту пору на улицах полно сутенеров и незарегистрированных таксистов, а Генри тогда был и тем, и другим, так что, пожалуй, это у него получилось естественно.

– Куда вам, сэр? – спросил он Хансена по-английски. – Хотите, подвезу?

Хансен назвал ему адрес в бедном пригороде в пяти милях к северу. Договорились о цене, Хансен с девушкой забрались на заднее сиденье, и машина тронулась.

Вот тут Генри начал терять голову по-настоящему. Упоенный успехом, он неизвестно почему решил, что лучше всего доставить своих пассажиров в дом Рамбелоу, находившийся не севернее, а западнее. Он, естественно, не подготовил последнего к этому смелому маневру, да и сам едва ли был к нему готов. Он не мог знать, дома ли Рамбелоу и в состоянии ли он в час тридцать ночи провести беседу с бывшим шпионом, исчезнувшим с арены восемнадцать месяцев назад. Но в голове Генри здравый смысл в тот момент не преобладал. Он был джо, и нет на свете такого джо, который хоть раз в своей жизни не совершил бы нечто совершенно непостижимое.

– Вам нравится Бангкок? – спросил Генри весело, надеясь отвлечь пассажиров от дороги, по которой их вез.

Никакого ответа.

– Вы давно здесь?

Никакого ответа.

– Милая девушка. Очень юная. Очень хорошенькая. Ваша постоянная?

Голова девушки лежала у Хансена на плече. Насколько ему было видно в зеркале, она уже уснула. Почему-то это привело Генри в еще большее возбуждение.

– Вам нужен портной, сэр? Ночной портной, работает круглосуточно, очень хороший. Я вас отвезу. Хороший портной.

Он резко свернул в боковую улочку, будто в поисках этого несчастного портного, а на самом деле спешил в направлении дома Рамбелоу.

– Почему вы едете на запад? – спросил Хансен, заговорив впервые. – Мне не туда нужно. Мне не нужен портной. Возвращайтесь на главную дорогу.

Остатки здравого смысла покинули Генри. Ему вдруг стало страшно от роста Хансена и его тактического превосходства, поскольку тот находился сзади. А что, если Хансен вооружен? Генри нажал на тормоза, и машина остановилась.

– Мистер Хансен, сэр, я ваш друг! – закричал он на таиландском, будто прося пощады. – Мистер Рамбелоу тоже ваш друг. Он вами гордится! Он хочет дать вам много денег. Едемте со мной, пожалуйста. Все будет в порядке. Мистер Рамбелоу будет очень рад вас видеть!

Больше в ту ночь Генри не сказал ни слова, ибо не успел он закончить, как Хансен с такой силой толкнул сзади его сиденье, что Генри едва не вышиб головой ветровое стекло. Хансен выбрался из машины и выволок Генри наружу. Затем он поставил его на ноги и сильным ударом швырнул его на противоположную сторону дороги, чем переполошил устроившихся на ночлег нищих, которые загалдели, когда Хансен подошел к распростертому телу Генри и наклонился над ним.

– Скажи этому Рамбелоу, что, если он будет меня искать, я прикончу его, – сказал он по-тайски.

Затем он обнял дремавшую девушку за талию и повел ее по дороге в поисках более надежного такси.

К тому времени, когда рассказ двух мужчин окончился, я вдруг почувствовал ужасную усталость.

Я выпроводил их обоих, велев Рамбелоу позвонить мне на следующее утро. Я сказал, что должен отоспаться после перелета, прежде чем смогу хоть что-нибудь предпринять. Я прилег, но не мог сомкнуть глаз. Через час я явился в “Море счастья” и купил билет за пятьдесят долларов. Я скинул башмаки, как того требовал обычай, и через несколько мгновений стоял в носках в залитой неоновом светом кабине, разглядывая пассивное, сильно накрашенное лицо девушки под номером 19.



На ней была накидка из дешевого шелка с изображениями тигров, наброшенная на голое тело и открытая от шеи до самого низа. Плотный, японского типа, грим покрывал ее лицо. Она улыбнулась и быстро протянула руку к моему паху, но я перехватил ее. Она была такая тоненькая, что казалось невероятным, что она может справиться со своими обязанностями. Ее ноги были длиннее, чем обычно у азиатских девушек, а цвет кожи гораздо светлее. Она сбросила с себя накидку и, прежде чем я успел остановить ее, расположилась на потертом шезлонге в позе, которая ей представлялась эротической, и стала поглаживать себя, издавая вздохи, означавшие желание. Она повернулась на бок, выпятив маленький задик и раскинув по плечам свои черные волосы так, что сквозь них проглядывали ее маленькие груди. А поскольку я не отреагировал, она перевернулась на спину, раздвинула ноги и выгнулась дугой, повторяя “дорогой” и “пожалуйста”. Повернувшись ко мне спиной, она дала мне возможность полюбоваться ее прелестями сзади.

– Сядь, – сказал я, и она села, полагая, что теперь я подойду к ней.

– Надень свою накидку, – велел я.

Похоже, она не поняла, и я помог ей это сделать. Генри написал записку на кхмерском. В ней говорилось: “Мне нужно поговорить с Хансеном. Я могу получить официальные документы для вас и вашей семьи”. Я дал ей записку и смотрел, как она ее изучает. Умеет ли она читать? Сказать было невозможно. Я протянул ей простой белый конверт, адресованный Хансену. Она взяла и вскрыла его. Письмо было отпечатано на машинке, и тон его был нелюбезный. В конверте было две тысячи батов.

“Как старый друг отца Вернона, – писал я, пользуясь известным ему кодом, – я должен сообщить вам, что вы нарушаете контракт с нашей компанией. Вы совершили нападение на таиландского гражданина, а ваша подруга из Камбоджи является нелегальной иммигранткой. У нас может не остаться выбора, кроме как передать эти сведения властям. Моя машина стоит на противоположной стороне улицы. Передайте прилагаемую сумму Маме-сан, чтобы она освободила вас от работы этой ночью, и подходите ко мне через десять минут”.

Она вышла из кабины, взяв письмо с собой. До сих пор я не представлял, какой шум доносился из коридора: резкие звуки музыки, смешки, страстные возгласы, шум воды в старых трубах.

* * *

Я оставил машину открытой, и они с девушкой уже сидели на заднем сиденье. Почему-то я не сомневался, что он возьмет ее с собой. Он был действительно крупный и мощный, с осунувшимся лицом. В полумраке со своей черной бородой и ввалившимися глазами, с руками, напряженно распростертыми по верху заднего сиденья, он походил скорее на одного из святых, которым некогда поклонялся, чем на свою фотографию из досье. Девушка прижалась к нему, словно ища в нем защиту. Не успели мы отъехать, как на нас водопадом обрушился дождь. Я припарковался у кромки дороги, и мы стали смотреть сквозь мокрое лобовое стекло, как потоки воды заливали сточные канавы и дорожные выбоины.

– Как вы попали в Таиланд? – закричал я по-голландски. Дождь грохотал по крыше машины.

– Пешком, – ответил Хансен по-английски.

– Как вы прошли? – крикнул я по-английски.

Он назвал город. Кажется, что-то вроде Оранье Пратет. Ливень прекратился, и мы ехали три часа. Девушка дремала, а Хансен оберегал ее, настороженный, как кот, и столь же молчаливый. Я выбрал прибрежный отель, рекомендованный бангкокской “Нейшн”. Мне хотелось поместить его в обстановку, более приемлемую для себя, чем для него. Я получил ключ и внес деньги за проживание. Хансен с девушкой шли за мной по бетонной дорожке, ведущей к пляжу. Домики стояли полукольцом, развернувшись фасадом к морю. Наш был с краю. Я открыл дверь ключом и вошел внутрь. За мной вошел Хансен, за ним – девушка. Я зажег свет и включил кондиционер. Девушка задержалась у двери, а Хансен сбросил туфли и встал посреди комнаты, оглядывая ее своими впалыми глазами.

– Садитесь, – предложил я. Я открыл холодильник. – Она хочет попить? – спросил я.

– Дайте ей кока-колы, – сказал Хансен. – Со льдом. Там есть лимон?

– Нет.

Он наблюдал, как я, стоя на коленях, вожусь у холодильника.

– А вам что? – спросил я его.

– Воды.

Я снова заглянул в холодильник: стаканы, минеральная вода, лед. Тем временем Хансен что-то нежно сказал девушке на кхмерском. Она возразила, но он настоял на своем. Я слышал, как он прошел в спальню, а потом вышел. Встав на ноги, я увидел, что девушка свернулась калачиком на кушетке, стоявшей у стены, а Хансен склонился над ней с одеялом в руках и стал заботливо подвертывать его под нее. Закончив, он выключил горевшую над ней лампу и прикоснулся к ее щеке кончиками пальцев, а потом подошел к застекленной двери и стал

смотреть на море. Полная красная луна висела над горизонтом. Дождевые тучи казались черными горами, простиравшимися через все небо.

– Как вас зовут? – спросил он меня.

– Марк, – сказал я.

– Это ваше настоящее имя? Марк?

То, что мы наверняка знаем друг о друге, подсказано нам инстинктом. Глядя на силуэт Хансена на фоне окна, на то, как он смотрит на море и как луна подчеркивает морщины и впадины на его лице, я понял, что бывший священник избрал меня своим исповедником.

– Называйте меня, как хотите, – сказал я.

* * *

Представьте себе громкий, но неуверенный, богатый оттенками голос англичанина, несколько смущенного, будто он никак не ожидал услышать то, что им произнесено. Его легкий акцент, как у ист-индского голландца. Бунгало не освещается, поскольку предназначено для разврата, и выходит на крошечный бассейн с подсветкой и альпинарий. А за этой ерундой простирается великолепное и спокойное море с широкой лунной дорожкой и звездами, отражающимися в воде, как солнечные зайчики. Несколько рыбаков, стоя во весь рост в своих сампанах, забрасывают в воду круглые сетки и медленно вытаскивают их назад.

На переднем плане – рваный силуэт громадной фигуры Хансена, который расхаживает босиком по комнате: останавливается у стеклянной двери, присаживается на ручку кресла, а потом снова бесшумно шагает в противоположный угол. И все время звучит его голос, то гневный, то задумчивый, то потрясенный, а то, подобно его телу, голос застывает буквально на несколько минут, чтобы набраться сил перед следующим тяжким испытанием.

На кушетке, подвернув по-азиатски руку под голову, спит камбоджийская девушка, закутанная в одеяло. Спит ли она? Понимает ли, что он говорит? Любит ли его? Хансен любит. Он ни разу не прошел мимо, чтобы не взглянуть на нее, не поправить одеяло у ее подбородка. Один раз он даже присел на пол возле нее и стал встревоженно вглядываться в ее закрытые глаза, приложив ладонь ко лбу, будто проверял, нет ли у нее температуры.

– Ей нужен лайм, – пробормотал он. – Кока-кола ей не поможет. Лайм.

Я уже послал за этими плодами. Наконец их принес посыльный. Хансен занялся выжиманием сока, а затем приподнял ее, чтобы она немного попила.

Его первые вопросы позволили ему уяснить мое положение в Службе. Его интересовало, каковы мои полномочия и что мне поручено сделать.

– Мне не нужна благодарность за то, что я сделал, – предупредил он. – За бомбежку деревень не благодарят.

– Но вам может понадобиться помощь, – сказал я.

В ответ он официально заявил мне, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не будет работать на Службу. Я мог бы сказать ему то же самое, но воздержался. Он раньше полагал, что работает на англичан, сказал он, а оказалось, что работает на убийц. Он был другим человеком, когда делал то, что делал. Он надеялся, что американские пилоты тоже были тогда другими.

Он поинтересовался судьбой своих подручных агентов: фермера такого-то, торговца рисом такого-то. Он спрашивал о подпольной агентурной сети, которую сам так скрупулезно

создавал на случай, если вдруг красные кхмеры вырвутся из джунглей и займут города, во что, несмотря на всяческие предостережения, ни мы, ни американцы до конца не верили. Хансен был одним из тех, кто предупреждал нас. Именно он не раз повторял, что бомбы Киссинджера – это зубы дракона, хоть сам же Хансен и помогал направлять их в цель.

– Я могу вам верить? – спросил он меня, когда я заверил, что аресты его источников не укладывались в какую-то определенную схему.

– Это – правда, – повторил я, уловив в его голосе просящие нотки.

– Значит, я их не предал, – удивленно пробормотал он. Он сидел, обхватив голову руками, будто боялся, что она развалится.

– Трудно хранить молчание, попав в руки красных кхмеров, – сказал я.

* * *

– Молчание! Господи! – Он едва не расхохотался. – Молчание! – Резко вскочив на ноги, он опять метнулся к окну.

При свете луны я различил капельки пота на его великолепном бородатом лице. Я начал было говорить о том, что Служба хотела бы рассчитаться с ним честь по чести, но где-то в середине моей речи он взмахнул руками в стороны, будто проверял, свободно ли возле него пространство. Не встретив препятствия, руки упали по бокам.

– Будь проклята Служба, – произнес он тихо. – Будь трижды проклят Запад. Мы не имеем права затевать здесь свои войны, торговать своими религиозными рецептами. Мы совершили грех против Азии: французы, англичане, голландцы, а теперь и американцы. Мы согрешили против детей рая. Господи, прости нас.

Мой магнитофон лежал на столе.

* * *

Мы находимся в Азии. В Азии Хансена. В Азии, против которой согрешили. Прислушайтесь к неистовому стрекотанию насекомых. Рассказывают, что таиландцы, да и камбоджийцы ставят крупные суммы на то, сколько раз проквакает лягушка-бык. В комнате полумрак, забыто время, и комната тоже забыта; луна вышла из поля зрения. К нам возвратилась вьетнамская война, и мы с Хансеном в камбоджийских джунглях; современных удобств здесь нет, разве что отнести к их числу американские бомбардировщики, кружащие над нами высоко в небе, подобно терпеливым ястребам, и ожидающие, когда компьютеры подскажут, какая новая цель подлежит уничтожению: например, стадо буйволов, мочу которых тайно установленные сенсоры ошибочно приняли за выхлопные газы военного эшелона, или, к примеру, ребятишки, чью болтовню сочли по ошибке за военные команды. Американские командос тайно установили эти сенсоры на партизанских тропах, указанных Хансеном, – к сожалению, однако, эти сенсоры не так хорошо информированы, как Хансен.

Мы находимся в той части страны, которую американские пилоты окрестили плохой, хотя в джунглях понятия "хороший" и "плохой" не имеют четких границ. Мы – в "освобожденном районе" красных кхмеров, служащем в качестве плацдарма для войск Вьетконга, когда те

пожелают напасть на американцев с фланга, а не в лоб, с севера. И, несмотря на внешние проявления войны, мы находимся среди людей, у которых нет представления об их общем враге, и местность эта обозначена на картах только у тех, кто воюет. Когда Хансен рассказывает об этом райском уголке, то не важно, из чьих уст это звучит: священника, грешника, ученого или шпиона.

Если проехать на джипе несколько миль вверх по проселку, то попадаешь в древний буддийский храм, который с помощью деревенских жителей Хансен освободил от зарослей и где он, по понятной причине, теперь живет, ведет записи и откуда передает сообщения по радио; по той же причине к нему стекаются посетители, появляющиеся обычно с наступлением темноты и покидающие его на рассвете. Кампонг, в котором он живет, стоит на высоких подпорках на поляне рядом с рекой, протекающей среди плодородных полей, ступенями поднимающихся к дождевому лесу. Часто садится голубой туман. Дом Хансена стоит высоко на склоне, что улучшает радиоприем и дает возможность наблюдать за всеми, кто входит в долину или покидает ее. В сезон дождей для него стало привычкой оставлять джип в деревне и добираться до дома пешком. Когда дождей нет, он приезжает на машине и часто привозит с собой полдеревни ребятишек. Не меньше дюжины из них только и ждут момента, чтобы забраться в джип и проехаться пять минут до дома Хансена.

– Иной раз среди них бывала и моя дочь, – заметил Хансен.

Рамбелоу о ней не говорил, и в досье не упоминалось, что у Хансена есть дочь. Если он скрыл ее от нас, то серьезно нарушил правила Службы, хотя, знает бог, в тот момент нам было не до этих правил. Он все-таки замолчал и уставился на меня в темноте, как бы ожидая упреков с моей стороны. Но я хранил молчание, предпочитая быть тем ухом, которого он ждал, быть может, долгие годы.

– Еще когда я был священником, я посещал камбоджийские храмы, – сказал он. – Там я влюбился в деревенскую девушку, и она забеременела от меня. Тогда в Камбодже было хорошо. Правил Сианук. Я оставался с ней до рождения ребенка. Родилась девочка. Я окрестил ее Марией. Я дал матери денег и вернулся в Джакарту, но ужасно скучал по ребенку. Послал еще денег. Я посылал деньги старосте, чтобы он присматривал за ними. Я посылал письма. Молился за ребенка и ее мать и поклялся, что когда-нибудь позабочусь о них как следует. Как только я возвратился в Камбоджу, я поселил мать в своем доме, хотя за эти годы ее красота увяла. У моей дочери было кхмерское имя, но с того дня, как она появилась у меня, я стал звать ее Марией. Ей это нравилось. Она гордилась тем, что я ее отец.

Казалось, он старался внушить мне, что Мария любила свое европейское имя. То было не американское имя, сказал он. Европейское.

– В моем доме находились и другие женщины, но Мария была единственным ребенком, и я любил ее. Она была гораздо красивей, чем я ее себе представлял. Но будь она уродливой и менее изящной, я бы любил ее не меньше. – Его голос вдруг окреп, и мне послышалось в нем предупреждение. – Так я не любил ни одну женщину, ни одного мужчину или ребенка. Можно сказать, что, за исключением моей матери, Мария была единственной женщиной, которую я любил чистой любовью. – Он пристально смотрел на меня в темноте, будто ожидая, что я усомнюсь в его любви. Но, подпав под его чары, я ни в чем не сомневался и забыл обо всем, что касалось меня самого, забыл даже о смерти своей матери. Он заполонил меня целиком.

– Стоит только принять невероятную концепцию бога, как начинаешь понимать, что истинная любовь не допускает отказа. Пожалуй, только грешник может по-настоящему понять это. Только грешник представляет, насколько беспредельно всепрощение господа.

Я кивнул с умным видом. Я подумал о полковнике Ежи. Мне было непонятно, зачем Хансену нужно было доказывать, что он не мог отказаться от дочери. И почему, когда он говорил о ней, его беспокоила собственная греховность.

– В тот вечер, когда я ехал домой из храма, в кампонге, несмотря на сухой сезон, дети меня не поджидали. Я был разочарован, потому что в тот день у нас была интересная находка, и я хотел рассказать о ней Марии. Должно быть, у них какой-то школьный праздник, но я не мог вспомнить какой. Я поднялся вверх по дороге к своему дому и позвал ее. Во дворе никого не оказалось. Сторожка была пуста. Под навесом стояли порожние кастрюли. Я снова позвал Марию, потом жену. Потом кого-нибудь. Но никто не отозвался. Я вернулся в деревню. Я пошел в дом одной из подруг Марии, затем еще в один и в другой и все звал Марию. Исчезли даже свиньи и куры. Я искал следы крови, признаки боя. Ничего не нашел. Но обнаружил следы, ведущие в джунгли. Я вернулся к себе, взял лопату и закопал свой передатчик в лесу точно посредине между двух высоких деревьев, стоявших в направлении с востока на запад, и рядом со старым муравейником, по форме напоминавшим человека. Мне была ненавистна моя работа, вся эта ложь, что я посылал вам и американцам. До сих пор ее ненавижу. Я вернулся в дом, откопал шифровальные таблицы и приемник и уничтожил их. Я сделал это с радостью. Они тоже мне были ненавистны. Я надел ботинки и набил рюкзак продовольствием на неделю. Я трижды выстрелил из пистолета в мотор джипа, чтобы вывести его из строя, и пошел по следам в джунгли. Джип был оскорбителен для меня, потому что купили его вы.

Хансен в одиночку отправился на поиски красных кхмеров. Другие бы на его месте, не будучи даже западными шпионами, едва ли решились на это, даже если бы их жены и дочери стали заложницами. Хансен был не таков. Им владела одна мысль, и, будучи человеком упорным, он поступал сообразно ей.

– Я не мог позволить себе забыть милость господню, – сказал он. На случай, если я не понял, он пояснил, что спасение девочки было спасением его бессмертной души.

* * *

Я спросил, как долго он шел. Он не знал. Во-первых, он шел по ночам, а днем отдыхал. Однако дневной свет терзал его и постепенно, вопреки правилам джунглей, стал гнать его вперед. Пробираясь сквозь лес, он вспоминал эпизоды из жизни Марии начиная с той ночи, когда он принял ее из чрева матери, перерезал пуповину при помощи ритуального бамбукового ножа и велел помогавшим ему женщинам подать воды, чтобы обмыть девочку; затем в качестве священника и отца он окрестил ее водой, назвав Марией в честь своей матери и матери Христа.

Он вспоминал ночи, когда она спала у него на руках или в тростниковой кроватке у его ног. Он видел ее при свете камина у материнской груди. Он казнил себя за ужасные годы разлуки, прожитые в Джакарте и во время подготовки в Англии. Он казнился за всю фальшь работы в Службе, за свою слабость, за то, что он назвал предательством по отношению к Азии. Он имел в виду наведение на цель американских бомбардировщиков.

Он снова переживал часы, которые провел с ней, рассказывая ей сказки или убаюкивая ее английскими и голландскими песенками. Он думал только о своей любви к ней, о том, как она ему нужна и как ей нужен он.

Он шел по этим следам, потому что других не было. Теперь он знал, что произошло. Такое случалось с другими кампонгами, но ни разу у них в округе. Партизаны окружали кампонг ночью и ждали до рассвета, когда все трудоспособное население уходило на поля. Они брали сначала их, потом прокрадывались в деревню и брали стариков и детей, а затем скот. Таким образом они пополняли запасы продовольствия и свои ряды. Они торопились, иначе разграбили бы дома, и, пока их не обнаружили, хотели вернуться в джунгли. Вскоре при свете

полной луны Хансен натолкнулся на первые ужасные доказательства своей правоты: обнаженные тела старого торговца и его жены со связанными за спиной руками. Может, они не поспевали за всеми? Или были слишком уродливы? Или стали перечить?

Хансен зашагал быстрее. Он благодарил бога, что Мария имела совершенно азиатский облик. Как правило, у детей от смешанных браков любой азиат легко различит признаки европейской крови. Хансен же, хоть и гигантского роста, был смуглый и стройный, и каким-то образом с помощью своей азиатской души он ухитрился произвести на свет девочку-азиатку.

На следующую ночь еще один труп лежал у тропы, и Хансен со страхом приблизился к нему. То была Онг Сай, любившая поспорить директриса школы. Ее рот был широко раскрыт. Пристрелили, когда стала возражать, определил Хансен и, взволнованный, прибавил шагу. В поисках Марии – его чистой любви, земной матери, каковой была его дочь, единственная хранительница его милости.

Он пытался представить, кого он преследовал. Скромных мальчишек, стучавших по ночам в двери с просьбой дать немного риса для партизан? Профессионалов с мрачно стиснутыми челюстями, принимавших улыбку азиата за признак западного разложения? Были еще, вспоминал он, эти ненормальные: шайки бездомных мародеров, сбивавшихся в кучи по необходимости и представлявших собой скорее преступников, чем партизан. Однако в группе, которая шла впереди, он распознал признаки дисциплины. Менее организованная банда задержалась бы, чтобы разграбить деревню. Они бы разбили лагерь, чтобы поесть и отпраздновать победу. Утром, после того как Хансен обнаружил Онг Сай, он особенно тщательно замаскировался, укладываясь спать.

– У меня было предчувствие, – сказал он.

В джунглях рискованно игнорировать предчувствие. Он забрался в самую чащу кустов и измазал себя грязью. Он спал, держа револьвер в руке. Он проснулся под вечер от запаха дыма и пронзительного крика. Когда он открыл глаза, то увидел направленные прямо на него стволы нескольких автоматов.

Он говорил о цепях. Партизаны джунглей, наученные идти налегке, таща на себе десятки пар наручников сотни километров, – как это могло случиться? Он все еще не понимал. И все же кто-то нес его на себе, кто-то расчистил поляну, вбил в землю кол посредине и вдел в него несколько металлических колец; затем к двенадцати металлическим кольцам пристегнули двенадцать цепей с двенадцатью особо важными пленниками, выставленными под дождь, на жару, холод, во мрак. Хансен описал устройство цепей. Для этого он перешел на французский. Наверное, решил я, он ищет защиту в другом языке: "…общая цепь, на которую были нанизаны кандалы… кандалы были надеты на ногу… меня поставили в конец цепи, потому что не проходила моя слишком широкая лодыжка…"

Я посмотрел на девочку. Она лежала, если это только было возможно, еще более неподвижно, чем прежде. Она или умерла, или находилась в трансе. Я понял, что Хансен, жалея ее, что-то от нее скрывал.

Днем, продолжал он по-французски, с ног снимали кандалы, позволяя нам встать на колени или даже отползти в сторону, хоть и недалеко, потому что мы оставались привязанными к колу и были соединены друг с другом. Только ночью, когда цепи прикреплялись к тяжелым шестам, расположенным по кругу, мы могли вытянуться во весь рост. Наличие цепей определялось количеством особо важных пленников, представлявших исключительно деревенскую буржуазию, пояснил он. Он узнал двух старейшин и костлявую сорокалетнюю вдову по имени Ра, пользовавшуюся репутацией провидицы. Здесь были и три торговца рисом братья Лю, известные своей скупостью, один из которых, кажется, был мертв, потому что лежал, свернувшись вокруг цепей, как ежик без игл. Лишь услышав, как он всхлипывает, можно было понять, что он жив.

А Хансен, так боявшийся заключения? Как он реагировал на цепи?

– Я нес их ради Марии, – быстро ответил он на французском, к которому я начинал относиться с уважением.

Пленники, не считавшиеся особо важными, находились за частоколом на кромке поляны, откуда время от времени их по одному вели или тащили в штабное помещение, не видное из-за холма. Допрос длился недолго. После нескольких часов крика раздавался пистолетный выстрел, и в джунглях вновь воцарялась настороженная тишина. С допроса не возвращался никто. Детям, включая Марию, разрешалось бродить вокруг с условием, чтобы они не приближались к пленным и не взбирались на холм, скрывавший штаб. Во время перехода некоторые из самых храбрых уже познакомились с молодыми партизанами и обхаживали их, надеясь получить какое-нибудь поручение или прикоснуться к их оружию.

Мария же сторонилась всех. Она сидела в пыли позади частокола и с утра до ночи не сводила глаз с отца. Даже когда ее мать потащили на допрос и до Хансена донеслись из-за холма ее крики, перешедшие затем в вопль о пощаде и закончившиеся, как обычно, пистолетным выстрелом, Мария ни на мгновение не отвела глаз от лица Хансена.

– Она знала? – спросил я по-французски.

– Знали все, – ответил он.

– Она любила свою мать?

То ли мне показалось, то ли Хансен действительно закрыл глаза в темноте?

– Я был отцом Марии, – ответил он, – я не был отцом их отношений.

Откуда было мне знать, что мать и дочь ненавидели друг друга? Не потому ли, что я почувствовал, что любовь Хансена к Марии была ревнивой и требовательной – абсолютной, как и всякая его любовь, исключающей соперников?

– Мне не разрешили разговаривать с ней, так же как и ей со мной, – продолжал он. – Пленные ни с кем не общались под угрозой смерти.

Даже стона было достаточно, в чем убедился один из несчастных братьев Лю, когда охранники прикладами ружей заставили замолчать его навечно и на следующее утро заменили его кем-то из-за частокола. Но Марии и ее отцу слов не требовалось. Стоицизм, который Хансен видел на лице дочери, укреплял в нем спокойную решимость, хоть он и лежал беспомощный, опутанный цепями. Пока Мария поддерживает его, он может выдержать что угодно. Они были друг для друга спасением. Ее любовь к нему была такой же яростной и целеустремленной, как и его к ней. Он в этом не сомневался. При всем его отвращении к положению пленника он благодарил бога, что пошел за ней.

Прошел день, потом еще один, а Хансен оставался прикованным к столбу, сгорая на солнце, трясясь от ночного холода, среди собственных испражнений, но взор и мысли его были все время устремлены к Марии.

Тем временем у него в голове вызревала тактика действий.

С самого начала ему было ясно, что он – знаменитость. Если бы они планировали захватить какого-нибудь европейца, то напали бы до того, как Хансен покинул дом, а затем обыскали бы и дом. Он оказался неожиданным сокровищем, и они ждали указаний, как с ним поступить. С остальными из закованных в цепи уже расправились. Исключение составили один из братьев Лю да женщина-прорицательница, которые после нескольких дней допроса появились в лагере в иной роли, оскорбляя своих бывших товарищей и заискивая перед солдатами.

Был создан класс переподготовки, и каждый вечер дети и некоторые из оставшихся в живых взрослых усаживались кружком в тени, чтобы слушать разглагольствования молодого комиссара с красной повязкой на голове. То сгорая на солнце, то замерзая, Хансен слушал пронзительный квакающий голос комиссара, пока тот час за часом изрыгал проклятия в адрес империалистов. Вначале он возненавидел эти занятия, потому что у него отнимали Марию. Но

когда он с усилием поднял голову, то увидел ее хрупкую фигурку прямо на противоположной стороне кружка, откуда она продолжала смотреть на него. Я буду тебе и матерью, и отцом, и другом, говорил он ей. Я буду твоей жизнью, даже если мне придется отдать свою.

В прежние времена он упрекал себя за ее поразительную красоту, считая это наказанием за свои случайные порывы страсти. В свои двенадцать лет Мария была, несомненно, самой красивой в лагере, и, хотя секс был запрещен кадровым работникам на том основании, что он представлял буржуазную угрозу их революционной воле, Хансен не мог не заметить, какое впечатление ее хрупкая, едва прикрытая фигурка производит на молодых солдат, провожающих ее взглядом; как их тусклые глаза упиваются видом ее маленьких грудей и покачивающихся бедер, прикрытых рваным полотняным платьицем; их мрачные глаза темнели, когда они кричали на нее. Хуже было то, что он знал: она чувствует их желание, и просыпающаяся в ней женственность отвечает на него.

Однажды утром порядок содержания Хансена в плену неожиданно изменился к лучшему, и его опасения усилились, потому что его благодетелем оказался комиссар в красной повязке. Он подошел в сопровождении двух солдат и приказал Хансену встать. Встать ему не удалось; солдаты подняли его на ноги и, держа под руки, подвели к берегу реки, где в месте впадения образовался естественный бассейн.

– Умойся, – приказал комиссар.

Сколько дней – с тех пор, как его связали, – Хансен понапрасну требовал, чтобы ему дали возможность привести себя в порядок. В первый вечер он заорал на них: "Отведите меня к реке!" Его избили. На следующее утро, рискуя быть избитым снова, он стал рваться в своих цепях и кричать, чтобы пришел кто-нибудь из начальства: он хотел добиться права оставаться личностью, которую бы те, кто его захватил, могли уважать, а следовательно, сохранить.

Под взглядами солдат Хансен собрал все свои силы, чтобы помыться и – хоть это было подобно распятию на кресте – обтереться жидкой речной грязью, прежде чем вернуться к столбу. Каждый раз он проходил в нескольких футах от своей любимой Марии, находившейся на своем обычном месте за кольцом шестов. Хотя его сердце замирало от ее близости и от храбрости в ее глазах, он не мог подавить в себе подозрение, что именно его ребенок купил ему то редкое благо, которым он теперь наслаждался. И когда комиссар сквозь зубы поздоровался с ней, а она в ответ подняла голову и слегка улыбнулась, к боли Хансена добавились еще и муки ревности.

После купания ему принесли рис – порция была больше, чем когда-либо с момента пленения. И вместо того, чтобы заставлять его есть прямо из миски, как собаку, ему развязали руки, и он смог брать рис пальцами; это позволило ему припрятать немного риса в ладони, а затем украдкой уронить его под рубаху, прежде чем ему снова заковали руки.

Весь день его не покидала мысль об этой лепешке риса под рубахой, и он старался неловким движением не смять ее. Я верну ее привязанность, думал он. Она будет восхищаться мной, а не комиссаром. С наступлением вечера его опять повели к реке, и он совершил чудо, которое замышлял. Шатаясь из стороны в сторону больше, чем нужно, он незаметно для охраны ухитрился уронить лепешку риса у ног Марии. Проходя мимо нее на обратном пути, он едва смог скрыть свое торжество, когда обнаружил, что лепешка исчезла.

И все же ее лицо оставалось непроницаемым. Только взгляд, прямой и порой безжизненный в своей преданности, говорил, что она отвечает ему безраздельной любовью. "Я заблуждался, – решил он, когда его снова заковали в цепи. – Она постигает тюремные уловки. Она чиста и выживет". Вечером он, набравшись терпения, прислушивался к политическому уроку комиссара. "Сделай его послушным, – внушал он, постоянно ведя с ней свой телепатический диалог, – усыпи его, околдуй, вотрись в доверие, не давая ничего взамен". И Мария, должно быть, услышала его, потому что по окончании занятий комиссар

подозвал ее к себе и сделал ей внушение, в то время как она, покорно слушая его, молчала. Он увидел, как она пошла за ним с опущенной головой.

На следующий день и в течение всей недели Хансен повторял свой трюк с рисом в полной уверенности, что никто, кроме Марии, его не заметил. Лепешка риса, перекатывающаяся по его животу при малейшем движении, стала для него великим утешением. "Я кормлю ее собственной грудью, я ее хранитель, ревнитель ее чистоты, я ее священник, дающий ей святое причастие".

Рис поглощал все его внимание. Он был занят тем, что придумывал все новые способы передачи его Марии: например, проходя мимо нее, он оставлял лепешку позади себя, спустив по ноге сквозь рваную штанину.

– Я зарвался, – сказал он тихо тоном кающегося грешника.

И по этой причине бог отнял у него Марию. Однажды утром, когда с него сняли цепи и повели его к воде, Марии не оказалось на месте, чтобы принять его причастие. Во время вечерних занятий он обнаружил, что ее повысили – она находилась теперь рядом с комиссаром; ему показалось, что ее голос звучал громче и увереннее других, когда они хором нараспев произносили ответ. С наступлением ночи он различил ее силуэт на фоне солдатских костров – она была среди них, как своя, и как равная разделяла с ними трапезу. На следующий день он ее не увидел вообще, так же как и день спустя.

– Я стал мечтать о смерти, – сказал он.

Но вечером, когда он, лежа навзничь и без движения, ждал в отчаянии, пока ему наденут цепи, он увидел, что к нему направляется молодой комиссар, а рядом в черном платье семенит Мария.

– Этот человек – твой отец? – спросил комиссар, когда они подошли к Хансену.

Мария не отвела глаз, но, казалось, искала в памяти ответ.

– Мой отец – Ангка, – наконец сказала она. – Ангка – отец всех угнетенных.

– Ангка означает партия, – пояснил Хансен, не ожидая вопроса. – Ангка – это организация, которой поклоняются красные кхмеры. По понятиям красных кхмеров, Ангка – это бог.

– Так, а кто твоя мать? – спросил комиссар Марию.

– Моя мать – Ангка. У меня нет другой матери – только Ангка.

– Кто этот человек?

– Он американский агент, – ответила Мария. – Он бросает бомбы на наши деревни. Он убивает наших рабочих.

– Почему он прикидывается твоим отцом?

– Он хочет обмануть нас, чтобы стать нашим товарищем.

– Проверь цепи шпиона. Да смотри, чтоб плотно сидели, приказал комиссар.

Мария наклонилась к ногам Хансена, будто преклонила колена в молитве, как он когда-то учил ее. На мгновение, наподобие исцеляющего прикосновения Христа, ее рука прикоснулась к его воспаленным щиколоткам.

– Проверь, проходит ли палец между кольцом и щиколоткой, – велел комиссар.

В панике Хансен повел себя, как вел всегда, когда на него надевали кандалы. Он напряг мышцы ноги, надеясь, что, когда расслабится, ему будет легче. Он почувствовал, как она пальцем проверяла кольцо.

– Я могу просунуть мизинец, – ответила она, показывая свой мизинчик и заслоняя телом ноги Хансена.

– Он проходит с трудом или легко?

– Я с трудом просунула его, – солгала она.

Наблюдая, как они удалялись, Хансен пришел в волнение. Вместе с черным платьем Мария приобрела нечто новое: крадущуюся походку партизана джунглей. Но теперь, впервые со времени своего пленения, Хансен спал крепко, несмотря на кандалы. Она с ними, чтобы их обмануть, уверял он себя. Господь хранит нас. Мы скоро спасемся.

Официальный следователь прибыл на лодке – этакий гладкощекий студент, серьезный и хмурый на вид. Хансен про себя так и прозвал его: студент. Группа встречавших во главе с комиссаром проводила его с берега реки до штаба за холмом. Хансен понял, что это – следователь, потому что он был единственным из всех, кто не повернул головы, чтобы взглянуть на последнего из оставшихся пленных, изнывающего от жары.

Но он посмотрел на Марию. Он остановился перед ней, вынудив остальных тоже остановиться. Он стоял перед ней, его лицо находилось близко от нее, и он задавал ей какие-то вопросы, которых Хансен не слышал. Он оставался в этой позе, выслушивая ее заученные ответы. "Моя дочь – лагерная шлюха", – думал Хансен в отчаянии. Но так ли это? Насколько ему было известно, красные кхмеры не только не поощряли, но и осуждали проституцию в своих рядах. То есть все говорило против этого. Ангка не терпит сексуальности, как однажды сказал ему француз-антрополог.

"Значит, они привлекли ее строгостью своих нравов, – решил он. – Они привязали ее к себе страстью худшей, чем разврат". Он лежал лицом вниз, моля господа позволить ему взять на себя ее невинные прегрешения.

* * *

У меня нет четкой картины допроса Хансена, поскольку ее не было и у него самого. Помню, как со мной обращался полковник Ежи: то были детские игрушки по сравнению с этим. Но в воспоминаниях Хансена чёткость тоже отсутствовала. Не вызывает сомнения, что его подвергли пыткам. Для этого соорудили деревянную решетку. И все же они старались сохранить ему жизнь, так как в перерывах между допросами давали ему есть и даже, насколько он помнит, разрешали ходить к реке, хотя, быть может, его отводили туда всего однажды, но он несколько раз тогда терял сознание.

Кроме того, его также заставляли писать, ибо в голове студента-буквоеда допрос только тогда был допросом, когда он фиксировался на бумаге. Писать становилось все труднее, а затем это вообще превратилось в пытку, хотя для этой цели его и отвязывали от решетки.

Студент – как следователь – похоже, разрабатывал две версии. Когда ему давали отпор по одной, он переключался на другую.

"Ты – американский шпион, – утверждал он, – и агент контрреволюционной марионетки Лон Нола, а также враг революции". Хансен не соглашался.

"Но ты также и католик, маскирующийся под буддиста, и как таковой отравляешь умы, пропагандируешь антипартийные предрассудки, саботируешь просвещение масс", – кричал ему студент.

Вообще студент, кажется, больше любил делать заявления, чем задавать вопросы: "А теперь, пожалуйста, назови все даты и места ваших тайных встреч с контрреволюционной марионеткой и американским шпионом Лон Нолом и назови всех присутствовавших при этом американцев".

Хансен утверждал, что таких встреч не было. Но это не удовлетворяло студента. В отчаянии Хансен стал вспоминать английские имена из народных песенок, которые когда-то

напевала ему мать: Том Пирс, Билл Брюер, Джэн Стюер, Питер Гарни, Питер Дейви, Дэниел Уиддон, Гарри Хок…

– А теперь напиши имя руководителя этой шайки, – сказал студент, переворачивая страницу своего блокнота. Глаза студента, заметил Хансен, были часто полузакрыты. Я припомнил, что то же самое бывало и у Ежи.

– Коббли, – прошептал Хансен, оторвав глаза от стола, у которого его усадили. Томас Коббли, написал он. Сокращенно Том. Кличка – "Дядюшка".

Важно было не перепутать даты. Хансен боялся, как бы его не обвинили в непоследовательности, если он забудет придуманные им самим даты. Поэтому он назвал день рождения Марии и своей матери и дату казни отца. Он изменил год, чтобы тот подходил к году прихода к власти Лон Нола в Пномпене. Местом явки он выбрал сады дворца Лон Нола, которыми всегда любовался, направляясь в свою любимую курильню.

Признаваясь в этой чепухе, он боялся, как бы по ошибке не выдать подлинную информацию, так как теперь ему было ясно, что у студента не было никаких данных о том, чем он в действительности занимался, и что обвинения против него строились лишь на том, что он – с Запада.

– Пожалуйста, назови имена всех шпионов, которым ты платил в течение последних пяти лет, а также каждый акт саботажа, совершенный тобой против народа.

Сколько бы Хансен прежде ни напрягал воображение, пытаясь представить свой провал, он никогда не подумал бы, что это может произойти от недостатка изобретательности. Он приводил имена святых мучеников, на примере которых прежде готовил себя к будущим пыткам; имена восточных ученых, давно почивших; авторов специальных работ по лингвистике и филологии. Шпионов, сказал он. Всех шпионов. И написал их фамилии почерком, который повторял на бумаге конвульсии его руки от боли, долго еще не утихавшей после того, как они отключали машину.

В отчаянии он записал также имена офицеров полковника Т.Э.Лоуренса, которые запомнил, поскольку несколько раз перечитывал "Семь столпов мудрости". Он описал, как по личному приказу Лон Нола организовал отравление урожая и скота священников-буддистов. Студент отправил его за решетку и добавил боли.

Хансен описал, как проводил подпольные занятия по империализму и как помогал пропагандировать буржуазные ценности и семейные добродетели. Студент широко раскрыл глаза, выразил сочувствие и увеличил боль.

Он выдал им практически все. Он описал, как зажигал сигнальные огни для наводки американских бомбардировщиков и распространял слухи, что самолеты были китайские. Он был на грани того, чтобы рассказать, кто помогал ему выводить американских командос на тропы снабжения, но, к счастью, потерял сознание.

Во время всех этих пыток в сердце у него жила Мария, это ее призывал он, чтобы умерить боль, ее руки возвращали его к жизни, когда его тело готово было с ней расстаться, и ее глаза следили за ним с любовью и жалостью. Именно Марии он поклялся выжить и во имя Марии вытерпел все мучения. Однажды, когда он находился между жизнью и смертью, ему привиделось, будто он распростерт на дне лодки студента, а Мария в своем черном платье сидит на веслах и гребет, направляя лодку в рай. Он выжил. "Они не убили меня. Я признался во всем, и они меня не убили".

Но он не во всем признался. Он сохранил верность своим помощникам и не рассказал студенту о радиопередатчике. А когда на следующий день его снова притащили на допрос и пристегнули к решетке, он увидел, что рядом со студентом сидит Мария, а перед ней на столе лежат его показания. У нее была короткая стрижка, ее лицо ничего не выражало.

– Вы ознакомились с показаниями этого шпиона? – спросил ее студент.

– Я ознакомилась с его показаниями, – ответила она.

– Точно ли описан в показаниях шпиона его образ жизни, который вы могли наблюдать, находясь в его обществе?

– Нет.

– Почему? – спросил студент, открывая блокнот.

– Показания неполные.

– Объясните, в чем показания шпиона неполные.

– Шпион Хансен хранил в своем доме рацию, с помощью которой он подавал сигналы американским бомбардировщикам. Кроме того, имена, названные им в показаниях, ложные. Они взяты из английской буржуазной песни, которую он мне пел, когда притворялся, что был моим отцом. Он также встречался в нашем доме с империалистическими солдатами и отводил их в джунгли. Кроме того, он не упомянул, что его мать англичанка.

Студент, казалось, был разочарован.

– О чем еще он не рассказал? – спросил он, разглаживая новую страницу ребром своей маленькой руки.

– Во время своего заключения он много раз нарушал режим. Он припрятывал еду и пытался заручиться поддержкой товарищей в надежде сбежать.

Студент вздохнул и продолжал писать.

– О чем еще он не сообщил? – спросил он терпеливо.

– Он неправильно носил на ногах цепи. Когда их надевали ему на ноги, он нарочно напрягался, чтобы цепи не жали и он мог сбежать.

До сих пор Хансену удавалось убедить себя, что Мария просто притворяется. Но сейчас – нет. Это не притворство, это было на самом деле.

– Он – поджигатель войны! – закричала она сквозь слезы. – Он развращает наших женщин у себя дома при помощи наркотиков! Он прикидывается, будто хочет заключить буржуазный брак, а потом принуждает жену переносить его развратные привычки! Он спит с девочками моего возраста! Он делает вид, что он – отец наших детей и что у нас не кхмерская кровь! Он читает нам буржуазную литературу на западных языках, чтобы развратить нас! Он совращает нас поездками в своем джипе и империалистическими песнями!

Он прежде никогда не слышал, чтобы она кричала. Как, по-видимому, и студент, казавшийся смущенным. Но ее никто не остановил. Она настойчиво отказывалась от него. Она рассказала, как он запрещал матери любить ее. Она была полна к нему ненависти, которая казалась ему неподдельной, такой же, как и его совершенная и беспредельная любовь по отношению к ней. Она содрогалась от бушевавшей в ней ненависти, как обманутая женщина, и ее лицо было искажено этой ненавистью и сознанием вины. Она выбросила вперед руку в классическом обвиняющем жесте. Ее голос звучал, как голос совершенно чужого человека.

– Убейте его! – закричала она. – Убейте развратителя нашего народа! Убейте того, кто портит нашу кхмерскую кровь! Убейте западного лгуна, который утверждает, будто мы отличаемся друг от друга! Отомстите за народ!

Студент сделал последнюю запись и приказал увести Марию.

– Я молился за ее прощение, – сказал Хансен.

* * *

В доме стало светло. Я понял, что наступил рассвет. Хансен стоял у окна, устремив взгляд на туманную равнину моря. Девочка лежала на кушетке, где провела всю ночь, ее глаза были закрыты, голова покоилась на руке, пустая банка из-под кока-колы стояла на полу. Голос Хансена зазвучал жестче, и я испугался, не начнет ли он с наступлением утра злиться на меня. Но я понял, что злится он на себя. Он вспоминал свой гнев, когда его несли, связанного, но не закованного в цепи, на помост, где он спал, если сном можно назвать состояние, когда твое тело умирает от боли, а из ушей и носа течет кровь. Гнев на себя за то, что он вложил в свое дитя так много отвращения.

– Я все еще был ее отцом, – продолжал он по-французски. – Я ни в чем не винил Марию, во всем – только себя. Надо было мне спасаться раньше, а не рассчитывать на ее помощь. Надо было пробиваться, пока еще были силы, вместо того чтобы полагаться на ребенка. Не нужна мне была эта работа. Из-за нее она попала в беду. Я проклял вас всех. До сих пор проклинаю.

Говорил ли я? Я боялся, как бы не сказать что-нибудь такое, что могло остановить его.

– Ее тянуло к ним, – говорил он, оправдывая ее. – То был ее народ, партизаны джунглей, готовые погибнуть за веру. Почему она должна их отвергать? Я был последним препятствием на ее пути к воссоединению со своими, – объяснял он. – Я был чужеземец, развратитель. Почему она должна верить, что я ее отец, когда они утверждали обратное?

Лежа за частоколом, он вспоминал тот день, когда молодой комиссар одел ее в черные цвета невесты. Он вспоминал, с каким омерзением она смотрела на него сверху вниз – грязное, избитое ничтожество у ее ног, несчастного западного шпиона. А рядом с ней стоял привлекательный молодой комиссар с красной повязкой на лбу. “Я обручена с Ангкой, – говорила она ему. – Ангка – это ответ на все мои вопросы”.

– Я остался один, – сказал он.

Наступила ночь, и он подумал, что если его расстреляют, то сделают это днем. Он ужаснулся при мысли о том, как сможет Мария жить с сознанием того, что она была причиной смерти отца. Он представил, каково будет ей в зрелом возрасте. Кто ей тогда поможет? Мысль о смерти все больше тревожила его. Ибо это будет смерть и для нее тоже.

На какое-то время он, видимо, впал в забытье, потому что на рассвете обнаружил на полу миску с рисом, которой прежде там не было: как бы плохо ему ни было, запах риса он почувствовал бы. Этот рис, не скатанный в лепешки, не прижатый к голому телу, а настоящая белая горка риса, порция дней на пять. Сначала он почувствовал себя слишком усталым, чтобы удивиться. Перевернувшись на живот, чтобы поесть, он обратил внимание на тишину. К этому часу поляна обычно наполнялась звуками утренней побудки военного лагеря: готовящихся к наступлению и поющих солдат, всплесков воды при умывании, доносящихся с берега реки, звяканья посуды и оружия и хора голосов, произносящих лозунги под руководством комиссара. Когда же он прислушался, то не услышал ни пения птиц, ни пронзительных воплей мартышек, не говоря уж о человеческих голосах.

– Они ушли, – сказал он откуда-то позади меня. – Они свернули лагерь ночью и увели Марию с собой.

Он поел еще риса и снова впал в забытье. Почему они не убили меня? Мария уговорила их. Мария спасла мне жизнь. Хансен стал тереть свои веревочные путы о стену частокола. К ночи, весь в ссадинах и преследуемый мухами, он лежал на берегу реки и обмывал свои раны. Затем он ползком добрался на ночлег до загородки, а утром, прихватив с собой остатки риса, тронулся в путь. На сей раз, не обремененные ни пленными, ни скотом, они не оставили за собой следов.

И все-таки он пустился на поиски Марии.

Несколько месяцев – Хансен полагает, месяцев пять или шесть – он провел в джунглях, перебираясь из одной деревни в другую, не останавливаясь ни в одной и никому не доверяя, –

мне кажется, слегка свихнувшийся. Где можно, он расспрашивал об отряде Марии, но так как он не мог никак описать его, то поиски носили весьма общий характер. Он слышал об отрядах, в которых были девушки-бойцы. Он слышал об отрядах, целиком состоящих из женщин. Он слышал, что женщин посылали в города, чтобы, занимаясь проституцией, они собирали информацию. Он представлял Марию во всех этих ситуациях. Однажды ночью он тайком пробрался в свой прежний дом, надеясь, что она укрылась там. Деревня была уже сожжена.

Я спросил, пострадал ли при этом спрятанный им передатчик.

– Я не посмотрел, – сказал он. – Мне было безразлично. Я всех вас ненавидел.

В одну из ночей он пробрался к тетке Марии, жившей в отдаленной деревне. Та стала швырять в него кастрюли, и ему пришлось бежать. И все же в нем росла решимость спасти свою дочь, потому что он знал, что обязан спасти ее от нее самой. На ней лежит проклятие его абсолютизма, подумал он. Она ожесточена и упряма – и во всем этом виноват я сам. Я запер ее в тюрьме своих собственных импульсов. Лишь отцовская любовь могла настолько ослепить его, что он пренебрег пониманием этого. Теперь глаза у него открылись. Он видел, что ее жестокость и бесчеловечность были своеобразным доказательством ее преданности. Он видел, что она, как и он прежде, переживает период беспорядочных исканий, хоть и не обладает его интеллектуальным уровнем и религиозной подготовкой; что она, подобно ему самому, смутно надеялась, что реализует себя, став частью большой мечты.

О своем переходе таиландской границы он говорил мало. Он направился к югу, к Паилину. Ему сказали, что там есть лагерь для кхмерских беженцев. Он преодолел горы и пересек малярийные болота. Добравшись до места, он осаждал справочные службы и расклеил описание Марии на всех лагерных досках объявлений. Как он добился этого без документов, денег или связей, сохраняя при этом в тайне свое пребывание в Таиланде, до сих пор остается для меня загадкой. Но ведь Хансен был опытным профессиональным агентом, пусть даже он и отверг нас. Ничто не могло остановить его. Я поинтересовался, почему он не обратился за помощью к Рамбелоу, но он лишь презрительно отмахнулся.

– Я больше не был империалистическим агентом. Я не верил ни во что, кроме моей дочери.

Однажды в конторе какой-то благотворительной организации он встретил американку, которая, кажется, видела Марию.

– Она выбыла, – сказала та осторожно.

Хансен настаивал. Мария была одной из полдюжины девушек, рассказала женщина. Они занимались проституцией, но находились под охраной партизан. Когда они не развлекали мужчин, то держались в стороне от остальных, и справиться с ними было нелегко. Однажды они вырвались на свободу. Она слышала, что их схватила таиландская полиция. Больше она их не видела.

Женщина, похоже, знала что-то еще, но сомневалась, стоило ли об этом говорить. Однако Хансен не оставил ей выбора.

– Мы боялись за нее, – сказала она. – Девушка называла себя разными именами. Она приводила разные версии того, как к нам попала. Врачи сомневались, находится ли она в здравом уме. На каком-то этапе она, похоже, действительно забыла, кто она есть на самом деле.

Хансен пришел в таиландскую полицию и с помощью угроз и уговоров узнал, где она находится: в полицейском общежитии, где развлекались их офицеры. Никто не поинтересовался, кто он и есть ли у него документы. Он человек с глазами навыкате, фаранг, говорящий на кхмерском и по-таиландски. Мария прожила там три месяца, а затем исчезла. По мнению любезного сержанта, она была девушка со странностями.

– С какими? – спросил Хансен.

– Говорила только по-английски, – ответил сержант.

Там была еще одна девушка, подруга Марии, которая пробыла там дольше и вышла замуж за капрала. Хансен узнал ее имя.

* * *

Он замолчал.

– Вы нашли ее? – спросил я после продолжительной паузы.

Впрочем, ответ я знал и знал его давно, хоть и не отдавал себе в этом отчета. Он сидел у изголовья кушетки и нежно поглаживал голову девушки. Она медленно поднялась и стала протирать глаза своими ручками, прикидываясь, будто все время спала. Мне же кажется, она всю ночь слушала нас.

– Она больше ничего не понимала, – объяснил Хансен, продолжая поглаживать ее. Он имел в виду публичный дом, где он ее обнаружил. – Ничего ей больше не было нужно, правда, Мария? Никаких красивых слов, ни обещаний. – Он привлек ее к себе. – Она мечтает лишь об одном: быть любимой. Своим народом. Нами. Мы все должны любить Марию. Вот что служит ей утешением.

Должно быть, он принял мое молчание за упрек, потому что повысил голос.

– Она желает быть безобидной. Разве это так уж плохо? Она хочет, как и все остальные, чтобы ее оставили в покое. Было бы хорошо, если бы все мы желали того же. Ваши самолеты и шпионы и ваше краснобайство не для нее. Она не ребенок доктора Киссинджера. Она только хочет жить где-нибудь незаметно, так, чтобы доставлять удовольствие и никому не причинять вреда. Что хуже? Ваш бордель или ее? Убирайтесь из Азии. Вам до нее нет никакого дела, никому из вас. Мне стыдно, что я вам помогал. Оставьте нас в покое.

– Я далеко не все расскажу Рамбелоу, – сказал я, вставая.

– Как вам угодно.

Стоя в дверях, я окинул их взглядом. Девушка пристально смотрела на меня, как, наверное, смотрела на закованного в цепи Хансена – немигающим взглядом, глубоким и неподвижным. Мне кажется, я знал, что у нее на уме. Я заплатил за нее, но ею не воспользовался. Она размышляла, не потребую ли я что-нибудь за свои деньги.

Рамбелоу отвез меня в аэропорт. Как и Хансен, я бы предпочел обойтись без него, но нам нужно было поговорить о делах.

– Сколько вы ему обещали? – вскричал он в ужасе.

– Я сказал, что ему положены деньги и наша всевозможная защита. Я сообщил, что вы пошлете ему чек на пятьдесят тысяч долларов.

Рамбелоу пришел в ярость.

– Чтоб я дал ему пятьдесят тысяч? Мой дорогой, да он полгода будет пить и разнесет эту историю по всему Бангкоку. А его камбоджийская проститутка? Она с ним заодно, будьте уверены.

– Не беспокойтесь, – сказал я. – Он отказался.

Это так поразило Рамбелоу, что его возмущение окончательно улетучилось, и весь остаток пути он хранил оскорбленное молчание.

В самолете я слишком много пил, а спал слишком мало. Однажды после дурного сна мне пришла в голову крамольная мысль о Рамбелоу и Пятом этаже. Хорошо бы, подумал я,

отправить всю эту шайку, включая Смайли, в джунгли вместо Хансена. Хорошо бы заставить их бросить все ради надуманной невероятной страсти, а потом узнать, что предмет любви восстал против них, чтобы доказать, что единственной наградой за любовь может быть только сама любовь и что научить она может только покорности.

И все же я был удовлетворен – я и по сей день доволен, когда вспоминаю о Хансене. Я нашел то, что искал: личность, подобную мне самому, в поисках смысла жизни обнаружившую иную, достойную ее цель; того, кто заплатил огромную цену, но не счел ее жертвой; кто будет продолжать платить ее до самой смерти; кому наплевать на компромисс, на собственную гордость, на нас всех и чужое мнение; чья жизнь посвящена лишь тому, что имеет для него значение, и он обрел свободу. Дремлющий во мне обнаружил шкалу, по которой следует измерять мои собственные пошленькие увлечения.

Так что, когда через несколько лет я стал главой Русского Дома лишь для того, чтобы увидеть, как мой ценный джо предал свою родину ради любви, я никак не мог изобразить возмущение, которого от меня ждали и требовали мои хозяева. Кадровик поступил не так глупо, когда упек меня в Следовательский отдел.

Глава 10

Мой занозистый засекреченный журналист Мэггс пытался спровоцировать Смайли на разговор о безнравственности нашей работы. Он вынуждал Смайли признать, что все хорошо, что хорошо кончается. Подозреваю, что он хотел распространить этот принцип на жизнь вообще, ибо был безжалостным и одновременно бесцеремонным человеком и в нашем деле желал найти своеобразную лицензию на отказ от каких бы то ни было угрызений совести.

Но Смайли не доставил ему такого удовольствия. Вначале казалось, что он вот-вот рассердится, чего я от него и ждал. Но он все-таки сдержался. Он начал было говорить, но запнулся и замолчал, и я подумал, не пора ли объявить перерыв. Но, к моему облегчению, он взял себя в руки, и я понял, что он просто отвлекся каким-то собственным воспоминанием, одним из многих тысяч, составляющих его тайную суть.

– Видите ли, – начал он, отвечая, как всегда, по существу, – весьма важно, чтобы в свободном обществе люди, выполняющие нашу работу, оставались несмирившимися. Верно и то, что нам приходится сидеть за одним столом с дьяволом и порой довольно близко от него. И, как всем известно, – его лукавый взгляд на Мэггса вызвал всплеск благодарного смеха, – частенько находиться в компании дьявола бывает гораздо приятнее, чем иметь дело с людьми благочестивыми, не так ли? И тем не менее наша одержимость добродетелью остается при нас. Ведь своекорыстие так ограничивает! Как, впрочем, и целесообразность. – Он снова замолчал, все еще погруженный в собственные мысли. – Все, что я хочу сказать, заключается, пожалуй, в следующем: время от времени каждый из нас бывает готов поддаться соблазну гуманности. Думаю, не стоит считать это слабостью, а следует в этом хорошо разобраться.

Запонки, осенило меня. Джордж вспомнил о старике.

Я долго не мог сообразить, почему эта история столько времени преследует меня. Потом понял, что она произошла именно тогда, когда мои отношения с сыном Адрианом были почти на нуле. Он твердил, что университет его не интересует и что вместо этого он найдет хорошо оплачиваемую работу. Я ошибочно принял его непоседливость за стремление к материальным благам, а его мечту о независимости – за лень и однажды вечером вспылил и обидел его, а потом неделями не мог прийти в себя от стыда. Именно тогда я и раскопал эту историю.

Потом я вспомнил еще, что у Смайли не было детей и что, наверное, его непонятная роль в этом деле объясняется в какой-то мере этим обстоятельством. Мне стало немного не по себе при мысли, что он, быть может, заполнял в себе пустоту, зиявшую на месте тех отношений, которых никогда не имел.

Наконец, я вспомнил, что через несколько дней после того, как я наткнулся на эти бумаги, мне пришло письмо, в котором анонимный автор называл беднягу Фревина русским шпионом

и уверял, что, мол, между Фревином и стариком была какая-то непостижимая схожесть, проявлявшаяся в собачьей преданности и в потерянных мирах. И этим, сами понимаете, доказывалась связь между ними, но я не знаю пока ни одного дела, которое бы не стряпалось из сотен других.

Наконец, и тот факт, что, как это часто бывало в моей жизни, Смайли в который раз оказался моим предтечей, ибо стоило мне усесться за незнакомый стол в Следовательском отделе, как я тут же начинал повсюду обнаруживать его следы: в наших пыльных архивах, в журнале дежурных офицеров и в мечтательных улыбках пожилых секретарш, с приторным благоговением старых весталок называвших его то чуть ли не богом, то плюшевым медвежонком, то акулой-убийцей, хотя эту его черту они пытались старательно замазать. Они даже демонстрировали его фарфоровую чашку с блюдцем (от Томаса Гуда с Саут-Одли-стрит – а как же иначе?) – подарок Джорджу от Энн, поясняли они с обожанием; Джордж отказал ее Отделу после того, как впал в немилость, а потом был восстановлен в правах в Главном управлении. Но, конечно же, пользоваться чашкой Смайли, как и чашей Грааля, простому смертному было запрещено.

Отдел, как вы уже, вероятно, догадались, приравнивался в нашей Службе к Сибири, и Смайли, с удовлетворением обнаружил я, отбыл в этой ссылке не один, а два срока: первый – за свое наглое предположение, что Пятый этаж делает слона из мухи, подкинутой Московским центром, а второй – несколько лет спустя – за то, что оказался прав. Отдел обладал не только однообразием Сибири, но и ее территориальной отдаленностью: он размещался не в главном корпусе, а в скоплении мрачноватых кабинетов в цокольном этаже здания, выходящего на Нортумберлендское авеню у северного торца Уайтхолла.

Лучшие дни Отдела, как и большинства архитектурных сооружений вокруг него, остались позади. Он был учрежден в годы Второй мировой войны и предназначался для того, чтобы принимать заявления от посторонних лиц, выслушивать их подозрения и успокаивать страхи или же, если они и впрямь наталкивались на что-то дельное, отвлекать их или запугивать, так чтобы заставить их молчать.

Если вам показалось, что ваш сосед поздно ночью, скажем, склонился над радиопередатчиком; или же если вы заметили, как странно в окне мигают огни, но из скромности или от недоверия не сообщили об этом в свой полицейский участок; если таинственный иностранец, в автобусе интересовавшийся вами и местом вашей работы, неожиданно оказался рядом с вами в вашей местной пивной; если ваш тайный любовник признался вам – от одиночества, из-за бравады или от отчаянной потребности выглядеть в ваших глазах более интересным, – что работает на немецкую разведку, так в этом случае, после переписки с каким-то несуществующим помощником несуществующего заместителя министра из Уайтхолла, весьма вероятно, как-нибудь к вечеру вас вызовут, чтобы бросить вызов блиц-кригу, и вы с замирающим сердцем пойдете вместе с сопровождающим по обшарпанному, заваленному мешками с песком коридору, направляясь в кабинет 909, где майор такой-то или капитан такой-то, фальшивые, как трехдолларовые банкноты, вежливо предложат вам изложить свое дело откровенно, не опасаясь никаких последствий.

Иногда, как повествует тайная история Отдела, эти зловещие доносы перерастали – а порой и сейчас перерастают – в серьезные дела, хотя направление деятельности Отдела сильно изменилось и охватывает теперь такие области, как рассмотрение добровольных предложений сотрудничества со Службой, анонимных доносов, вроде доноса на беднягу Фревина, и даже – в помощь презираемым службам безопасности – проведение опросов на предмет проверки благонадежности, что считается худшей из сибирских ссылок, так как, все еще оставаясь сотрудником Службы, вы оказываетесь далеко-далеко от серьезных операций Русского Дома.

И тем не менее из подобного рода наказаний можно извлечь не только урок смирения. Офицер разведки – ничто, если он потерял способность слушать, а Джордж Смайли,

полненький, неспокойный, непритязательный, неутомимый рогоносец Джордж, постоянно протирающий свои очки подкладкой галстука, пыхтящий и вздыхающий в ответ своим вечным мыслям Джордж был лучшим из всех нас слушателем.

Смайли умел слушать своими припухшими, сонными глазами; он слушал самим наклоном своего кургузого тела, своей неподвижностью и понимающей улыбкой. Он умел слушать, потому что, за единственным исключением, которым была его жена Энн, он ничего не ожидал от своих друзей-коллег, ничего не критиковал и прощал в вас самое плохое еще до того, как вы это сами обнаружили. Он слушал лучше, чем микрофон, потому что его ум тут же реагировал на самое существенное, и он, казалось, обладал способностью определять существенное, еще не зная, куда оно приведет.

Именно так Джордж слушал мистера Артура Уилфреда Хоторна, проживающего в доме 12, Дин, в Руслип, за полжизни до меня в том самом кабинете 909, где теперь сидел я, с любопытством листая пожелтевшие страницы досье с пометкой "подлежит уничтожению", которое я откопал на полках хранилища Отдела.

Я начал свои поиски лениво, можно даже сказать, легкомысленно, как если бы рассеянно перелистывал номер "Татлера" в своем клубе. И тут я понял, что читаю страницу за страницей, исписанные почерком Смайли с заостренными по-немецки буквами "т", замысловатыми греческими "е" и с его легендарной закорючкой вместо подписи. Там, где в этом спектакле он был вынужден выступать лично, – а создавалось впечатление, что он старался всячески избегать этого вульгарного тяжелого испытания, – там он просто обозначал себя буквами "д.о." – "дежурный офицер". А поскольку он славился своим отвращением к инициалам, то сразу возникало ощущение его скрытного, даже затворнического характера. Обнаружь я неизвестное произведение Шекспира – и тогда не пришел бы в столь сильное возбуждение. Здесь было все: первое письмо Хоторна, расшифрованная магнитофонная запись бесед с ним, завизированная лично самим Смайли, и даже расписки Хоторна в получении им суточных и денег на карманные расходы.

От моей скуки не осталось и следа. Я больше не переживал свое понижение и не обращал внимания на тишину огромного пустого дома, в котором я был обречен находиться. Я был здесь с Джорджем и ожидал услышать шарканье башмаков преданного служаки Артура Хоторна, идущего по коридору на беседу со Смайли.

"Уважаемый сэр", – пишет он "Начальнику Разведки Министерства Обороны". Уже по этим строчкам любому англичанину видно, к какому классу он принадлежит, стоит только взглянуть на эти прямо-таки имперские заглавные буквы, столь обожаемые необразованными людьми. Я представил себе, как он выписывал их, возможно, даже пользуясь словарем. "Я желал бы, сэр, Просить Встречи с вашими Сотрудниками относительно Персоны, выполнявшей Специальное Задание Английской Разведки на высшем Уровне, чье Имя так же Важно для нас с Супругой, как и для Вас, но которое я соответственно не имею права назвать в этом Письме".

Вот и все. Подпись: Хоторн, А.У., уоррент-офицер II класса в отставке. Иными словами, Артур Уилфред Хоторн, как впоследствии выяснили Смайли со своим помощником по списку избирателей, а потом и по материалам военного ведомства. Родился в 1915 году, записал тщательно Смайли в разделе биографических данных Хоторна. Мобилизован в 1939 году, служил в восьмой армии от Каира до Эль-Аламейна. Бывший старший сержант Артур Уилфред Хоторн дважды ранен во время боевых действий, имеет за все его заслуги три благодарности и одну медаль за доблесть, демобилизован без единого пятнышка в характеристике, "достойнейший пример лучшего солдата в мире", написал, не скупясь на похвалу, командир в его характеристике.

Я знал, что как настоящий профессионал Смайли пришел в кабинет задолго до прибытия своего клиента, точно так же, как последние несколько месяцев это делал я; уселся за тот же обшарпанный сосновый желтый стол времен войны, обожженный по передней кромке, если

верить легенде, вандалом-немцем; с тем же самым замшелым телефоном с буквами и цифрами на диске; с той же раскрашенной от руки фотографией королевы в 20-летнем возрасте верхом на коне. Я вижу, как Джордж, хмурясь, внимательно смотрит на часы, затем корчит недовольную мину, глядя на привычный для здешнего места беспорядок, ибо с незапамятных времен идет затяжная война между нами и министерством по поводу того, кто должен производить здесь уборку. Я вижу, как он достает из рукава носовой платок – он делает это с трудом, ибо ни один жест не достается Джорджу без борьбы, – и обтирает им сиденье своего деревянного стула, а затем проделывает то же самое со стулом Хоторна по другую сторону стола. Затем, как это не раз делал и я, он оказывает ту же услугу королеве, устанавливает рамку прямо и возвращает блеск ее молодым глазам идеалистки.

Дело в том, что Джордж, как и подобает хорошему офицеру разведки, уже пытается представить себе чувства своего подопечного. Бывший уоррент-офицер наверняка рассчитывает, что здесь царит порядок. Затем я вижу, как сам Хоторн, пунктуальный до минуты, появляется в сопровождении швейцара: его парадный костюм застегнут на все пуговицы, будто мундир, а носки его начищенных башмаков блестят в темноте как маленькие фонарики. Смайли описал его внешний вид лаконично, но точно: рост пять футов и семь дюймов, коротко остриженные седые волосы, чисто выбрит, вид ухоженный, осанка военная. Другие характеристики: немного прихрамывает на левую ногу, носит армейские ботинки.

– Хоторн, сэр, – четко представился он и замер, вытянувшись по стойке смирно. Смайли не без труда убедил его сесть.

В тот день Смайли был майором Ноттингэмом и имел солидное удостоверение с фотокарточкой. Когда я читал его отчет о встрече, у меня в кармане находилось удостоверение на имя полковника Неда Аскота. Не спрашивайте, почему Аскота, хотя и здесь, выбирая себе псевдоним, я снова непроизвольно копировал один из маленьких обычаев Смайли.

– В каком полку служили, сэр, если мне будет позволено спросить? – поинтересовался Хоторн, усевшись.

– К сожалению, офицер общестроевой службы, – ответил Смайли, так как иначе нам было отвечать не положено.

Уверен, что Смайли, как, впрочем, и мне, было нелегко назвать себя нестроевым офицером.

Как доказательство лояльности Хоторн принес свои завернутые в тряпицу медали. Смайли любезно осмотрел их.

– Речь идет о нашем сыне, сэр, – сказал старик. – Мне надо вас спросить. Жена – ну, она об этом и слышать не хочет, говорит, это все чепуха. А я ей твержу, что надо спросить вас. Даже если вы не дадите ответа, говорю я ей, то я буду считать свой долг по отношению к сыну выполненным, если спрошу вас о нем.

Смайли промолчал, но уверен, его молчание было приветливым.

– Кен был единственным нашим сыном, понимаете, майор, так что это естественно, – произнес Хоторн извиняющимся тоном.

Смайли снова помедлил с ответом. Не говорил ли я, что он любил слушать? Смайли умел получать ответы на вопросы, которых даже не задавал, лишь благодаря тому, с каким искренним вниманием он слушал.

– Мы не выведываем секретов, майор. Нам не нужно знать, что не положено. Но миссис Хоторн стала слаба здоровьем, сэр, и хочет узнать правду, пока жива. – Он заранее приготовил вопрос и теперь его задал. – Был ли наш мальчик, наш Кен, преступником или на самом деле работал на вас за линией фронта в России?

И вот тут, можно сказать, я впервые опередил Смайли, хотя бы потому, что пять лет провел в Русском Доме и довольно хорошо представлял себе проводившиеся там в прошлом

операции. Я почувствовал, что улыбаюсь, и мой интерес к этому делу возрос еще больше, если только это было возможно. Но на лице Смайли, я убежден, улыбки не было. Его лицо, думаю, застыло в неподвижности маски китайского мандарина. Быть может, он поправлял очки, которые, казалось, были ему велики. Наконец он спросил Хоторна, спросил серьезно, без тени сомнения, почему тот решил, что это именно так.

– Кен рассказал мне, сэр, вот почему. – По-прежнему никакой реакции со стороны Смайли, один вид которого приглашает говорить дальше. – Понимаете, миссис Хоторн не хотела навещать Кена в тюрьме. Это делал я. Каждый месяц. Он отбывал пять лет за серьезное членовредительство и еще три за алкоголизм. В те времена существовало ПЗ, предварительное заключение. Сидим мы в тюремной столовой – я и Кен – за столом. И вдруг Кен наклоняется ко мне и говорит своим низким голосом: "Больше не приходи сюда, пап. Мне трудно. Понимаешь, меня не засадили в тюрьму. Я – в России. Меня специально сюда привезли, чтобы показать тебе. Я работаю в разведке, но не говори маме. Пиши мне – это просто, мне перешлют. И я отвечу, как будто пишу из тюрьмы, потому что приходится прикидываться заключенным: тюрьма – самая хорошая для нас крыша. На самом деле, пап, я служу нашей стране, как ты, когда был с Крысами пустыни [20], потому-то лучшие из нас и вынуждены скрываться". Больше я не просил свидания с Кеном. Я решил, что надо подчиниться. Я, конечно, писал ему. В тюрьму. Просто Хоторну и его номер. А через три месяца он отвечал нам на тюремной бумаге, и каждый раз будто письмо писал другой. Иногда приходили длинные письма, будто он сердился, иной раз – короткие, будто у него не было времени. Пару раз попадались в письме иностранные слова, которые я не понимал, обычно зачеркнутые, как будто бы он не мог совладать со своим языком. Иной раз намек мне подбросит. "Мне холодно, но не опасно", – скажет. "На прошлой неделе вкалывал больше, чем нужно", – говорит. Я не рассказывал жене, потому что было нельзя. Кроме того, она бы и не поверила. Когда я показал ей письма, она их оттолкнула – слишком больно ей было. Но когда Кен умер, мы пошли в морг, и нам показали его труп, весь изрезанный. Двадцать ножевых ран, и никого не привлекли к ответу. Она не расплакалась и сейчас не плачет, но лучше бы резали ее. По дороге домой в автобусе я не сдержался. "Кен – герой", – сказал я ей. Я старался расшевелить ее, потому что она словно одеревенела. Я взял ее за рукав и подергал, чтобы она слушала. "Он не какой-нибудь каторжник, – говорил я. – Не таков наш Кен. И никогда им не был. И его не в тюрьме порешили. Это все красные в России". И я ей рассказал о запонках. "Кен выдумывает, – сказала она. – Как всегда. Он не видит разницы между правдой и вымыслом, и всегда так было; в том-то и беда".

Когда нужно скрыть свои чувства, у следователей, как и у священников или врачей, есть своеобразное преимущество. Они могут задать вопрос, что я бы тоже сделал.

– Какие запонки, старший сержант? – спросил Смайли, и я увидел, как опустились его веки и как ушла в плечи его голова, и он приготовился слушать рассказ старика.

– "Нам не дают ордена, отец, – говорит мне Кен. – Это опасно. Ведь об этом надо сообщать в газетах, и все об этом узнают. Иначе у меня тоже были бы медали, как у тебя. Может быть, даже получше, если уж говорить откровенно, вроде креста Виктории [21], потому что из нас выжимают все, что только можно, и даже еще больше. Но если ты справляешься с работой, то получаешь запонки, которые хранятся в особом сейфе. Один раз в год устраивается большой прием в одном месте, которое я не вправе называть, с шампанским и дворецкими, не поверишь, и на него приглашаются все наши ребята из России. Мы надеваем смокинги, и все – при запонках, как будто это наша униформа, только тайная. И вот идет этот прием, с речами и рукопожатиями, словно тебе присваивают новое звание, и все так, как, наверное, было у тебя, когда тебя награждали. Но где именно – я не могу сказать. А после приема мы возвращали свои запонки. Это было нужно в целях безопасности. Так что, если я исчезну или со мной что-то случится, ты напиши в Разведуправление и попроси русские запонки твоего Кена. Может, они скажут, что никогда обо мне не слышали, может, спросят: "Какие запонки?"

Но, может, тебе из сочувствия сделают исключение и отдадут мои запонки, потому что иногда они так поступают. И если такое случится, то знай, что все мои проступки на самом деле такие праведные, что ты даже представить себе не можешь. Потому что я – твой сын, твоя плоть и кровь, а запонки будут тебе доказательством. Вот и все, что я могу сказать, а это уже больше, чем мне дозволено".

Смайли сначала поинтересовался, как имя парня звучит полностью. Затем спросил дату его рождения. Потом – где он учился и какую имел профессию – картина жуткая. Я представлял, как он спокойно, по-деловому, записывал подробности. Кеннет Брэнэм Хоторн, произнес старый вояка; Брэнэм – это девичья фамилия матери, сэр; он пользовался ею, когда его привлекли за так называемые преступления; родился в Фолкстоне 14 июля 1946 года, сэр, через двенадцать месяцев после моего возвращения с войны. Я не хотел иметь ребенка раньше, хотя жена хотела, сэр; думал, время не наступило. Я хотел, чтобы наш ребенок вырос в мире, сэр, чтобы оба родителя о нем заботились, майор, на что имеет право любое дитя, скажу вам, хотя в жизни далеко не всегда так получается.

Как бы невероятно ни звучала история Кеннета Хоторна, положение Смайли было не из простых. Смайли не из тех, кто может отнять веру у приличного или даже не совсем приличного человека. В Цирке тех дней не имелось того, что называется надежной централизованной картотекой его кадров, а то, что слыло таковой, содержало, как это ни позорно, зачастую умышленно разрозненные данные, ибо соперничающие службы ревниво охраняли свои источники и покушались на источники соседей при каждом удобном случае.

История этого человека так и пестрела нелепостями. Например, одно то, что тайные агенты могли собираться раз в году на ужин, нарушая святая святых секретного ведомства – правило о "пределах необходимой информации", выглядело гротескно. Но Смайли отдавал себе отчет, что в мире беззакония, которым правят непрофессионалы, случаются вещи и похуже. Ему потребовались вся его изобретательность и весь опыт, чтобы прийти к окончательному выводу: Хоторн не значился ни в каких списках – ни как "бегун", ни как "топтун", "охотник за скальпами" или "сигнальщик", то есть не числился ни под одним из жаргонных названий, которыми эти нечистоплотные оперативники обожали награждать рядовых своей армии.

Проверив внештатников, он принялся за вооруженные силы, службу безопасности, североирландскую полицию – ведь каждое из этих ведомств могло, пожалуй, нанять – пусть на более скромные роли, чем представлял этот парень, – жестокого преступника вроде Кена Хоторна.

Но одно, кажется, не вызывало сомнения: характер его преступлений был просто кошмарным. Трудно вообразить более мрачную картину жестокого, порою зверского поведения. Вновь и вновь просматривая его дело, от детства до отрочества, от исправительной школы до тюрьмы, Смайли не нашел ни одного правонарушения – от мелкой кражи до злостного садизма, – которым погнушался бы Кеннет Брэнэм Хоторн, родившийся в 1946 году в Фолкстоне.

Наконец в конце недели Смайли, видимо, неохотно признался себе в том, в чем другая часть его мозга была, кажется, убеждена с самого начала. Независимо от обстоятельств, Кеннет Хоторн был неисправимым и злобным чудовищем, и смерть от рук своих сокамерников он просто-напросто заслужил. История его жизни написана и завершена, а его байки о героизме, проявленном на службе какой-то несуществующей английской разведке, оказались всего лишь последней главой в его продолжавшемся всю жизнь стремлении затмить славу своего отца.

Была середина зимы. В тот грязно-серый вечер с дождем вперемежку со снегом старый солдат был вынужден тащиться через весь Лондон в обшарпанный кабинет Уайтхолла для беседы. А Уайтхолл при слабом освещении тех дней все еще казался крепостью в состоянии

войны, пусть даже его пушки стояли в другом месте. То было по-военному суровое, бессердечное и величественное заведение; здесь говорили негромко, окна были плотно зашторены, редко звучали торопливые шаги, а при встрече глаза отводились в сторону. Не забывайте, что Смайли тоже воевал, хотя и находился в тылу у немцев. Я слышу пыхтенье парафиновой печки, которой Цирк неохотно разрешил пользоваться в дополнение к неисправным министерским радиаторам. Она издавала звук радиоморзянки, передаваемой замерзшей рукой.

Чтобы выслушать заключение майора Ноттингэма, Хоторн пришел не один. Старый солдат привел с собой жену, и я даже могу сказать, как она выглядела, потому что Смайли описал в журнале и ее, а мое воображение дорисовало остальное.

Это была нездоровая на вид, сутулая женщина, одетая в воскресное платье. У нее была брошь в виде эмблемы полка ее супруга. Смайли предложил ей сесть, но она предпочла стоять, опираясь на руку своего мужа. Смайли стоял по другую сторону стола, того же обгоревшего желтого стола, за которым последние месяцы сидел я. Смайли стоял почти по стойке “смирно”, его покатые плечи были непривычно расправлены, а короткие пальцы рук полусогнуты вдоль его брюк в традиционной армейской манере.

Игнорируя миссис Хоторн, он обратился к старому солдату, как мужчина к мужчине:

– Вы понимаете, что мне абсолютно нечего вам сказать, старший сержант?

– Да, сэр.

– Я никогда не слышал о вашем сыне, понимаете? Имя Кеннета Хоторна ничего не значит ни для меня, ни для моих коллег.

– Так точно, сэр. – Взгляд старика был устремлен поверх головы Смайли, как положено на параде. Но его жена все это время не сводила своего гневного взгляда с глаз Смайли, скрывавшихся за толстыми стеклами очков.

– Он ни разу в своей жизни не работал ни в одном из ведомств британского правительства – ни в секретном, ни в каком другом. Всю свою жизнь он был уголовным преступником. Ничего более. Совершенно ничего.

– Так точно, сэр.

– Я категорически отрицаю, что он когда-либо был на секретной службе Короны.

– Так точно, сэр.

– Вы должны также понять, что я не могу ответить ни на какие ваши вопросы, не могу дать объяснений и что вы никогда больше меня не увидите и не будете приняты в этом здании.

– Так точно, сэр.

– Наконец, вы должны понять, что не имеете права рассказывать о данном разговоре ни одной живой душе. Как бы вы ни гордились своим сыном. Вы понимаете, что нам надо думать о безопасности тех, кто остался в живых?

– Так точно, сэр, понимаю, сэр.

Открыв ящик своего стола, Смайли достал из него небольшую красную шкатулку фирмы Картье и протянул ее старику.

– Это я обнаружил в своем сейфе.

Старик, не глядя, передал коробочку жене. Она с трудом открыла ее негнущимися пальцами. Внутри лежала пара превосходных золотых запонок с крошечной английской розой, неприметно расположившейся в уголке, – чудесный образец тонкой ручной работы. Ее муж по-прежнему на них не смотрел. Возможно, ему это было не нужно; возможно, он не верил себе. Закрыв шкатулку, она расстегнула замок своей сумки и опустила ее туда. Затем она защелкнула сумку так громко, будто с шумом опустила крышку на гробнице сына. Я прослушивал пленку – ей тоже надлежит быть уничтоженной.

Старик так и не произнес ни слова. Они были слишком горды, чтобы снизойти до Смайли.

“А запонки? – спросите вы. – Где Смайли достал запонки?” На это я получил ответ не из пожелтевших папок кабинета 909, а из уст самой Энн Смайли, и это произошло случайно на одном вечере в великолепном корнуэльском замке возле Сэлташа, куда мы были приглашены в качестве гостей. Энн была здесь одна и выглядела усмиренной. Мейбл уехала на турнир по гольфу. Дело Билла Хейдона было давно позади, но Смайли все еще не мог терпеть Энн. После ужина гости разбились на группы, но Энн не отходила от меня, как если бы на моем месте был Джордж. По какому-то наитию я спросил ее, не дарила ли она когда-нибудь Джорджу пару запонок. Энн всегда выглядела привлекательной, когда оставалась одна.

– О, запонки, – сказала она, будто с трудом припоминая. – Те, что он отдал старику?

Энн подарила их Джорджу в первую годовщину супружеской жизни, рассказала она. А после ее романа с Биллом он решил найти им лучшее применение.

* * *

“Но почему, почему Джордж решился на это?” – удивлялся я.

Вначале мне показалось, что мне все ясно. То было слабое место Джорджа. Ветеран “холодной войны” обнажил свое кровоточащее сердце.

Но как это чаще всего бывало с Джорджем – можно было только догадываться…

Или это был акт отмщения Энн? Или месть своей второй неверной любви – Цирку, как раз тогда, когда Пятый этаж выставил его из дома?

Постепенно я пришел к совершенно иному выводу, которым поделюсь с вами, ибо ясно одно: сам Джордж не прольет на это свет.

Слушая старика-солдата, Смайли подумал, что наступил тот самый редкий случай, когда Служба может принести реальную пользу простым людям. На сей раз романтика шпионажа будет использована не для того, чтобы прикрыть очередной случай некомпетентности или предательства, а чтобы оставить старым супругам их мечту. На сей раз Смайли, оценивая разведывательную операцию, мог с полной уверенностью сказать, что она удалась.

Глава 11

– А некоторые допросы, – сказал Смайли, уставившись на танцующие языки пламени в камине, – вовсе не допросы, а общение раненых душ.

Он рассказывал о допросе главного шпиона Московского центра по кличке “Карла”, чей переход на нашу сторону он обеспечил. Но я-то знал, что речь шла лишь о бедняге Фревине, о котором, насколько мне известно, он и не слышал.

Письмо, в котором говорилось, что Фревин – русский шпион, попало на мой стол в понедельник вечером, а отправлено было почтой первого класса из Лондонского юго-западного района в пятницу, распечатано центральной регистратурой в понедельник утром и помечено дежурным помощником регистратора: “для сведения РСО”, каковое сокращение означало “Руководитель следственного отдела”, то есть предназначалось мне, хотя, по мнению некоторых, это название, заменив часть букв, следовало расшифровывать иначе: “Спите спокойно в Следственном отделе”. Зеленый фургон Главного управления разгрузил скромную почту на Нортамберлендском авеню в пять часов вечера, а в Отделе подобные поздние вторжения обычно игнорировались до следующего утра. Но я стремился изменить все это, и, поскольку мне все равно делать было нечего, я тут же вскрыл пакет.

К письму были приколоты два розовых розыскных бланка с карандашными пометками на каждом. Инструкции Главного управления, адресованные Отделу, всегда носили оттенок интеллектуального превосходства. Одна из них гласила:

"ФРЕВИН С. предположительно является тем же лицом, что и ФРЕВИН Сирил Артур, шифровальщик министерства иностранных дел".

Далее следовали положительная характеристика Фревина и номер белого досье, являвшийся неуклюжим способом сообщить, что он ни в чем не замешан. Во второй записке говорилось: "МОДРИЯН С. предположительно идентичен МОДРИЯНУ Сергею", затем следовал перечень других данных, которые меня не интересовали. За пять лет, проведенных в Русском Доме, я привык, как и все остальные, называть его просто Сергеем. Старина Сергей, хитрый армянин, руководитель чрезмерно разбухшей резидентуры Московского центра в Советском посольстве в Лондоне.

Если я и подумывал отложить чтение письма до завтра, то упоминание имени Сергея развеяло мои сомнения. Письмо могло оказаться полной чушью, но я играл на своем поле.

Директору,

Отдел Безопасности,

Министерство иностранных дел,

Даунинг-стрит, ЮЗ

Уважаемый сэр, настоящим довожу до вашего сведения, что С.Фревин, шифровальщик министерства иностранных дел с постоянным и регулярным доступом к совершенно секретным и сверхсекретным документам, в течение последних четырех лет поддерживал тайную связь с С.Модрияном, первым секретарем Советского посольства в Лондоне, о чем он не сообщал во время годовых проверок благонадежности. Передавались секретные материалы. Нынешнее местонахождение Модрияна неизвестно, поскольку недавно он был отозван в Советский Союз. Упомянутый Фревин по-прежнему проживает в Честнатс, Бивор-Драйв, в Саттоне, где Модриян побывал по меньшей мере один раз. С.Фревин ведет сейчас весьма уединенный образ жизни.

Искренне Ваш

А.Пэтриот

Написано электронным способом. Бумага А4, без водяных знаков. Имеется дата, соблюдена пунктуация, хорошее правописание, аккуратно сложено. И никакого адреса отправителя. Как обычно.

Поскольку в тот вечер у меня не было других дел, я выпил два виски в "Шерлоке Холмсе" и побрел за угол в Главное управление, где отметился в читальном зале регистратуры и получил досье. На следующее утро в десять я занял место в приемной Барра, предварительно четко продиктовав свою фамилию его шикарной личной секретарше, которая, кажется, никогда обо мне не слышала. Впереди меня в очереди находился Брок из Московской резидентуры. Пока его не вызвали, мы были поглощены обсуждением крикета и ухитрились ни разу не вспомнить, что он работал под моим началом в Русском Доме, причем в последний период по делу Блейра. Через пару минут появился Питер Гиллам, прижимавший к себе несколько папок и выглядевший как с похмелья. Он недавно стал начальником секретариата Барра.

– Вы не будете возражать, если я протиснусь перед вами, а, старина? Он срочно меня вызвал. Черт бы его взял, хочет, чтобы я и во сне на него работал. Вы по какому делу?

– Проказа, – ответил я.

Нет в мире места, кроме Службы – за исключением, пожалуй, Москвы, – где за ночь можно стать никем. В катаклизмах, которые последовали за дезертирством Барли Блейра, даже такой шустрый предшественник Барра, как Клайв, не смог удержаться на скользкой палубе Пятого

этажа. Последний раз о нем слышали, когда он направлялся занять целебный пост руководителя резидентуры в Гайане. Только наш юрисконсульт Гарри Палфри, как обычно, перенес все передряги, и, когда я вошел в сверкающий кабинет Барра, Палфри выскальзывал украдкой через другую дверь, хотя и недостаточно проворно, и потому наградил меня восторженной улыбкой. Для пущей важности он недавно отрастил себе усы.

– Нед! Потрясающе! Мы должны наконец пообедать вместе, – выдохнул он возбужденным шепотом и исчез ниже ватерлинии.

Как и его кабинет, Барр выглядел совершенно современным мужчиной. Откуда он взялся, было для меня загадкой; впрочем, я здорово отстал от событий. Одни говорили, что он из рекламы, другие – из Сити, а кто-то – что он из судебных инстанций. Какой-то остряк из почтовой службы Отдела сказал, что он появился из ниоткуда: что он таким и родился – с запахом крема после бритья и власти, в своей темно-синей официальной паре и лакированных туфлях с пряжками по бокам. Это был крупный мужчина с плавными движениями и до абсурда молодой. Пожимая его мягкую руку, вам тут же хотелось разжать свою, чтобы ненароком не причинить ему боль. Перед ним на солидном письменном столе лежало дело Февина с приколотой к его обложке моей запиской, которую я набросал прошлой ночью.

– Откуда пришло это письмо? – даже не дав мне сесть, требовательно спросил он с акцентом северянина.

– Не знаю. Оно достоверное. Тот, кто его написал, хорошо подготовился.

– Вероятно, лучший друг Февина, – сказал Барр, будто лучшие друзья именно этим и славились.

– Он правильно назвал время работы Модрияна и верно указал доступ Февина, – сказал я. – Он знаком с порядком проведения проверок лояльности.

– Однако не произведение искусства, не так ли? Особенно если вы во все посвящены? Весьма вероятно, его коллега. Или его девушка. О чем вы хотите меня спросить?

Я не ожидал такого скорострельного допроса. За шесть месяцев пребывания в Отделе я поотвык от спешки.

– Полагаю, мне нужно бы знать, хотите ли вы, чтобы я занялся этим делом, – сказал я.

– А почему мне этого не хотеть?

– Это за пределами обычной компетенции Отдела. У Февина потрясающий доступ. Его подразделение занимается пересылкой самых деликатных материалов Уайтхолла. Я подумал, что вы, возможно, предпочтете передать это дело Службе безопасности.

– Почему?

– Это по их части. Если за этим вообще что-то кроется, то это точно по их департаменту.

– Это наша информация, наш подарок судьбы, наше письмо, – возразил Барр с прямотой, тайно согревшей мне сердце. – Ну их к черту. Узнаем, с чем имеем дело, и тогда решим, к кому обращаться. Эти святоши по ту сторону парка только и думают, как бы возбудить дело да медали раздать. Разведданные собираем, как для базара. Если Февин – агент, может, стоит дать ему поработать, а потом перевербовать? Может, он приведет с собой и братца Модрияна из Москвы. Кто знает? Но то, что эти деятели из безопасности не знают, это уж точно.

– Тогда не передать ли вам это дело Русскому Дому? – упрямился я.

– А зачем?

Я полагал, что предстану перед ним в непривлекательном виде, так как он все еще находился в том возрасте, когда неудача считается явлением безнравственным. Но он, по-моему, все-таки хотел узнать, почему не должен на меня рассчитывать.

– Отдел по положению не может выполнять оперативных функций, – пояснил я. – Мы существуем для вывески и выслушиваем одиноких. Нам не положено проводить тайные

расследования или содержать агентов. Мы не имеем права заниматься подозреваемыми с допуском, как у Фревина.

– Вы ведь можете прослушивать его разговоры по телефону, верно?

– Да, если получу на это ордер.

– Организовать слежку тоже можете, верно? Говорят, вам раньше доводилось это делать.

– Могу, но только по вашему личному распоряжению.

– Ну, скажем, я его дам. Отдел ведь имеет право запросить характеристику. Изобразите из себя этакого мистера Трудягу. По всем данным, вам это неплохо удается. Речь идет о проверке благонадежности, так ведь? А у Фревина подошло время проверки, верно? Так вот и займитесь им.

– В случаях проверки Отдел обязан заранее согласовать все запросы со Службой безопасности.

– Считайте, что это сделано.

– Не могу, пока не получу письменного подтверждения.

– Можете. Вы не какой-нибудь халтурщик. Вы – великий Нед. Вы нарушили столько же правил, сколько и соблюли, – я все о вас прочитал. К тому же вы лично знаете Модрияна.

– Знаю, да не очень.

– То есть?

– Один раз с ним поужинал и один раз играл с ним в скуош. Едва ли можно сказать, что я знаю его.

– В скуош – где?

– В “Ланздауне” [22].

– Как это произошло?

– Модрияна нам официально представили как связного посольства с Московским центром. Я пытался договориться с ним по поводу Барли Блейра. Насчет обмена.

– Почему не удалось?

– Барли не согласился принять наше предложение. Он тогда уже заключил собственную сделку. Ему была нужна его женщина, а не мы.

– Как он играл?

– Ловко.

– Вы его обыграли?

– Да.

Он прервал свой допрос и внимательно оглядел меня. Казалось, что тебя изучает младенец.

– Вы с этим справитесь, верно? У вас ведь сейчас обстановка не очень напряженная? В свое время вам кое-что удавалось. К тому же у вас есть сердце, чем мало кто может похвалиться в этом заведении.

– А почему она должна быть напряженной?

Ответа не последовало. Вернее, он ответил не сразу. Похоже, он что-то пережевывал, прежде чем ответить.

– Господи, да кто в наши дни верит в женитьбу? – заявил он. Его провинциальный акцент стал гуще. Казалось, он отпустил вожжи. – Хотите жить со своей женщиной, живите на здоровье, вот вам мой совет. Мы ее проверили, и ею никто не интересуется, она не террористка и не наркоманка какая-нибудь, так чего вы боитесь? Это приличная девушка из приличной семьи, и вам просто повезло. Так беретесь вы за это дело или нет?

Какое-то мгновение я не знал, что ответить. Не было ничего удивительного в том, что Барр знал о моей связи с Салли. В нашем мире о подобных делах лучше заявлять самому, пока на тебя не заявили другие, и поэтому я уже прошел через обязательное собеседование с Кадровиком. Нет, меня поразило умение Барра придать этому личный характер и то, как быстро он проник мне в душу.

– Если вы прикроете меня и дадите полномочия, то, конечно, берусь, – ответил я.

– Тогда приступайте. Держите меня в курсе, но не злоупотребляйте и не темните: о неприятностях всегда говорите напрямик. Он – человек без качеств, этот наш Сирил. Вы читали Роберта Мусила, полагаю?

– Боюсь, что нет.

Он старательно открывал папку Фревина. Я говорю “старательно”, потому что создавалось впечатление, будто его пухлые ручки прежде никогда ничем не занимались: посмотрим, как открывается эта папка, а сейчас обратимся к этому странному предмету под названием “карандаш”.

– У него нет хобби, никаких известных нам увлечений, кроме музыки, нет жены, нет подруги, нет родителей, нет беспокойства по поводу денег, нет у бедняги даже никаких странных сексуальных наклонностей, – жаловался Барр, перебирая страницы досье. (Когда он успел прочитать его, спрашивал я себя. Наверное, рано утром.) – И как, черт побери, может человек с вашим опытом, имеющий дело с современной цивилизацией и ее бедами… как он может не воспользоваться мудростью Роберта Мусила, это вопрос, на который я потребую ответа в более спокойное время. – Он послюнявил палец и перевернул следующую страницу. – Их было пятеро, – продолжал он.

– Мне кажется, он был единственным ребенком.

– Не братьев и сестер, чудак, а на работе. В этом дурацком шифровальном бюро пять сотрудников, а он – один из них. Все они занимаются одним делом, у всех одно звание, все работают давно, и у всех одинаковые грязные мыслишки. – Он впервые посмотрел мне прямо в глаза. – Если он виноват, то каковы его мотивы? Автор об этом не говорит. Забавно. Обычно говорят… Скука, как по-вашему? Скука и жадность – вот и все оставшиеся нынче мотивы. И сведение счетов, конечно, но это – вечное. – Он вновь обратился к папке. – Сирил единственный среди них неженатый, вы обратили внимание? Он с червоточинкой. Так же как и я, да и вы. Мы – одного поля ягоды. Вопрос в том, что в тебе берет верх. У него нет волос, видите? – Передо мной промелькнула фотография Фревина, и он продолжал: – Но, полагаю, быть лысым – преступление не более тяжкое, чем быть женатым. Уж я-то знаю – был женат трижды, и это не предел. Донос необычный, верно? Поэтому вы здесь. Автор письма знает, о чем говорит. Как по-вашему, не Модриян ли его написал?

– Зачем бы ему это делать?

– Я спрашиваю, Нед, не хитрите со мной. Злые мысли не дают мне покоя. Может, уехав в Москву, Модриян решил оставить после себя неразбериху. Этот Модриян – настоящая лиса, когда что-нибудь задумает. Я о нем тоже почитал.

Когда? Где, черт возьми, он находит время? – снова подумал я.

Еще двадцать минут он перескакивал с одного предмета на другой, перебирая то так, то этак разные варианты и проверяя их на мне. И когда наконец, совершенно изможденный, я вышел из кабинета, я вновь столкнулся нос к носу с Питером Гилламом.

– Кто этот Леонард Барр, черт побери? – спросил я его, все еще не приходя в себя.

Питер подивился моему невежеству.

– Барр? Мой дорогой, Барр многие годы был кронпринцем Смайли. Джордж спас его от судьбы похуже, чем смерть в День поминовения.

Что мне сказать о Салли, моей царствующей внебрачной подруге? Она была свободной и говорила с пленником во мне. Моника находилась внутри тех же стен, что и я. Моника была женщиной Службы, привязанной и не привязанной ко мне одним и тем же набором правил. Для Салли же я был всего лишь государственным служащим средних лет, забывшим в свое время поразвлечься. Она была дизайнером, а прежде – танцовщицей; ее страстью был театр, и вся жизнь вокруг казалась ей нереальной. Она была высокого роста, со светлыми волосами, довольно умная, и порой мне кажется, что она, должно быть, напоминала мне Стефани.

* * *

– Встретиться с вами, капитан? – кричал Горст по телефону. – Проверка нашего Сирила? С удовольствием, сэр.

Мы встретились на следующий день в приемной министерства иностранных дел. Я выступал в роли капитана Йорка, занимающегося очередным раундом проверок благонадежности. Горст был начальником Шифровального отдела, где работал Фревин, больше известного под названием "Танк". Это был ухмыляющийся пошляк в одежде церковного сторожа, ходивший вразвалку, растопырив локти, а его маленький рот извивался подобно червяку. Когда он садился, то подхватывал полы своего пиджака, будто демонстрировал свой зад. При этом он, как танцовщица в кордебалете, выбрасывал вперед свою пухлую ногу, прежде чем закинуть ее на бедро второй.

– Святой Сирил, так мы зовем мистера Фревина, – заявил он. – Не пьет, не курит, не матерится – ну просто святая невинность. Конец проверки на благонадежность. – Вынув сигарету из пачки на десять штук, он постукал ее концом о ноготь большого пальца и облизал своим подвижным языком. – Единственная слабость – музыка. Любит оперу. Бывает в опере регулярно, как часы. Сам-то я не очень ее уважаю. Не поймешь, то ли там актеры поют, то ли певцы играют. – Он закурил сигарету. От него разило пивом, выпитым в обед. – К тому же, если честно, я не очень люблю толстых женщин. Особенно когда они так вопят. – Он откинул назад голову и выпустил несколько колец дыма, любуясь ими, будто то были символы его власти.

– Позвольте спросить: какие у Фревина отношения с другими сотрудниками Отдела? – спросил я, изображая из себя честно отрабатывающего свой хлеб внештатника, и перевернул страницу блокнота.

– Чудесные, ваша милость. Превосходные.

– С архивистками, регистраторшами, секретаршами – на этом фронте никаких проблем?

– Ни малейших.

– Вы сидите все вместе?

– В большой комнате, где я – номинальный начальник. Притом весьма номинальный.

– А мне говорили, что он вроде женоненавистник, – сказал я, как бы выведывая.

Горст визгливо хохотнул.

– Сирил? Женоненавистник? Чушь. Он просто не любит девушек. Не разговаривает с ними, разве что "доброе утро" скажет. Старается не ходить на предрождественские вечеринки, чтобы не пришлось обмениваться поцелуями. – Он поменял положение ног, предваряя этим новое заявление. – Сирил Артур Фревин – Святой Сирил – весьма надежный, поразительно сознательный, совершенно лысый, невероятно скучный чиновник старой школы. Святой Сирил, хоть он и безупречно пунктуален, достиг, по-моему, своего естественного потолка, служа своей

стране, и в своей профессии. Святой Сирил не меняет своих привычек. Святой Сирил целиком занят своим делом, на все сто процентов. Аминь.

– А политика?

– Ничего подобного, будьте уверены.

– Лишней работы не боится?

– А я разве говорил, что боится, сударь?

– Нет, напротив, я цитировал из досье. Если требуется сверхурочно поработать, Сирил тут же закатывает рукава и остается на обеденный перерыв, на целый вечер и так далее. Это все еще так? Не прошел его энтузиазм?

– Наш Сирил готов поработать за кого угодно в любое время к радости тех, у кого есть семьи, жены или кто-то очень милый на стороне. Он готов вкалывать рано утром, в обед или вечернюю смену, если только не идет в оперу, разумеется. Сирил не торгуется. В последнее время, признаюсь, он стал меньше склонен к мученичеству, но это, несомненно, чисто временное явление. У нашего Сирила, правда, бывает дурное настроение. Но у кого его не бывает, ваше преосвященство?

– Значит, можно сказать, рвение уже не то?

– Не в отношении работы, нет. Сирил, как всегда, с головой погружен в работу. Просто он с меньшей готовностью откликается на просьбы коллег, уступающих своим человеческим слабостям. Нынче в пять тридцать Сирил убирает свои бумаги в стол и отправляется домой вместе со всеми. Он, например, теперь – в отличие от прежних дней – не предлагает заменить кого-нибудь в ночную смену и не остается на работе в полном одиночестве до самого закрытия в девять.

– А не можете ли вы назвать день, когда произошла эта перемена? – спросил я самым безразличным тоном и прилежно перевернул страницу блокнота.

Как ни странно, Горст мог ее назвать. Он поджал губы. Он нахмурился. Он поднял свои девичьи брови и уткнул подбородок в неопрятный ворот рубашки. Он стал усиленно изображать процесс припоминания. И наконец вспомнил:

– В последний раз Сирил Фревин работал за молодого Бартона в вечернюю смену в Иванов день. Я веду журнал, понимаете. Безопасность. Кроме того, у меня потрясающая память, о чем я обычно не распространяюсь.

Я был в душе поражен, но не Горстом. Через три дня, после того как Модриян уехал из Лондона в Москву, Сирил Фревин перестал работать вечерами, думал я. Напрашивались и другие вопросы, которые я жаждал задать. Оснащен ли "Танк" электронными пишущими машинками? Имели ли к ним доступ шифровальщики? Сам Горст? Но я боялся вызвать подозрение.

– Вы упомянули о его увлечении оперой, – сказал я. – Можете ли вы рассказать об этом подробнее?

– Нет, не могу, поскольку у нас нет подробных отчетов и мы их не требуем. Однако в свои оперные дни он приходит в отглаженном темном костюме или же приносит его в чемодане; в это время он пребывает в состоянии, я бы сказал, сильного, хоть и сдерживаемого возбуждения, как в предвкушении кое-чего, о чем вслух не говорят.

– Но есть ли у него постоянное место, например? Абонементное? Это просто для порядка. Вы же сами говорите, что у него нет других способов развлечения.

– Мне кажется, я говорил вам, сударь, что мы с оперой, увы, не созданы друг для друга. Мой вам совет: напишите на его бланке "любитель оперы", и вы ответите на вопрос о его развлечениях.

– Спасибо, напишу. – Я перевернул еще одну страницу. – И врагов его никаких припомнить не можете? – спросил я, держа карандаш наготове.

Горст посерьезнел. Пиво начинало выветриваться.

– Признаюсь, над Сирилом посмеиваются, капитан. Но он относится к этому добродушно. Нельзя сказать, что Сирила недолюбливают.

– А вот, скажем, плохо о нем никто не отзывается?

– Не могу привести ни одной причины, по которой кто-либо стал бы плохо говорить о Сириле Артуре Фревине. Британский государственный служащий может быть суров, но он не злобен. Сирил выполняет свой долг, как и все мы. На нашем судне все счастливы. Я бы не возражал, если бы вы это записали тоже.

– В этом году он, кажется, ездил в Зальцбург на Рождество. В прошлом году тоже, верно?

– Правильно. Сирил всегда уезжает на Рождество. Он ездил в Зальцбург. Слушал музыку. Это единственное, в чем он никогда никому в "Танке" не идет ни на какие уступки. Некоторые наши молодые пробуют жаловаться, но я их не поощряю. "Сирил в другом идет вам навстречу, – говорю. – Он среди вас старший, он любит ездить в Зальцбург ради музыки; это немногое, что у него есть, пусть так и будет".

– Он оставляет адрес, по которому там останавливается?

Горст не знал, но по моей просьбе позвонил в свой отдел кадров и получил его. Одна и та же гостиница четыре последних года подряд. С Модрияном он тоже поддерживал отношения четыре года, подумал я, вспомнив письмо. Четыре года в Зальцбурге, четыре года с Модрияном, и затем весьма уединенный образ жизни.

– Вы не знаете, он не с другом туда ездил?

– У него в жизни не было друзей, капитан. – Горст зевнул. – И, уж конечно, нет такого, с кем бы можно было поехать в отпуск. Пообедаем в следующий раз? Говорят, что, если пощекотать начальство, вам дают весьма приличные представительские.

– Рассказывал ли он о Зальцбурге по возвращении? Как он там развлекался, какую музыку слушал и тому подобное? – Благодаря Салли я узнал, что человеку положено развлекаться.

Быстро изобразив раздумье, Горст покачал головой.

– Если Сирил и развлекается, сударь, то весьма и весьма приватно, – сказал он и ухмыльнулся на прощание.

Нет, Салли совсем не так представляет себе развлечение.



Я заказал из своего кабинета в Отделе билет на надежный рейс в Вену и поговорил с Тоби Эстергази, который благодаря своему неисчерпаемому таланту выживать был недавно произведен в руководители резидентуры.

– Потряси для меня гостиницу "Белая роза" в Зальцбурге. Сирил Фревин, британский подданный. Останавливался на Рождество четыре последних года подряд. Мне нужно знать, когда он приезжал, сколько жил, останавливался ли там раньше, с кем, сколько платил по счетам и за что. Билеты на концерты, экскурсии, ресторан, женщины, мальчики, празднования – все, что возможно. Но будь поосторожнее с местными. Представишься агентом по бракоразводным делам или кем-нибудь другим.

Тоби, естественно, пришел в ужас.

– Нед, послушай. Нед, это совершенно исключено. Я в Вене, понимаешь? Зальцбург на другой стороне земного шара. Не город, а пчелиный улей. Мне нужно увеличить штат, Нед.

Скажи Барру. Он не представляет, как здесь трудно. Выбей для меня еще двух ребят, и мы все для тебя сделаем, будь уверен. Извини.

Он попросил неделю. Я дал ему три дня. Он сказал, что приложит все силы, и я поверил ему. Он сказал, что слышал, будто мы с Мейбл разошлись. Я опроверг слухи.

На моей памяти наблюдатели всегда выбирали для себя заброшенные дома, расположенные поблизости от автобусных линий и аэропорта. Выбор Монти для размещения своей штаб-квартиры пал на дворец в сомнительном стиле короля Эдуарда. Из выложенного плиткой холла каменная лестница величественно вилась до пятого этажа, увенчанного фонарем из витражей. Совершая восхождение, я наблюдал, как, словно во французской комедии, распахивались и затворялись двери, а странная команда Монти в разной степени раздетости сновала между раздевалкой, кафетерием и залом заседаний, отводя глаза от постороннего. Я достиг башенки, бывшей некогда ателье художника. Где-то неподалеку четыре женщины шумно сражались в пинг-понг. А поближе два мужских голоса под струями душа распевали "Иерусалим" Блейка.

Я давно не виделся с Монти, но ни прошедшие годы, ни положение Главного наблюдателя не состарили его. Небольшая седина да чуть резче очерченные щеки. Он от природы был неразговорчив, поэтому мы несколько минут просто сидели и попивали чай.

– Значит, Фревин, – сказал он наконец.

– Фревин, – сказал я.

Подобно снайперу, Монти умел ограждать себя от внешнего мира.

– Фревин – чудак, Нед. Он ненормальный. Правда, кто знает, что значит быть нормальным, а в отношении Сирила тем более, особенно когда судишь по слухам и тому подобное. Почтальон, молочник, соседи, как обычно. Не поверишь, каждый готов пооткровенничать с мойщиком окон. Или со служащим телефонной компании, который никак не может найти какую-то коробку. Тем не менее мы занимались им всего два дня.

Когда Монти начинал рассуждать подобным образом, оставалось лишь набраться терпения и ждать.

– И две ночи, разумеется, – добавил он. – Если считать ночи. Сирил по ночам не спит, это точно. Все бодрствует, судя по его окнам и чашкам из-под чая по утрам. И эта его музыка. Одна из его соседок собирается даже на него пожаловаться. Никогда прежде этого не делала, но сейчас готова. "Что с ним стряслось? – говорит. – Гендель на завтрак – это одно, но Гендель в три часа ночи – это нечто другое". Она считает, что у него начался климакс. Говорит, что у мужчин в его годы это бывает, как и у женщин. Нам этого не проверить, так ведь?

Я усмехнулся. И опять стал ждать момента.

– Зато она – знает, – сказал Монти задумчиво. – Ее старик ушел к школьной учительнице. И у нее нет уверенности, что он вернется. Чуть не изнасиловала нашего милого паренька, когда тот пришел снимать показания счетчика. Так-то. Кстати, а как Мейбл?

Я подумал, не дошли ли и до него слухи, но решил, что, будь это так, он не задал бы вопроса.

– Хорошо, – ответил я.

– Сирил раньше брал с собой в вагон газету. "Телеграф", если тебе интересно. Сирил лейбористов не жалует, считает их пошляками. А сейчас больше газету не покупает. Он сидит и смотрит. Это все, что он делает. Нашему парню вчера пришлось ткнуть его в бок, когда поезд подошел к Виктории. Он вышел, как во сне. А вчера вечером по дороге домой он отстучал на портфеле целую оперу. Нэнси утверждает, что Вивальди. Ну, ей лучше знать.

Помнишь Поля Скордено?

Я сказал, что помню. Монти любил отступления. Вроде "а как Мейбл?".

– Поль отбывает семь лет в Барбадосе за то, что вломился в банк. Что в них вселяется, Нед? Ведь он шага неверного не сделал, когда служил наблюдателем. Никогда не опаздывал, никогда не подделывал расходы, приличная память, приличный глаз, хороший нос. А сколько мы дверей взломали. Лондон, центральные графства и Мидлендс, борцы за гражданские права, сторонники разоружения, партии, отбившиеся от рук дипломаты – все мы делали. Хоть раз Поль попался? Ни разу. Но как только он ушел от нас, сразу все полезло наружу: вдруг все выкладывает в баре мужику-соседу. Мне кажется, им так и хочется попасться, вот мое мнение. После стольких лет пребывания в безвестности им, наверное, требуется признание.

Он отхлебнул чаю.

– Другое увлечение Сирила, кроме музыки, – это радио. Он любит радио. Насколько нам известно, только принимает, учти. Но у него один из этих мощных немецких приемников с тонкой настройкой и большими динамиками по бокам. Он не здесь его покупал, потому что, когда что-то сломалось, местной мастерской пришлось отправить его в Висбаден. На ремонт ушли три месяца и куча денег. У него нет машины – не очень их жалует. За покупками ездит на автобусе в субботу утром, предпочитает сидеть дома – кроме поездок в Австрию на Рождество. Никаких домашних животных, ни с кем не общается. Развлечений никаких. Не принимает ни гостей, ни соседей, не получает никакой почты, кроме счетов, счета оплачивает вовремя, не голосует, в церковь не ходит, телевизора не имеет. Женщина, которая делает у него уборку, говорит, что он много читает, преимущественно толстые книги. Она бывает у него только раз в неделю, обычно в его отсутствие, и мы не решились познакомиться с ней поближе. Для нее толстая книга – это все, что толще брошюрки для изучающих Библию. У него скромные телефонные счета. Он вложил шесть тысяч в строительную компанию, у него свой дом, надежный счет в банке – от шести до четырнадцати тысяч, – который сокращается примерно до двухсот фунтов во время Рождественских каникул.

Чувство Монти-собственника вынудило нас сделать еще одно отступление, на сей раз речь пошла о детях. Мой сын Адриан, сказал я, только что выиграл в Кембридже конкурс на стипендию по изучению современного языка. На Монти это произвело сильное впечатление. Его единственный сын недавно отлично сдал экзамены по юриспруденции. Мы оба решили, что ради детей и стоит жить.

– Модриян, – сказал я, когда наконец с формальностями было покончено, – Сергей.

– Я хорошо помню этого джентльмена, Нед. Мы все помним. Мы, бывало, сутками за ним ходили. Кроме Рождества, естественно, когда он отправлялся домой… Постой! Ты подумал о том же, о чем и я? На Рождество мы все уходим в отпуск?

– Такая мысль пришла мне в голову, – согласился я.

– С Модрияном мы не церемонились, во всяком случае, скоро перестали. Ну и скользкий он был, как угорь. Порой ему просто всыпать хотелось, ей-ей. Поль Скордено однажды на него так разозлился, что проколол ему покрышку возле музея Виктории и Альберта, пока тот забирал внутри почту. Я так и не включил это в отчет, не решился.

– Правда ли, Монти, что Модриян тоже оказался любителем оперы?

Глаза Монти округлились, и мне представилось редкое удовольствие видеть его удивленным.

– О господи, Нед, – воскликнул он. – О боже, боже. Ты прав. У Сергея был абонемент в Ковент-Гарден, верно. Как и у Сирила. Мы, наверно, не менее десяти раз вели его туда и оттуда. Будь он подобрее к людям, то на такси бы ездил, но нет. Ему нравилось изматывать нас в городском транспорте.

– Если бы можно было узнать, на какие спектакли он ходил и где сидел, если бы только узнать, мы сопоставили бы это с выходами в оперу Фревина.

Монти впал в театральное молчание. Он нахмурился, а затем почесал затылок.

– Не кажется ли тебе, что все получается как-то слишком легко? – спросил он. – У меня всегда возникают подозрения, если все вдруг укладывается в симпатичную схему, а у тебя?

“Я не уложусь в твою схему, – сказала мне накануне вечером Салли. – Схемы для того и существуют, чтобы их разрушать”.

* * *

– Он поет, Нед, – промурлыкала Мэри Ласселс, размещая белые тюльпаны в банке из-под солений. – Он все время поет. Ночью, днем – не важно. По-моему, он работает не по призванию.

Мэри бледна, как ночная сиделка, и так же предана делу. Добродетель освещала ее ненапудренное лицо и сияла в ясных глазах. Седая прядь – признак слишком раннего вдовства – украшала ее короткую стрижку.

Из многих призваний, составляющих сверхмир разведки, ни одно не требует такой абсолютной преданности, как преданность сестринской общины слухачек. Мужчины для этого не годятся. Когда речь идет о чужих судьбах, только женщины способны на такую страстную отдачу. Обреченные трудиться в подвалах без окон, среди массы серых проводов и нагромождения магнитофонов русского образца, они занимают часть преисподней, населенную невидимками, жизнь которых им известна лучше, чем жизнь собственных близких друзей и родственников. Они никогда не видят своих подопечных, никогда с ними не встречаются, никогда не прикасаются к ним и не спят с ними. Но эти тайные любовницы испытывают на себе всю силу их личностей. Благодаря микрофонам или телефонам они слышат, как те уговаривают друг друга, рыдают, едят, курят, спорят и совокупляются. Они слышат, как те готовят пищу, рыгают, храпят и волнуются. Они терпеливо выслушивают их детей, родственников и нянек, так же как сносят их телевизионные пристрастия. А в наши дни они уже ездят с ними в машинах, сопровождают по магазинам, сидят в кафе и у игровых автоматов. Они – тайные участники нашего дела.

Передав мне пару наушников, Мэри надела свои и, подперев подбородок руками, закрыла глаза, чтобы лучше слышать. Так я впервые услышал голос Сирила Фревина, напевающего мелодию из “Турандот”, а Мэри Ласселс тем временем, сидя с закрытыми глазами, зачарованно улыбалась. У него был мягкий голос, который, несомненно, нравился Мэри и был приятен даже моему неискушенному уху.

Я выпрямился. Пение прекратилось. Где-то в глубине комнаты послышался женский голос, затем мужской, и говорили они по-русски.

– Мэри, кто там, черт побери?

– Его учителя, дорогой. Ольга и Борис с московского радио, пять раз в неделю, ровно в шесть утра. Это вчерашняя запись.

– Вы хотите сказать, что он самостоятельно изучает русский?

– Ну, он слушает, дорогой. А сколько остается в его головке, трудно сказать. Каждое утро ровно в шесть Сирил слушает Ольгу и Бориса. Сегодня они побывают в Кремле. Вчера ходили за покупками в ГУМ.

Я слышал, как Фревин бормотал что-то нечленораздельное, сидя в ванне. Я слышал, как он воскликнул “мама”, ворочаясь ночью в своей постели. “ФРЕВИН Элла, – вспомнил я, – нет в живых, мать ФРЕВИНА Сирила Артура, см.” Не могу понять, зачем регистратура заводит досье на покойных родственников подозреваемых шпионов.

Я слышал, как он отчитывал кого-то из технического отдела “Бритиш телеком” после того, как прождал положенные двадцать минут, пока его с ними соединили. Голос его звучал резко, с неожиданными эмфазами.

– Так вот, в следующий раз, когда вы задумываете отыскивать повреждение на моей линии, я буду весьма вам признателен, если вы предупредите меня, вашего абонента, до того, как вторгнетесь в мой дом, когда там работает уборщица, и не будете оставлять на ковре обрезки проволоки, а на полу кухни – следы грязных башмаков…

Я слышал, как он звонил в оперный театр “Ковент-Гарден”, чтобы сообщить, что в пятницу не воспользуется своим абонементом. На сей раз его голос звучал жалобно. Он объяснил, что болен. Милая дама на другом конце провода с сочувствием сказала, что сейчас многие болеют.

Я слышал его разговор с мясником в связи с моим предстоящим визитом, назначенным отделом кадров нашего министерства иностранных дел на завтрашнее утро.

– Мистер Стил, с вами говорит Сирил Фревин. Доброе утро. Я не смогу зайти к вам в субботу из-за того, что у меня дома назначена встреча. Поэтому буду весьма признателен, если по дороге домой в пятницу вечером вы завезете мне четыре хорошие бараньи отбивные. Вас это не затруднит, мистер Стил? А также банку готового мятного соуса. Нет, желе из красной смородины у меня есть, спасибо. Прошу вас, приложите также счет, хорошо?

Мой обостренный слух воспринимал это так, будто человек готовится покинуть тонущий корабль.

– Давайте послушаем телефонистов еще раз, Мэри, – попросил я. Дважды прослушав нравоучительный разговор Фревина с “Бритиш телеком”, я рассеянно чмокнул Мэри в щеку и вышел на улицу. Салли сказала: “Приходи”, – но в тот вечер у меня не было настроения объясняться в любви и слушать музыку, которую я втайне не выносил.

* * *

Я возвратился в Бюро. Из лаборатории пришло заключение по анонимному письму. Все, что удалось выяснить, сводилось к следующему: электронная машинка “Маркус”, модель номер такой-то, вероятно, бельгийского производства, новая или мало используемая. Они полагают, что смогли бы идентифицировать другой документ, напечатанный на этой же машинке. Нельзя ли его предоставить? Конец заключения. Наши лаборатории никак не могут закончить сбор данных на пишущие машинки нового поколения.

Я позвонил Монти в его логово в баронском управлении. У меня не выходил из головы возмущенный голос Фревина, выговаривающего телефонистам: паузы, подобные неверно расставленным запятым, употребление слова “весьма”, его манера неожиданно ставить ударение на слове, чтобы придать ему обвинительное звучание.

– Монти, твои молодцы случайно не заметили пишущей машинки в доме Сирила, когда так мило чинили ему телефон? – спросил я.

– Нет, Нед. Пишущей машинки там не было. Во всяком случае, они ее не видели.

– Могли они ее не заметить?

– Вполне, Нед. Мы ведь особо не старались. Не рылись ни в шкафах, ни в столах, не фотографировали и с его уборщицей почти не общались, чтобы не вызвать подозрений. Им было велено осмотреть, что удастся, и убраться оттуда поскорее, чтобы он не почуял неладное.

Я хотел было позвонить Барру, да раздумал. Давал себя знать собственнический инстинкт ведущего дело офицера, и будь я проклят, если поделюсь с кем-нибудь Фревином, пусть даже

с тем, кто поручил его мне. Сотни переплетающихся нитей тянулись от Модрияна к Горсту, к Борису и Ольге, к Рождеству, к Зальцбургу, к Салли. В конце концов я написал Барру краткий отчет о проделанной работе и поставил его в известность, что завтра утром под видом проверки на благонадежность впервые познакомлюсь с Фревином лично.

Пойти домой? А может, к Салли? Домом мне служила ненавистная казенная квартира на Сент-Джеймс, где мне предстояло разобраться в самом себе; но какому мужчине захочется этим заниматься, когда он сидит наедине с бутылкой виски под репродукцией картины "Смеющийся кавалер" и мечется между мечтами о свободе и тягой к тому, что держит его в плену. Салли была моей Второй Жизнью, но я уже почувствовал, что готов лбом пробить стоящую передо мной стену, невзирая ни на что.

Решив поэтому не вставать из-за стола, я достал из сейфа бутылку виски и погрузился в изучение досье Модрияна. Ничего нового для себя я там не обнаружил, но мне не хотелось упускать его из виду. Сергей Модриян, испытанный и проверенный профессионал из Московского центра, привлекательный мужчина, ловкий танцор, общительный и улыбчивый армянин, умный собеседник. Он нравился мне. Я нравился ему. В нашей профессии, где чувствам нельзя давать волю, многое можно простить за обаяние.

Зазвонил телефон прямой связи. На мгновение я подумал, что это Салли, так как, вопреки правилам, я дал ей этот номер. Но звонил Тоби, который, похоже, был доволен собой, впрочем, как всегда. Он не произнес имени Фревина. Он не произнес слова "Зальцбург". Мне подумалось, что он, наверное, звонит из своей квартиры, и почему-то показалось, что он в постели и не один.

– Нед? Ну и шутник твой парень. Бронирует себе номер на две недели, дарит рождественские подарки персоналу, гладит по головке деток, всех ублажает. А на следующее утро исчезает. И так каждый раз. Нед, ты меня слышишь? Этот парень чокнутый. Никому не звонил, поел один раз, выпил два стакана яблочного сока, никому ничего не объяснял и взял такси на вокзале. "Комната остается за мной, не сдавайте ее, может быть, вернусь завтра, а может, через пару дней, не знаю". Через двенадцать дней является, никаких объяснений, снова раздает персоналу чаевые, все довольны. Там его прозвали "привидением". Нед, замолви Барру за меня словечко. Ты теперь мой должник. Скажи, что Тоби, мол, старается вовсю. Такой знаменитый ветеран, как ты, и молодой парень, вроде Барра, – конечно, он тебя послушается. Что тебе стоит? Мне здесь еще человек нужен, лучше два. Скажи ему, Нед, слышишь? Привет.

Я уперся в стену, которую не мог преодолеть; уставившись на досье Модрияна, я подумал, что, пожалуй, слишком легкомысленно отнесся к замечанию Монти о том, что все получается как-то слишком гладко. Мне вдруг ужасно захотелось к Салли: у меня возникло какое-то смутное чувство, что, разгадав загадку Фревина, я каким-то образом превращу свои неоднократные попытки вырваться на свободу в один смелый прыжок. Но едва я потянулся к телефону, чтобы поговорить с ней, как он снова зазвонил.

– Все совпадает, – сказал Монти бесстрастно. Ему удалось проверить посещения Фревином театра. – Сергей и Сирил каждый раз бывали там в одно время. Когда один приходил, тогда и другой. Когда этот не приходил, не приходил и тот. Может, поэтому он больше и в опере не бывает? Понял?

– А места?

– Рядышком, дорогой. А как же иначе? Не в спину же смотреть?

– Спасибо, Монти.

* * *

Нужно ли говорить, как я провел эту нескончаемую ночь? Разве вам не доводилось звонить сыну, выслушивать его неуместное зубоскальство и напоминать себе, что это ваш сын? Или откровенничать с чуткой женой о своей неполноценности, не ведая, в чем, собственно, она заключается? Разве вам не доводилось протягивать к любовнице руки с возгласом: "Я люблю тебя" – и недоуменно наблюдать, с каким самодовольством она это воспринимает, а потом, покинув ее, бродить по лондонским улицам, словно в чужом городе? Доводилось ли вам из всех предрассветных звуков выделять трескотню сороки и долго вслушиваться в нее, лежа с широко открытыми глазами на своей треклятой односпальной кровати?

Я приехал в дом Фревина в половине девятого, одевшись как можно скромнее, и, по-видимому, действительно преуспел в этом, потому что и в лучшие-то времена я одевался неброско, хотя, к моему ужасу, Салли подумывает о том, как бы это одеть меня помоднее. Мы с Фревином договорились встретиться в десять, но я убедил себя, что мне необходим элемент неожиданности. По правде же говоря, мне хотелось с ним пообщаться. Неподалеку на улице стоял почтовый фургон. За ним припарковался грузовик строительной компании с радиоантенной, а это означало, что люди Монти заняли свои посты.

Не помню, в каком это было месяце, но знаю, что стояла осень – как в моей личной жизни, так и на скромной улице с высокими кирпичными домами, заканчивающейся тупиком. Ибо я вижу белый диск солнца над подстриженными каштанами, которые и дали этому месту название, и по сей день чувствую запах дымка в осеннем воздухе, призывающий меня бросить Лондон, Службу, забрать Салли и уехать куда-нибудь в настоящую глухомань. Я даже помню, как стайка пташек с шумом вспорхнула с телефонного провода у дома Фревина, где она делала передышку на пути в какое-то другое место, получше. И кошку в соседнем дворике, приподнявшуюся на задние лапы, чтобы поймать зазевавшуюся бабочку.

Я открыл садовую калитку и пошел по хрустящей под ногами аккуратной гравиевой дорожке к дому с эркерными окнами и тесаным крыльцом, отдаленно напоминавшему обиталище семерых гномов. Я было потянулся к звонку, но входная дверь резко распахнулась внутрь дома. Дверь была ребристая, вся в фальшивых кованых болтах; она отворилась так внезапно, будто ее сорвала взрывная волна, и меня словно всосало вслед за ней внутрь темного коридора с кафельным полом. Затем дверь застыла, а рядом с ней возник Фревин, лысый центурион своего собственного дома, которому угрожала опасность.

Он был выше, чем я предполагал. Его голова борца покоилась на полных плечах; словно приготовившись к моему нападению, он глядел на меня настороженно и враждебно. И даже в эти первые мгновения нашей встречи я почувствовал в нем не жажду победить, а лишь своего рода браваду от сознания своей уязвимости, которой его полнота придавала трагический оттенок. Я вошел в его дом, сознавая, что вхожу в безумие. Я это знал всю ночь. В отчаянии мы становимся сродни безумцам. Это я понял гораздо раньше.

* * *

– Капитан Йорк? Ну, так добро пожаловать, сэр. Искренне прошу вас. Кадровики по своей доброте предупредили меня о вашем приходе. Обычно они этого не делают. На сей раз сообщили. Входите, пожалуйста. Вам надо выполнить свой долг, а мне – свой. – Его огромные пухлые руки поднялись, чтобы помочь мне снять пальто, но, похоже, не могли с ним совладать. И вот они парили над моей шеей, то ли готовясь меня задушить, то ли обнять. А он продолжал говорить: – Мы с вами – по одну сторону, так что никаких обид. Я лично сравниваю вашу

работу с обеспечением безопасности в аэропорту – те же параметры. Если не обыщут меня, не обыщут и злоумышленника, так ведь? По-моему, надо логически подходить к вопросу.

Бог знает, кого он копировал, произнося эти слишком правильные слова, но они позволили ему выйти из оцепенения. Его руки опустились на пальто и помогли мне его снять, и я почувствовал, с каким почтением они это делали, словно снимая покров с чего-то очень интересного для нас обоих.

– Вам, верно, приходится много летать, мистер Фревин? – спросил я.

Он повесил мое пальто на плечики, а плечики – на низенькую стоячую вешалку. Я ждал ответа, но не дождался. Я намекал на его поездки в Зальцбург и полагал, что он тоже о них думает; я рассчитывал, что в нервозной обстановке, связанной с моим приходом, заговорит его совесть, но он прошествовал впереди меня в гостиную, где при свете, падающем из освинцованного эркерного окна, я смог, не торопясь, рассмотреть его, ибо теперь он перешел к следующему номеру своего вынужденного гостеприимства: на сей раз это была электрическая кофеварка, наполненная, но не включенная. "С молоком или с сахаром, или с тем и другим, капитан? А молоко, капитан, горячее или холодное? А как насчет домашнего печенья, капитан?"

– Неужели вы сами его испекли? – спросил я, вылавливая печенье из керамической бисквитницы.

– Каждый дурак, умеющий читать, сумеет готовить, – сказал Фревин с неловкой ухмылкой превосходства, и я сразу понял, почему Горст его терпеть не мог.

– Но я, например, читать умею, а вот готовить – никак, – ответил я, сокрушенно покачав головой.

– Как вас зовут, капитан?

– Нед, – ответил я.

– Наверное, потому, Нед, что вы женаты. Жена лишила вас самостоятельности. Я часто наблюдал такое в своей жизни. Стоит появиться жене, и независимости – как не бывало. Меня зовут Сирил.

"А ты уклоняешься от ответа на мой вопрос о путешествиях самолетом", – подумал я, отвергая его попытку вторгнуться в мою личную жизнь.

– Будь я руководителем этой страны, – заявил Фревин через плечо, разливая кофе, – чего, к счастью, никогда не случится (его голос стал обретать наставительность, которая прослушивалась в его разговоре с телефонистами), я бы издал закон, обязующий каждого, независимо от цвета кожи, пола или вероисповедания, изучить еще в школе искусство приготовления пищи.

– Неплохая идея, – сказал я, принимая кружку кофе, – очень разумная. – Я достал сахар из похожей на улей желтой сахарницы, разместившейся на его влажной ладони подобно ракете. Он повернулся ко мне всем корпусом сразу. Его глаза, лишенные ресниц и ничем не защищенные, смотрели на меня сверху вниз, излучая преданную невинность.

– Занимаетесь каким-нибудь спортом, Нед? – спросил он негромко, склонив набок голову для пущей доверительности.

– В гольф немного, Сирил, – солгал я. – А вы?

– Какие-нибудь хобби, Нед?

– Ну, во время отпуска немного балуюсь акварелью, – сказал я, снова позаимствовав это у Мейбл.

– Машину водите, верно, Нед? Вам ведь положено многое уметь делать мастерски, не так ли?

– Всего лишь старый "Ровер".

– А какого года? Какой, так сказать, выдержки, Нед? Недаром говорят: старый конь борозды не портит.

Его энергия была не только в нем самом, понял я, назвав ему первую пришедшую мне в голову дату, она распространялась на все, что попадало в его орбиту: имитация конской сбруи от его энергичной полировки блестела наподобие кокарды на форменной фуражке, каменная решетка была надраена, а деревянный пол и поверхность обеденного стола были в безукоризненном состоянии. Я осторожно отхлебывал кофе, потому что подлокотники кресла, в котором я сейчас сидел, были покрыты льняными чехлами такой чистоты, что было боязно класть на них руки. Я и без него знал, что даже при наличии уборщицы он занимается всем этим сам, что он является одновременно и слугой, и диктатором своих вещей в этом царстве неуемной, растрачиваемой по мелочам энергии.

– Ну, а где вы живете, Нед?

– Я? Разумеется, в Лондоне.

– В какой же части, Нед? В каком районе? В хорошем, наверное, или вам из-за работы приходится выступать слегка анонимно?

– Ну, в общем, нам не положено говорить, к сожалению.

– Родились в Лондоне, верно? Я – в Гастингсе.

– Скорее в пригороде. Понимаете. В этом, в Пиннере.

– Вам надлежит быть скрытным, Нед. Всегда. Скрытность – ваше достоинство. Пусть никто у вас его не отнимет. Неотъемлемая часть профессии, эта скрытность. Помните это. Она всегда пригодится.

– Спасибо, – сказал я, изобразив робкий смешок. – Буду помнить.

Он поедал меня глазами. Он напоминал мне мою собаку Лиззи в ожидании моей команды – немигающий глаз, тело в полной готовности. – Тогда, может, начнем? – сказал он. – Поставить звук на “выключено”? Как только перейдем к официальной части, скажите: “Сирил, горит красный сигнал”. Этого будет достаточно.

Я рассмеялся, тряся головой, как бы говоря, какой он молодчина.

– Обычная проверка, Сирил, – сказал я. – Господи, да после стольких лет вы эти вопросы, должно быть, наизусть знаете. Не против, если я закурю? – Я стал раскуривать трубку и бросил спичку в пепельницу, которую он предупредительно мне протянул. Затем я снова принялся осматривать комнату. На стенах самодельные полки, заставленные переплетенными своими руками книгами, каждая из которых, судя по заглавиям, имела глобальный резонанс: “Сто великих людей мира”, “Жемчужины мировой литературы”, “Музыка великих веков в трех томах”. Рядом с ними стояли граммофонные пластинки в конвертах – только классика. А в углу красовался сам граммофон, великолепный аппарат из тикового дерева с таким множеством кнопок, что такому простаку, как я, управиться с ним было бы не под силу.

– Так вот, если вам по душе акварель, Нед, почему бы не попробовать и музыку? – предложил он, проследив мой взгляд. – Самое лучшее в мире утешение – хорошая музыка, то бишь исполненная, как положено, и если ее правильно выбрать. Я мог бы настроить вас на нужный лад, если хотите.

Я попыхтел немного. Трубка дает отличную возможность потянуть время, если кто-то слишком спешит.

– Вообще-то у меня вроде нет слуха, Сирил. Я пытался было время от времени, но бросил, сам не знаю почему, должно быть, просто отчаялся…

Эту ересь, почерпнутую, пожалуй, из моих неоконченных споров с Салли, он стерпеть не мог. Он вскочил на ноги, его лицо превратилось в маску ужаса и беспокойства; он схватил бисквитницу с печеньем и сунул ее мне, будто в еде было мое единственное спасение.

– Но, Нед, это же неправильно, позвольте сказать! У человека не может не быть слуха! Возьмите два, пожалуйста, на кухне есть еще.

– Если вы не против, я ограничусь трубкой.

– Отсутствие слуха – это лишь слова, Нед, более того – отговорка, призванная прикрыть, замаскировать чисто временное, психологическое сопротивление особому миру, в который вам не дает проникнуть ваше собственное сознание! Вас сдерживает всего лишь боязнь нового. Позвольте привести в пример некоторых моих знакомых…

Он разошелся вовсю, и я не стал его останавливать. Он тыкал в меня пальцем, а другой рукой прижимал к груди бисквитницу. Я слушал его, не сводя с него глаз, а в нужных местах выражал восхищение. Я вытащил свой черный блокнот и снял с него черную резинку, как бы намекая, что готов приступить к делу, но он не обратил на это внимания и продолжал болтать. Я представил себе, как мечтательно будет улыбаться Мэри Ласселс в своем логове, когда услышит, как ее возлюбленный читает мне мораль. А в это время мальчики и девочки из наружного наблюдения Монти проклинают его в своих грузовичках и, позевывая, ждут, когда их придут сменить. И, насколько я знаю, все они, включая Барра, были заложниками бесконечного рассказа Фревина об одной супружеской паре, которая соседствовала с ним в Сурбайтоне и которую он научил разделять с ним его любовь к музыке.

– В общем, я могу доложить начальству в нашем Отделе по проверке благонадежности, что музыка по-прежнему является вашей великой любовью, – заметил я с улыбкой, когда он замолчал.

Изображая из себя простую рабочую лошадку из Службы безопасности, я был вынужден призвать на помощь более высокое начальство. Затем, раскрыв на колене блокнот, я расправил страницы и казенным, без надписи, карандашом вывел “ФРЕВИН” в верхнем левом углу страницы.

– О да, если говорить о любви, Нед, то можно сказать, что музыка, несомненно, была моей великой любовью. А музыка, словами поэта, есть пища любви. Однако я считаю, что все зависит от того, какой смысл вы вкладываете в слово “любовь”. Что такое любовь? Вот в чем главный вопрос, Нед. Дайте определение любви.

До чего невыносимы бывают порой совпадения.

– Ну, мое определение любви довольно широкое, – сказал я неуверенно, держа карандаш наготове. – Каково ваше определение?

Он покачал головой и начал энергично размешивать кофе, обхватив своей пухлой пятерней изящную талию чайной ложки.

– Вы это запишете?

– Может быть. Как вы пожелаете.

– Значит, я обязан дать свое определение любви. Многие говорят о любви как о своеобразной нирване. Это не так, уж я-то знаю. Любовь неотделима от жизни. Она не вне жизни и не выше ее. Любовь в самой жизни. Любовь является неотъемлемой частью жизни, и то, что вы получаете от нее, зависит от путей и способов, при помощи которых вы вкладываете свои усилия и свою преданность. Наш господь служит отличным примером – не то чтобы я сам был очень религиозен, я – разумная личность. Любовь – это жертва, любовь – это тяжкий труд. Кроме того, любовь – это пот и слезы, точно так же как и по-настоящему хорошая музыка. По этому признаку, да, согласен, Нед, музыка – моя первая любовь, надеюсь, вы меня понимаете.

Я слишком хорошо его понимал. Я говорил подобные вещи Салли, но она напрочь их отмела. Кроме того, я понял, что в том умственном напряжении, в котором он находился, для него не существовало случайного вопроса, а тем более ответа – не больше, чем для меня, хотя в отличие от него я более изощренно скрывал свои мысли.

– Пожалуй, я не стану записывать это, – сказал я. – Будем считать, что это относится к категории весьма общих сведений. В подтверждение я сделал в блокноте лишь несколько пометок для памяти и чтобы показать ему, что протокол все-таки ведется.

– Ну, ладно, давайте перейдем теперь к делу, не то мое начальство скажет, что я опять тяну резину. Вступили ли вы в коммунистическую партию с тех пор, как наш представитель беседовал с вами в последний раз, Сирил, или вам удалось воздержаться от этого?

– Нет, не вступил, – сказал он, усмехнувшись.

– Вы не вступили в нее или воздержались от вступления?

Усмешка стала шире.

– Первое. Вы мне нравитесь, Нед. Люблю юмор, хотя его не часто встретишь. Всегда его любил. Тем более что у нас на работе он далеко не в избытке. В отношении юмора я бы сравнил "Танк" с безводной пустыней.

– Членство в обществах дружбы и борьбы за мир? – продолжал я, изображая разочарование. – В каких-нибудь сопутствующих или родственных им организациях? Не состоите ли членом клуба гомосексуалистов или какого-нибудь другого клуба для людей с отклонениями, не наблюдалось ли у вас в последнее время тайной страсти к малолетним мальчикам-хористам?

– "Нет" на все вопросы, благодарю покорно, – ответил Фревин, широко улыбаясь.

– Не занимали ли крупных сумм, чтобы жить не по средствам? Не содержите ли миловидную блондинку, создав для нее роскошные условия? Не приобрели ли машину "Феррари" под видом проката?

– Мои потребности остаются, как всегда, скромными, благодарю вас. Я не материалист и не какой-нибудь гуляка, как вы, видимо, уже убедились. Откровенно говоря, ненавижу материализм. Слишком много его в наши дни. Слишком.

– А по остальным пунктам?

– Тоже – "нет".

Я все время что-то писал, как бы сверяясь по воображаемому списку.

– Значит, торговать секретами за деньги не будете, – заметил я, переворачивая страницу и ставя еще несколько галочек. – Как я понимаю, вы начали заниматься изучением иностранного языка без письменного на то согласия своих нанимателей? – Мой карандаш опять застыл наготове. – Санскрита? Иврита? Урду? Сербо-хорватского? – перечислял я. – Русского?

Он застыл неподвижно, не сводя с меня глаз, а я прикинулся, что не обращаю на это внимания.

– Готтентотского? – продолжал я шутливо. – Эстонского?

– С каких пор это вошло в список? – спросил Фревин агрессивно.

– Готтентотский?

Я ждал.

– Языки. Знание языка не считается недостатком. – Это – достоинство. Достижение! Ведь не требуется же перечислять другие свои достоинства, чтобы получить допуск!

Я в раздумье откинул назад голову.

– Дополнение к Положению о процедуре проведения проверок на благонадежность от 5 ноября 1967 года, – процитировал я. – Я это очень хорошо помню. День фейерверков. Специальный циркуляр всем отделам кадров, включая ваш, согласно которому все желающие поступить на курсы по изучению иностранного языка должны заранее получить письменное на то разрешение. Рекомендовано Постоянным комитетом по юридическим вопросам, одобрено Кабинетом.

Он повернулся ко мне спиной.

– Я считаю этот вопрос совершенно не относящимся к делу и отказываюсь отвечать на него в каком бы то ни было виде. Запишите это.

Я пыхтел трубкой среди клубов дыма.

– Я сказал – запишите!

– Я бы на вашем месте так не поступал, Сирил. Они будут вас донимать.

– Пускай.

Я снова затянулся.

– Скажу вам, что по этому поводу думает мое начальство, хорошо? "Чем это наш Сирил занимается со своими приятелями Борисом и Ольгой? – сказало оно. – Задайте-ка ему этот вопрос. Посмотрим, что он на него ответит".

Все еще не поворачиваясь ко мне, он, сердито нахмурившись, переводил взгляд с места на место, призывая в свидетели моего невежества весь свой полированный мирок. Я ожидал, что за этим последует взрыв. Но вместо этого он укоризненно посмотрел на меня. "Мы ведь с вами друзья, – говорил его взгляд, – а вы так поступаете со мной". И так как в момент стресса наш мозг в состоянии справиться со множеством образов одновременно, то передо мной вдруг предстал не Февин, а машинистка, которую я однажды допрашивал в нашем посольстве в Анкаре, когда она вдруг подняла рукав кофточки и протянула ко мне руку, показывая свежие ранки от сигаретных ожогов: она истязала себя сама накануне ночью. "Не кажется ли вам, что я уже достаточно от вас настрадалась?" – заявила она. Но страдала она не из-за меня, а из-за двадцатипятилетнего польского дипломата, которому она преподнесла все известные ей секреты.

Я вынул трубку изо рта и ободряюще засмеялся.

– Полно, Сирил. Ведь Борис и Ольга – это те, с кем вы потихоньку занимаетесь на русских курсах, верно? Оклеиваете их дом обоями? Ездите на дачу к тете Тане и все такое прочее? Это обычный курс русского языка по Московскому радио, пять раз в неделю, в шесть ноль-ноль, как мне сказали. "Спросите его о Борисе и Ольге, – говорят, – спросите, почему он занимается русским в свободное время". Поэтому я и спрашиваю. Вот и все.

– Их не касается, почему я занимаюсь русским, – пробормотал он, все еще опасаясь подвоха в этом вопросе. – Чертовы ищейки. Это мое личное дело. Я сам это нашел, сам занимаюсь. А они пусть проваливают. Да и вы тоже.

Я рассмеялся. Но меня это тоже расстроило.

– Ну не надо, Сирил. Мы ведь с вами знаем правила. Не в ваших привычках нарушать порядок. Да и не в моих. Русский есть русский, а протокол есть протокол. Просто-напросто надо изложить все на бумаге. Я получил такие же инструкции, как и все.

Я опять обращался к его спине. Он отошел к эркеру и теперь уставился на свой небольшой квадратный дворик.

– Как их зовут? – потребовал он.

– Ольга и Борис, – повторил я терпеливо.

Он пришел в ярость.

– Тех, кто инструктировал вас, идиот! Я напишу на них жалобу! Суют нос не в свои дела, вот чем они занимаются. Чертовски жестоко в наши дни и в наше время. Откровенно говоря, и вы тоже приложили к этому руку. Как их фамилии?

Я все не отвечал: мне нужно было еще больше его разозлить.

– Во-первых, – еще громче заявил он, продолжая смотреть на свой грязный дворик. – Вы записываете? Во-первых, я не занимаюсь языком так, как это подразумевается Актом. Заниматься на курсах – значит ходить на занятия, то есть сидеть на скамье рядом с кучей каких-то ноющих машинисток, у которых дурно пахнет изо рта, значит терпеть издевки грубого

преподавателя. Во-вторых, я все-таки действительно слушаю радио, поскольку мне доставляет удовольствие искать на разных волнах примеры необычного и странного. Запишите это, и я поставлю свою подпись. Готово? Хорошо. А теперь убирайтесь. Сыт вами по горло, благодарю покорно. Ничего против вас лично. Это все они.

– Значит, вот так вы и вышли на Бориса и Ольгу, – подсказал я услужливо, продолжая писать. – Понял. Просто шарили по радиоволнам и попали на них. На Бориса и Ольгу. В этом нет ничего дурного, Сирил. Держитесь этой версии – и чего доброго, еще и языковую надбавку получите, если экзамен сдадите, разумеется. Денег всего ничего, да лучше, как говорится, в своем кармане, чем в чужом. – Я продолжал писать, но делал это не спеша и страшно скрипел казенным карандашом. – Их больше всего беспокоит, когда что-то утаивается, – поделился я с ним, как бы извиняясь за причуды своего начальства. – "Если он не доложил нам об Ольге и Борисе, что еще он утаил?" И, пожалуй, они правы. Они делают свое дело, мы – свое.

Перевернем еще одну страницу. Лизнем кончик карандаша. Сделаем еще одну запись. Я начинал чувствовать возбуждение погони. Любовь – это обязательство, говорил он, любовь – часть жизни, любовь – усилие, любовь – это жертва. Но любовь к кому? Я провел карандашом жирную линию и перевернул страницу.

– Не перейти ли нам к вашим знакомствам из-за Железного Занавеса, а, Сирил? – спросил я самым скучным голосом. – Начальство чертовски ими интересуется. Я подумал, может, у вас есть что добавить к тому списку, который вы представили нам раньше? Последняя фамилия относится, – я заглянул в блокнот, – о боже, это было вечность назад. Господин из Восточной Германии, член певческого общества, в которое вы вступили. С тех пор хоть кто-нибудь появился? Признаться, Сирил, вы у них на заметке, и все потому, что не сообщили о языковых курсах.

Его разочарование мной снова перерастало в гнев. И он снова стал выделять ударением неподходящие слова. На сей раз он как бы ударял по мне.

– К вашему сведению, все мои контакты из-за Железного Занавеса в прошлом и настоящем, как они есть, надлежащим образом перечислены и представлены моему начальству в соответствии с правилами. Если бы вы потрудились получить эти данные в отделе кадров министерства иностранных дел до этого допроса – я вообще не пойму, зачем было посылать ко мне такого недотепу…

Я решил прервать его. Я подумал, что едва ли стоит позволять ему превращать меня в ничто. В ничтожество – да. Но не в ничто, ибо я все же выполнял волю высокого начальства. Я вынул из блокнота листок бумаги.

– Вот, посмотрите, у меня они есть. Все ваши знакомые из-за Железного Занавеса на одной странице. Их всего пятеро за все ваши двадцать лет, и все до единого, ясное дело, одобрены Главным управлением. Так и должно быть, коли вы о них сообщаете. – Я положил листок в блокнот. – Ну, так кого дописать? Как фамилия? Подумайте, Сирил, не спешите. Им очень многое известно, этим нашим людям. Порой они меня шокируют. Не торопитесь.

Он не торопился. Совсем не торопился. А потом стал взывать к сочувствию.

– Я – не дипломат, Нед, – пожаловался он тонким голосом. – Я не из тех, кто по вечерам вопит "ура", живет в Белгрейвии, Кенсингтоне или в Сент-Джонс-Вудс [23], носит ордена и смокинги да общается с сильными мира сего, верно ведь? Я – чиновник. Я совсем не такой человек.

– Что значит – не такой, Сирил?

– Я не прочь доставить себе удовольствие, но это же другое дело. Для меня дороже всего дружба.

– Я знаю, Сирил. И в Главном управлении тоже знают.

Он снова изображает гнев, чтобы скрыть охватывающую его панику. Оглушающий язык телодвижений, когда он при этом сжимает свои огромные кулаки и поднимает локти.

– В этом списке нет ни одного человека, с кем бы я поддерживал контакты с тех пор, как сообщил о данных лицах. Имена в этом списке касались только совершенно случайных знакомств, за которыми совершенно ничего не последовало.

– А как насчет новых людей с тех пор? – уговаривал я терпеливо. – Вам их не скрыть, Сирил. Я этого не делаю, так зачем это нужно вам?

– Если бы было кого добавить, какой угодно контакт, даже рождественскую открытку от кого-нибудь, можете быть уверены, я бы первым упомянул его. Финиш. Кончено. Все. Следующий вопрос, прошу.

"Дипломат", – записал я. "Его", – записал я. "Рождество". "Зальцбург". Уж если я как-то изменил свое поведение, то в сторону еще большей дотошности.

– Им не совсем такой ответ нужен, Сирил, – произнес я, продолжая писать в блокноте. – По правде говоря, это звучит немного уклончиво. Им нужно ответить "да" или "нет", а если "да", то "кто"? Им нужен прямой ответ, ничто иное их не устроит. "Он не признался в отношении языка, так почему мы должны верить, что он признается в своих знакомствах из-за Занавеса?" – Вот ведь как они рассуждают, Сирил. Именно это они мне потом и скажут. И все в конце концов вернется опять ко мне, – пригрозил я ему, продолжая писать.

И снова я почувствовал, что моя рассудительность была для него пыткой. Он ходил взад и вперед и щелкал пальцами. Он бормотал, грозно выпячивал челюсть, рычал что-то насчет фамилий. Но я был слишком поглощен записями, чтобы замечать все это. Я ведь – старина Нед, мистер Трудяга из подручных Барра, усердно исполняющий задание Главного управления.

– Ну, так как нам быть с этим, Сирил? – сказал я наконец. И, приподняв блокнот, я прочитал вслух написанное. – "Я, Сирил Фревин, торжественно заявляю, что за последние двенадцать месяцев я не завел знакомства, пусть даже кратковременного, ни с одним советским гражданином, ни с гражданином Восточного блока, кроме тех, которые мною уже названы. Дата и подпись".

Я опять набил трубку и стал, не торопясь, раскуривать ее. Сунул обгоревшую спичку в коробок, а коробок – в карман. Моя речь, уже раньше перешедшая на шаг, теперь и вовсе замедлилась.

– С другой стороны, Сирил, мой вам совет: если в вашей жизни есть кто-нибудь такой, то не упускайте эту возможность признаться мне сейчас. И им тоже. Все, что вы мне расскажете, я сохраню в тайне; так же как и они, – в зависимости от того, что расскажу им я, а это отнюдь не значит, что они узнают все. В конце концов мы ведь не святые. А будь мы даже святыми, я не уверен, что мы прошли бы проверку на лояльность в Главном управлении.

Умышленно или нет, я задел в нем больную струну. Он только и ждал повода, и вот он его получил.

– Святой? Кто сказал "святой"? Не смейте, черт возьми, называть меня святым, я этого не потерплю! "Святой Сирил" – это мое прозвище. Разве не знали? Конечно, знали, вот и дразните меня!

Напряженное лицо, жесткое. Хлещет меня словами. Фревин прижат к канатам и бьет по чему попало.

– Если бы было такое лицо – хотя его и нет, – я бы не сказал ни вам, ни вашим ищейкам из Отдела проверки благонадежности – я бы сообщил об этом в письменном виде, как положено, в отдел кадров, который…

Я позволил себе прервать его во второй раз. Мне не хотелось, чтобы он задавал тон нашему диалогу.

– Но ведь у вас и впрямь никого нет, верно? – настаивал я, не выходя из взятой на себя пассивной роли. – Никого? Вы не ходили ни на какие мероприятия: приемы, встречи, собрания, официальные или нет, в Лондоне, вне Лондона, даже за границей, на которых мог присутствовать гражданин из-за Железного Занавеса?

– Нужно ли продолжать говорить, что нет?

– Нет, если ответ будет "да", – ответил я с улыбкой, которая ему не понравилась.

– Отвечаю – нет. Нет, нет, нет. Повторяю – нет. Поняли?

– Спасибо. Значит, я могу написать "нет", верно? Это значит – никого, даже русского. И вы распишетесь в этом. Да?

– Да.

– Что значит – нет? – уточнил я, как бы снова слегка пошутив. – Простите, Сирил, но мы должны быть кристально чисты, иначе Главное управление навалится на нас всей своей мощью. Вот, я написал за вас. Подпишите.

Я протянул ему карандаш, и он поставил свою подпись. Мне хотелось выработать в нем привычку. Он возвратил мне блокнот, трагически при этом улыбаясь. Он мне лгал и в своем бесстыдстве нуждался в моем утешении. И я ему дал это утешение, хотя, боюсь, только потому, что рассчитывал очень скоро его отобрать. Я запихнул блокнот во внутренний карман, встал и сладко потянулся, как бы объявляя, что в нашей дискуссии наступил перерыв, так как самое сложное позади. Я слегка потер поясницу – обычная проблема пожилого человека.

– А что это вы там копаете, Сирил? – спросил я. – Сооружаете собственный бункер, что ли? По-моему, бесполезная затея в наши-то дни.

Глядя мимо него, я обратил внимание на горку кирпичей, сваленных в углу небольшой площадки и накрытых куском толя. К ним через газон подходила незаконченная траншея глубиной около двух футов.

– Это будет пруд, – отозвался Фревин, с радостью ухватившись за новую тему. – Между прочим, я очень люблю воду.

– Пруд для золотых рыбок, Сирил?

– Декоративный пруд. – К нему возвращалось благодушие. Он успокоился, он улыбался, и его улыбка была такой теплой и искренней, что я невольно улыбнулся ему в ответ. – Что я собираюсь сделать, Нед, – начал он, придвигаясь по-дружески ко мне, – так это соорудить каскад на трех разных уровнях, начиная с четырех футов, и с интервалом по нисходящей в восемнадцать дюймов до траншеи. Каждый прудок будет подсвечен снизу скрытой лампой. Вода будет подаваться при помощи электрического насоса. Вечерами вместо того, чтобы задергивать шторы, я смогу любоваться своим собственным декоративным водяным каскадом с иллюминацией!

– И наслаждаться музыкой! – воскликнул я, полностью поддерживая его энтузиазм. – По-моему, это великолепно, Сирил! Гениально! Я просто потрясен. Мне бы хотелось показать это жене. Кстати, как вам Зальцбург?

Его повело, подумал я, глядя, как дернулась его голова прочь от меня. Я наношу удар – и его ведет, а я выжидаю и, как только он приходит в себя, наношу еще один удар.

– Мне говорили, что вы ездите в Зальцбург послушать музыку. Говорят, этот Зальцбург просто Мекка для вас, меломанов. На Рождество там оперы исполняются или вы предпочитаете рождественские песенки и гимны?

Должно быть, улицу перекрыли, подумал я, вслушиваясь в невероятную тишину. Пожалуй, Фревин думает о том же, по-прежнему уставившись в свой дворик.

– А вам-то что? – ответил он. – Вы же полный невежда в музыке. Сами сказали. И к тому же вечно суете нос в чужие дела.

– Верди? Я слышал о Верди. Моцарт? Он ведь австриец, верно? Я видел фильм. Готов поспорить, что на Рождество там непременно исполняют Моцарта. Разве я не прав?

Снова молчание. Я сел и опять приготовился писать под его диктовку.

– Вы один ездите? – спросил я.

– Конечно.

– Всегда?

– Конечно.

– И в прошлый раз?

– Да!

– В номере проживаете один?

Он громко рассмеялся.

– Я-то? Ни одной минуты. Что вы. К моему приезду в номере меня ждут танцовщицы. Каждый день новые.

– Но слушать музыку вечер за вечером – вам это нравится?

– Кто вам сказал, что мне нравится?

– Четырнадцать вечеров музыки. Пожалуй, двенадцать, если учесть дорогу.

– Может, двенадцать. Может, четырнадцать. Может, тринадцать. Кому какое дело? – Он все еще был в смятении. Он был где-то далеко-далеко.

– Ради этого вы туда и ездите? В Зальцбург? И платите за это? Да? Да, Сирил? Отзовитесь, пожалуйста, Сирил. Похоже, вы не слушаете меня? И нынешним Рождеством вы поехали туда тоже ради этого?

Он кивнул.

– Концерты вечер за вечером? Опера? Гимны?

– Да.

– Беда лишь в том, видите ли, что, по данным Главного управления, вы там прожили только одну ночь. Вы приехали в день, на который заказали номер, а на следующее утро, говорят, отбыли. Заплатили-то вы за номер полностью за две недели, а персонал утверждает, что вас там и в помине не было до самого последнего дня, когда кончался ваш отпуск. Так что вполне естественно, что Главное управление интересуется, где, черт побери, вас носило. – Тут я выступил с дерзким экспромтом. – И с кем? Их интересует, был ли кто-нибудь с вами. Например, Борис и Ольга.

Я перелистал несколько страниц блокнота, и в полной тишине их шелест прозвучал, как грохот упавшего кирпича. Его ужас передался и мне. Будто мы оба соучастники одного преступления. Тонкая перегородка отделяла нас от правды, но страх перед ней, казалось, был в равной степени невыносим как для человека, стремившегося спрятать правду за перегородкой, так и для меня, желавшего высвободить ее оттуда.

– Нам осталось только изложить это на бумаге, Сирил, – сказал я. – И тогда мы забудем всю эту историю. Я бы сказал, если хочешь покончить с чем-то, изложи это на бумаге. Иметь друга – не преступление. Даже если это иностранец, при условии, что он указан в списке. Он ведь иностранец, я полагаю? Однако я вижу, что вы колеблетесь. Наверное, он какой-то особый друг, если вы ради него пожертвовали музыкой.

– Нет его нигде. Он не существует. Он уехал. Я ему мешал.

– Ладно, он ведь не в Рождество уехал, верно? Раз вы были вместе. Он австриец, Сирил?

Фревин не подавал признаков жизни. Он был мертв, хотя глаза его были открыты. Я переусердствовал, нанося ему удары.

– Ну, хорошо. Значит, он француз, – высказал я предположение чуть погромче, чтобы выдернуть его из самосозерцания, в которое он погрузился. – Так он французик, этот ваш приятель, Сирил? Они ничего против французиков не имеют, хоть и не очень их жалуют. Ну же, Сирил, а может, это янки? Янки-то у них пройдет! – Никакого ответа. – Уж не ирландец ли он? Надеюсь, нет, иначе мне вас жаль!

Я рассмеялся вместо него, но не смог вывести его из угнетенного состояния. Все еще стоя у окна, он согнул большой палец и сверлил косточкой сустава свой лоб, будто пытался провертеть в нем пулевую дыру. Кажется, он что-то прошептал.

– Я не понял, Сирил?

– Он выше всего этого.

– Выше национальности?

– Он выше этого.

– Вы хотите сказать, он – дипломат?

– Он не приезжал в Зальцбург, вы что, ни черта не слышите? – Он резко обернулся ко мне и закричал: – Вам что, мозги свело? Какие там ответы, вы даже вопрос толковый задать не можете! Не удивительно, что в стране такая неразбериха! Куда девался ваш здравый смысл? Где, наконец, человеческое сочувствие?

Я снова встал. Медленно, чтобы он не сводил с меня глаз. Еще раз потер себе спину. Прошелся по комнате. Покачал головой, как бы говоря, что так дело не пойдет.

– Я пытаюсь помочь вам, Сирил. Если бы вы поехали в Зальцбург и остались там, то был бы один сценарий. Если вы потом отправились куда-нибудь еще, тогда он совсем другой. Если, скажем, ваш приятель – итальянец. Но если вы прикинулись, что едете в Зальцбург, а сами отправились, ну, я не знаю, в Рим или, скажем, в Милан, даже в Венецию, – это другое дело. Я не могу делать все за вас. Это несправедливо, и меня за это по головке не погладят.

У него широко раскрылись глаза. Он передавал свое безумие мне, а сам превращался в разумного человека. Я стал набивать трубку, целиком погрузившись в это занятие, и продолжал говорить.

– Вам трудно угодить, Сирил, – я трамбовал табак указательным пальцем, – вы, если хотите знать, недотрога. “Не трогайте меня здесь, не касайтесь там. Это можно, но только один раз”. Послушайте, так о чем же мне позволено с вами говорить?

Я зажег спичку, поднес ее к трубке и увидел, как он перенес костяшки пальцев на глаза, чтобы не видеть этой комнаты. Но я притворился, будто ничего не замечаю.

– Ну, ладно, оставим в покое Зальцбург. Если вам больно слышать про Зальцбург, не будем о нем говорить и вернемся к вашим знакомым из-за Железного Занавеса. Согласны?

Его руки медленно соскользнули с лица. Никакого ответа, но не было и явного протеста. Я продолжал говорить. Он хотел этого. Я почувствовал, что мои слова были для него мостиком между реальным миром и тем адом, который бушевал внутри его. Он хотел, чтобы я говорил за нас обоих. Мне показалось, что я должен признаться за него, и потому решил пустить в ход свою самую грозную карту.

– Тогда предположим на время, Сирил, что к нашему списку мы добавим фамилию Сергея Модрияна и поставим на этом точку, – предложил я беспечно, изо всех сил стараясь, чтобы мои слова не звучали угрожающе. – Просто чтобы обезопасить себя, – добавил я жизнерадостно. – Что вы скажете? – Его голова была низко опущена, так что лица я не видел. Продолжая жизнерадостно болтать, я выдвинул еще одно полезное предложение: “Ладно, штабисты, скажем мы им, берите своего несчастного мистера Модрияна. Хватит морочить нам голову, мы совершенно ни при чем. Получайте его – и точка. Неду с Сирилом пора делом заниматься”.

Он раскачивался, улыбаясь подобно висельнику. В полной тишине, охватившей округу, казалось, что мои слова отражаются от соседских крыш. Но до Фревина, похоже, они не доходили.

– Модрияна-то они и хотят, чтобы вы назвали, Сирил, – продолжал я урезонивать его. – Это – точно. Если вы скажете "да" насчет Модрияна и если я напишу его фамилию, что я уже делаю, и вы не будете возражать – а вы меня не останавливаете, так ведь? – то никто не сможет обвинить ни одного из нас в том, что мы были не вполне с ними откровенны. "Да, я приятель Сергея Модрияна, и пропадите вы все пропадом" – ну как? "И мы с ним ездили туда-то и туда-то, делали то-то и то-то, решили сделать еще кое-что и прекрасно провели время или не провели. В конце-концов, к чему вся эта гласность, если мне все еще запрещено общаться с весьма цивилизованным русским?" Ну, так как? Не важно, что, пока есть пробелы, мы заполним их потом. А дальше, как мне кажется, они закроют досье до следующего года, и мы еще успеем воспользоваться уикендом.

– Почему?

Я изобразил непонятливость.

– Зачем это им закрывать досье? – спросил он, охваченный подозрениями. – Ведь они какими были, такими и остались? Не могут же они вдруг перемениться и сказать: "Какой смысл?" Так не бывает. В любом случае у них одно на уме. И их не изменить. Они не могут стать другими. Не способны.

– Полно, Сирил! – Он погрузился в свои мысли и стал опять отдаляться. – Сирил!

– Что такое? В чем дело? Не кричите.

– Что с того, что ты русский в наши-то дни? Главное управление куда больше заволновалось бы, окажись Сергей французом! Я ведь тогда упомянул про французика, чтоб подловить вас. Сожалею об этом и приношу извинения. Но русский в наши дни… силы небесные, речь идет не просто о дружественной стране, речь идет о партнере! Вы-то знаете Главное управление. Они всегда отстают от жизни. Так же как и Горст. Наша задача – изменить положение. Вы слушаете меня, Сирил?

И вот здесь на какое-то мгновение я подумал, что проиграл игру: проиграл его соучастие, его зависимость, проиграл его добровольный отказ от неверия. Он прошел мимо меня как во сне, опять остановился в оконном проеме, где стал задумчиво разглядывать незаконченный бассейн, как и все остальные незавершенные проекты своей жизни, которым, как он, видимо, теперь понимал, было не суждено завершиться.

Затем, к моему облегчению, он заговорил. Не о том, что он совершил. Не о том, с кем он совершил это. А почему.

– Вам не понять, что значит весь день находиться взаперти с кучей недоумков.

Я было подумал, что он жалуется на свое будущее, но сообразил, что он имеет в виду "Танк".

– Весь день сидеть с ними в одной комнате, слушать их пошлые анекдоты, задыхаться от сигаретного дыма и запаха их тел. Вам не понять, куда там, вы ведь из привилегированных, как бы ни старались себя принизить. День за днем одно и то же смакуют: женскую грудь, нижнее белье, месячные да шалости на стороне. "Послушай, Святой, расскажи-ка нам для разнообразия грязный анекдотик! Держу пари, ты – темная лошадка! Небось трусики в обтяжку любишь? Лихой ты мужик! А чем наш Святоша в субботу вечерком занимается?" – Он был снова полон энергии и, к моему удивлению, неожиданно проявил дар подражания. Он засеменил ко мне походкой мужчины с наклонностями гомосексуалиста, отвратительная мягкая улыбка исказила его безволосое лицо. – "Слышал историю, как девчонки-скауты заводили мальчишек-скаутов? Они заводили их в свои палатки! Дошло?" Вы слышали что-нибудь подобное? Или: "Скажи-ка, Святоша, ты свой-то время от времени проверяешь? Подергиваешь, чтобы

убедиться, что у тебя все на месте? Не то, смотри, отвалится, чего доброго. Держу пари, он у тебя здоровый! Как у осла небось, ниже колен болтается, так что резинкой для носков придерживать приходится…" И все в таком же духе целыми днями, в рабочем кабинете, в столовой. С вами такого не бывает: вы ведь джентльмен. Знаете, что они подарили мне в День дураков первого апреля? Секретную депешу из Парижа, лично для Фревина, расшифровка адресатом вручную, ха-ха-ха. Молния, вы поняли шутку? Я – нет. И вот я иду в бокс, достаю книги, так? И расшифровываю, так? Вручную. Все опустили головы. Никто не смеется, не вмешивается. Я сделал первые шесть групп и вижу: все это – грязь, какой-то пошлый анекдот насчет какого-то французского письма. Все – дело рук Горста. Он попросил ребят из нашего посольства в Париже послать его для смеха. "Успокойся, Святой, не вешай носа, улыбнись. Это же просто шутка, Святоша, неужто ты шуток не понимаешь?" То же самое мне сказали в Кадрах, куда я пожаловался. Дурачатся, мол, и все. Проказы, видите ли, укрепляют моральный дух. Примите это за комплимент, говорят, будьте поспортивнее. Не будь у меня музыки, я бы давно руки на себя наложил. Я подумывал об этом, не стыжусь вам в этом признаться. Беда в том, что я не увидел бы их лица, когда они узнали бы, что натворили.

Предателю нужны две вещи, заметил однажды с горечью Смайли, когда Хейдон изменил Цирку: кого-то ненавидеть и кого-то любить. Фревин рассказал, кого он ненавидел. Теперь он начал говорить о том, кого любил.

– В ту ночь я обшарил весь мир: Пуэрто-Рико, Кабо-Верде, Иоганнесбург – и нигде не нашел ничего для себя привлекательного. Вообще-то мне больше нравятся любители. Они остроумнее, а мне это по душе, я вам уже говорил. Я не заметил, что наступило утро. У меня там эти плотные шторы с подкладкой за три сотни фунтов. После работы тишина для меня – все равно что воздух.

На его лице возникла другая улыбка, улыбка маленького мальчика в день своего рождения.

– "Доброе утро, Борис, мой друг, – говорит Ольга. – Как ты себя чувствуешь сегодня утром?" Затем она повторяет это по-русски, а Борис говорит, что ему немного не по себе. Ему часто не по себе, этому Борису. Он склонен к славянской меланхолии. Ольга, заметьте, принимается за него. Поддевает, но всегда очень мягко. А иногда у них возникает спор, что в общем-то естественно, так как они все время вместе. Но к концу программы они всегда мирятся. На другой день они не держат зла друг на друга. Откровенно говоря, Ольга на это не способна. Она предпочитает выложить все начистоту – и дело с концом. А потом они хохочут вовсю. Такие вот они люди. Положительные. Дружелюбные. Выражаются прилично. И музыкальные, конечно, – русские ведь. Я не очень жаловал Чайковского, пока их не послушал. Но потом мне все сразу стало ясно. Дело в том, что у Бориса весьма утонченный вкус в музыке. Ольга же… ей, пожалуй, слишком легко угодить. Вообще-то они ведь просто актеры, читающие текст. Но когда слушаешь их, чтобы выучить язык, то забываешь об этом. Все принимаешь за чистую монету.

А потом посылаешь им свою письменную работу, продолжал он.

Они бесплатно исправляют ее и дают советы, продолжал он.

И в первый раз даже не нужно писать в Москву. У них есть почтовый ящик в Люксембурге.

* * *

Он погрузился в молчание, но не очень опасное. Тем не менее я перепугался, как бы его транс не закончился слишком быстро. Я вышел из его поля зрения и встал в углу комнаты позади него.

– Какой адрес вы им дали, Сирил?

– Этот, разумеется. А какой еще я мог им дать? Поместья в Шропшире? Или виллы на Капри?

– А фамилию свою вы им тоже назвали?

– Конечно, нет. Ну, Сирил – да. То есть любой может быть Сирилом.

– Молодчина, – сказал я одобрительно. – Сирил, а дальше?

– Немо, – заявил он гордо. – Мистер С.Немо. "Немо" по-латыни означает "никто", как вам, наверное, известно.

Мистер С.Немо. Похоже, пожалуй, на мистер А.Пэтриот.

– Вы указали свой род занятий?

– Не настоящий. Вы опять глупости говорите.

– Так что же вы указали?

– Музыкант.

– Они интересовались вашим возрастом?

– Конечно. Как без этого? Им же надо знать, подходите вы или нет, если приз выиграете. Малолетним же призы не дают, так ведь? Нигде.

– А семейное положение – женат, не женат – вы это тоже сообщили?

– А как же иначе: ведь приз присуждался и семейным парам! Нельзя же выдать приз одному лицу, не учитывая его супруги. Это же неприлично.

– А что вы отправили, скажем, в первый раз, вы помните?

И на сей раз он сделал скидку на мою тупость.

– Тупица. А что, по-вашему, я им послал? Чертовы логарифмы? Пишешь, что согласен, получаешь бланки, заполняешь их, получаешь их люксембургский почтовый адрес, приходит учебник – и ты принят. А потом делаешь то, что Борис и Ольга предлагают делать в своей программе, не так ли? "Сделайте упражнение на стр. 9. Ответьте на вопросы на стр. 12". Вы что, в школу совсем не ходили?

– И вы преуспевали. В Главном управлении говорят, что у вас ум как энциклопедия, когда вы им пользуетесь. Это мне сказали. – Я сообразил, что лесть ему очень по душе.

– Между прочим, я не просто преуспевал, спасибо Главному управлению. Да будет вам всем известно, я претендовал на звание их лучшего ученика. Кое-какие преподаватели прислали мне кое-какие письма, причем некоторые с весьма похвальными отзывами, – добавил он, расплывшись в улыбке, возникавшей в ответ на похвалу. – Да будет вам известно, мне доставляло огромное удовольствие приходить в понедельник утром на работу, имея в кармане одно из этих маленьких писем и не говоря никому ни слова. Уж я-то мог рассказать вам кое-что, если бы захотел, думал я. Но я этого не делал. Я предпочитал держать это при себе. Я предпочитал своих друзей. Не хотел я, чтобы эти животные отпускали грязные шутки по поводу Ольги и Бориса, нет уж, благодарю покорно.

– И вы отвечали этим учителям?

– Только как Немо.

– Но вы с ними больше ничем этаким не занимались? – спросил я, пытаясь представить, определил ли он для себя границы, которые не мог переступить в этой своей первой тайной любовной истории. – То есть, если вам задавали простой вопрос, вы давали прямой ответ. Вы не конфузились.

– Ничуть! И причин для этого не было! Я старался быть предельно вежливым, подобно моим преподавателям. Это были профессора, а некоторые даже академики. Я был благодарен и прилежен. Это было самое малое, что они заслужили, учитывая, что обучение было бесплатным, добровольным и организовано в интересах развития взаимопонимания между людьми.

Опять во мне проснулся охотник. Я рассчитывал ходы, которые они должны были сделать, ведя с ним игру. Я пытался представить, как бы я сам повел эту игру, придумай Цирк что-нибудь столь же совершенное.

– И, наверное, после первых успехов стали приходить более серьезные задания: вместо простых стандартных упражнений – сочинения, эссе?

– Когда Совет преподавателей в Москве пришел к выводу, что я созрел для этого, да, меня перевели в категорию "свободного стиля".

– Вы помните, какие темы вам давали?

Он покровительственно рассмеялся.

– Неужто вы думаете, что я их забыл? Пять ночей на каждую тему со словарем? Два часа сна, если повезет? Очнитесь, Нед, будьте добры!

Я виновато хмыкнул, записывая его слова.

– "Моя жизнь" была первая тема. Я рассказал им о "Танке", не называя ни имен, разумеется, ни характера работы, естественно. Тем не менее, не стану отрицать, там присутствовал определенный элемент социальной оценки. Я подумал, что Совет имеет право знать это, особенно раз действует гласность и рушатся многие преграды на благо всего человечества.

– А следующая тема?

– "Мой дом". Я рассказал им о своих планах соорудить бассейн. Им это понравилось. И о приготовлении пищи. Один из них – известный кулинар. После чего мне задали написать сочинение на тему "Мое любимое времяпрепровождение". Я мог бы написать очень много, но не написал.

– Вы, наверное, описали свое увлечение музыкой?

– Не угадали.

Его ответ до сих пор звучит у меня в ушах как обвинение, как вопль товарища по несчастью. Как безнадежная мольба, посланная в эфир человеком, который, подобно мне, жаждал любви, пока еще не поздно.

– Я написал, что мое любимое времяпрепровождение – это "хорошая компания", да будет вам известно, – сказал он, и его щеки мгновенно раздвинулись в диковатой улыбке. – Тот факт, что покуда в моей жизни мне нечасто везло с хорошей компанией, не мешает мне радоваться тем редким случаям, когда такое бывало. – Похоже, он запамятовал, что уже ответил на вопрос, и вдруг сказал то, что я мог бы сказать о Салли: – У меня было чувство, будто я отрекся от чего-то в своей жизни, а теперь желаю получить назад.

– Вашими более серьезными работами там тоже восхищались? Они тоже произвели на них впечатление? – спросил я, продолжая усердно заносить все в блокнот.

Он опять ухмыльнулся.

– Сдержанно, я полагаю. Отчасти. Кое-чем. С оговорками, естественно.

– Почему вы так считаете?

– Потому что в отличие от некоторых у них хватило учтивости и добросердечия, чтобы высказать свою признательность. Вот почему.

Высказали они ее, поведал Февин, причем мне почти не пришлось его понукать, через некоего Сергея Модрияна, первого секретаря Советского посольства в Лондоне, которому в

качестве преданного местного представителя Московского радио было поручено откликнуться на молитвы Фревина.

Подобно всем добрым ангелам, Модриян прибыл без предупреждения и в одну промозглую ноябрьскую субботу появился на пороге дома Фревина с дарами своей солидной конторы: бутылкой "Московской" водки, банкой севрюжьей икры и невысокого качества альбомом о балете Большого театра. А также с прекрасно напечатанным письмом, в котором за исключительные успехи в изучении русского языка мистер С.Немо провозглашался почетным студентом Московского государственного университета.

Но самым большим подарком оказалась магическая личность самого Модрияна, специально подготовленного, чтобы составить Фревину столь желанную компанию, которую он так откровенно описал в принесшем ему победу эссе.

* * *

Мы достигли пункта назначения. Фревин успокоился, Фревин торжествовал. Фревин – надолго ли – состоялся. Его голос освободился от своих пут; его бесцветное лицо светилось улыбкой человека, познавшего истинную любовь и жаждавшего поделиться своей удачей. Если бы на свете нашелся кто-нибудь, кто смог бы вызвать у меня такую улыбку, я сам стал бы другим человеком.

– Модриян, Нед? Сергей Модриян? О Нед, речь идет о самой высшей лиге, уверяю вас. Я понял с первого взгляда. Никаких тебе полумер, подумал я. Это человек основательный. Сразу выяснилось, что у нас одинаковое чувство юмора. Едкое, и никакого вранья. К тому же схожие интересы, вплоть до композиторов. – Он безуспешно пытался перейти на более сдержанный тон. – В жизни очень редко случается, в моей по крайней мере, чтобы вкусы двоих людей так естественно совпадали – но не в отношении женщин, ибо здесь, должен признаться, опыт Сергея превосходит мой. Отношение Сергея к женщинам, – он усердно старался звучать осуждающе, – здесь я хочу сказать следующее: если бы подобным образом вел себя кто-нибудь другой, мне было бы весьма трудно смириться с этим.

– Он знакомил вас с женщинами, Сирил?

Его лицо приняло выражение полного отрицания.

– Никак нет, благодарю покорно. Да я бы ему и не позволил. Да и он не счел бы возможным включить подобные действия в сферу наших взаимоотношений.

– И даже во время ваших совместных поездок в Россию? – предположил я, сделав еще один выпад.

– Нигде, благодарю покорно. Между прочим, это бы разрушило наши отношения. Убило бы наповал.

– Значит, все эти истории о его женщинах – всего лишь сказки?

– Ничего подобного. Сергей сам мне это сказал. Сергей Модриян совершенно безжалостен по отношению к женщинам. Его коллеги подтвердили мне это в частных разговорах. Безжалостен.

У меня нашлось время подивиться психологическим способностям Модрияна – а может, речь идет о способностях его хозяев? Ведь возникли же узы дружбы между Модрияном, безжалостным любителем женщин, и Фревином, безжалостно их отвергающим.

– Значит, вы и с его коллегами познакомились? – спросил я. – Полагаю, в Москве? На Рождество?

– Только с теми, кому он доверял. Они бесконечно уважают его. И в Ленинграде тоже. Я был не очень придирчив, права не имел. Я был почетным гостем и соглашался со всем, что они для меня приготовили.

Я не отрывал глаз от блокнота. Бог знает, что я там понаписал, абракадабру. Там потом попадались целые абзацы, в которых я не мог разобрать ни слова. Я заговорил совершенно бесцветным голосом:

– И все это было в честь ваших удивительных лингвистических способностей, Сирил? Или же вы уже стали оказывать Модрияну дружеские услуги? Например, снабжать его информацией или тому подобное. Переводить стали и так далее. Говорят, многие этим занимаются. Им, конечно, не положено это делать. Но ведь нельзя же осуждать тех, – верно ведь? – кто хочет помочь гласности, коль скоро она настала. Мы ждали достаточно долго. Но мне надо все это описать по порядку, Сирил. Иначе с меня три шкуры спустят.

Я не смел поднять глаз. Я просто продолжал писать. Я перевернул страницу и написал: "продолжай говорить, продолжай говорить, продолжай говорить". И по-прежнему не поднимал глаз.

Он прошептал что-то нечленораздельное. Потом пробормотал:

– Нет. Не оказывал. Ни черта я не делал. – Его жалобный голос зазвучал громче. – Не говорите так, ладно? Не смейте. Ни вы, ни ваше Главное управление. "Снабжали его информацией" – да вы что? Как вы смеете! Я с вами разговариваю, Нед!

Я поднял голову, посасывая трубку и улыбаясь.

– Вот как? Конечно же, Сирил. Простите. За эту неделю вы у меня шестой, честно говоря. Сегодня все увлечены гласностью. Это модно. Мой возраст дает себя знать.

Он решил успокоить меня. Сел. Но не в кресло, а на его подлокотник. Он заговорил со мной вкрадчиво, в дружеской манере, напомнив мне моего учителя в подготовительной школе.

– Вы ведь по натуре либерал, не так ли, Нед? Во всяком случае, вы производите такое впечатление, хоть и выслуживаетесь перед Главным управлением.

– Да, пожалуй, свободомыслие во мне есть, – согласился я. – Хотя, естественно, мне о пенсии нельзя забывать.

– Конечно, есть! Вы ведь за смешанную экономику, верно? Ведь общественная собственность и частное богатство вам так же не по душе, как и мне. Человеческие ценности выше идеологии, вы в это верите? Остановить сошедший с рельсов поезд капитализма, пока он не разрушит все на своем пути? Конечно, верите! Вы проявляете определенное беспокойство об окружающей среде. Барсуки, киты, меховые манто, электростанции. Даже идея распределения, где она не посягает на права граждан. Братья и сестры шагают вперед к общей цели, культура и музыка для всех! Свобода передвижения и выбора гражданства! Мир! Ну, так что?

– По-моему, вполне разумно, – сказал я.

– Вам было мало лет в тридцатые годы, так же как и мне. Иначе бы я не стал иметь с ними дела. Мы – приличные люди, вот кто мы. Здравомыслящие. И Сергей такой же. Вы и Сергей – я по лицу вашему вижу, Нед. Не пытайтесь это скрыть, вы – одного поля ягоды. Так что не старайтесь меня чернить, а себя обеливать, потому что мы мыслим одинаково, так же как мы с Сергеем. Мы по одну сторону – против порока, бескультурья, пошлости. "Мы – непризнанные аристократы", – вот как Сергей называет нас. Он прав. Вы – один из них, вот и все, что я хочу сказать. То есть кто еще достоин этого? Где альтернатива тому, что окружает нас в повседневной жизни: деградации, транжирству, неуважению? Кого нам слушать вечерами на чердаке, вращая ручки приемника? Не молодых же выскочек, это уж точно. И не сытых богачей – что нового они могут сказать? И не тех, кто проповедует: "больше заработаешь, больше

потратишь, большего добьешься" – что от них проку? И уж, конечно, не свору этих развратников, млеющих от разговоров о женской груди да штанишках.

– Но мы и в объятия ислама не бросимся. Во всяком случае, пока они стравливают страны друг с другом и производят отравляющие газы. Так какой же выбор остается у деликатного человека, человека совестливого, теперь, когда русские и там, и тут отказываются от своих притязаний и натягивают на себя власяницы? Кому мы нужны? Где последние идеалы? Где найти утешение? Дружба? Кто-то должен заполнить пробел. Я не могу существовать в неопределенности. Я не могу остаться один. Особенно после Сергея, Нед. Я умру. Сергей был для меня самым дорогим на земле человеком. Плоть от плоти моей. Он был для меня всем. Что со мной будет? Вот то, что мне хочется знать. По-моему, полетят головы. У Сергея своя идеология. Я не вижу ее у вас – так мне кажется, по крайней мере. Я лишь слегка прикоснулся к ней, тоска то по одному, то по другому, и все же я не вполне уверен. Не знаю, подходите ли вы по своим качествам.

– Испытайте меня, – сказал я.

– Не знаю, хватит ли у вас остроумия. Живости. Я подумал об этом, как только вы вошли. Мысленно сравнил вас с Сергеем, и, боюсь, сравнение оказалось не в вашу пользу. Сергей не приковылял сюда, как загнанная лошадь, он взял меня штурмом. Раздается звонок, он врывается, будто купил этот дом, садится там, где сидите вы, но в отличие от вас не клюет носом – он вообще не мог подолгу оставаться на одном месте. Не такой Сергей человек, он ужасный непоседа, даже в опере. Так вот, он улыбается, как эльф, и поднимает рюмку своей водки. "Поздравляю, мистер Немо, – говорит, – позвольте называть вас Си? Вы победили в конкурсе, и я ваш первый приз".

Он провел тыльной стороной руки по рту, и я понял, что он стирает таким образом улыбку.

– Да, этот Сергей – лихой парень.

Он рассмеялся, и я рассмеялся с ним. Модриян, подумал я, давал ему ложное ощущение свободы. Как Салли – мне.

– Он даже не снял пальто, – продолжал он. – Сразу приступил к делу. "Прежде всего нам надо обсудить церемонию, – говорит. – Ничего сногсшибательного, мистер Немо, всего лишь пара моих друзей – между прочим, это Борис и Ольга – и один-два важных деятеля из Совета; небольшой прием для некоторых из ваших многочисленных поклонников в Москве".

"В вашем посольстве? – спросил я. – Туда я не пойду. На работе меня уничтожат – вы не знаете Горста".

"Нет, нет, мистер Немо, – говорит. – Нет, нет, мистер Си. Не о посольстве идет речь – кому оно нужно, это посольство? Речь идет о языковых курсах Московского государственного университета и об официальном провозглашении вас почетным студентом со всеми гражданскими почестями".

Вначале мне показалось, что я оглох. Мое сердце перестало биться. Я это ощущал. Никогда в жизни я не ездил дальше Дувра, не говоря уж о России, хоть и работал в министерстве иностранных дел. "Поехать в Москву? – сказал я. – Да вы спятили. Я – шифровальщик, а не профсоюзный босс с язвой желудка. Я не могу ехать в Москву вот так сразу, – сказал я. – Даже если там меня ждет приз, и Ольга с Борисом жаждут пожать мне руку, и прием в Университете, и всякое такое. Похоже, вы не представляете себе мое положение. Я занимаюсь весьма деликатным делом, – сказал я. – Только вот люди у нас не очень деликатные в отличие от работы. У меня постоянный и регулярный допуск к весьма секретным и сверхсекретным материалам. Я не из тех, кого можно тайком усадить в самолет – и в Москву. Кажется, я писал об этом в своих сочинениях, в некоторых из них".

"Тогда приезжайте в Зальцбург, – предложил он. – Какая разница? Прилетите в Зальцбург, скажите, что послушать музыку, затем потихоньку в Вену. У меня будут наготове билеты – правда, ничего не поделаешь, "Аэрофлот", но всего два часа лета, в аэропорту

никакой возни с паспортами, церемонию проведем в семейном кругу, никто и ухом не поведет”. Затем он вручает мне документ в виде свитка с обожженными краями – официальное приглашение, подписанное всеми членами Совета: на английском, с одной стороны, на русском – с другой. Не стану скрывать, я прочел по-английски. Не мог же я сидеть перед ним со словарем битый час, верно? Я показался бы им полным идиотом, это я-то, лучший их студент. – Он замолк, немного, как мне показалось, смутившись. – Затем я назвал свое настоящее имя, – сказал он. – Я знаю, что не должен был этого делать, но мне надоело быть Немо. Я хотел быть самим собой.

* * *

Вот тут вы ненадолго потеряете нить моего рассказа, как я потерял Сирила. До сих пор я поспевал за его воспоминаниями. А где было можно, я даже опережал его. И вдруг его понесло вперед, и я с трудом мог угнаться за ним. Он уже был в России, а я еще не был. Он не предупредил меня, когда мы туда перебрались. Он рассказывал о Борисе и Ольге, но уже не о том, как звучали их голоса, а о том, как они выглядели: как Борис обнял его и как Ольга застенчиво, но крепко, по-русски поцеловала его – он в общем-то против поцелуев, Нед, но у русских это все получается по-другому, не то что поцелуи, о которых твердит Горст, поэтому он не возражал. Более того, Нед, к этому привыкаешь, потому что у русских это – проявление дружеских чувств. Фревин помолодел лет на двадцать и рассказывал, как все хлопотали вокруг него, будто то был день его рождения, который прежде никто не отмечал. Ольга и Борис во плоти, Нед, точно такие, какими они были во время уроков.

“Поздравляю, Сирил, – говорит мне Ольга, – с совершенно феноменальным успехом в изучении русского языка”. Естественно, через переводчика, потому как я ей сказал, что не так уж сильно преуспел. Затем меня обнял Борис. “Мы гордимся, что пригодились вам, Сирил, – сказал он. – Сказать по правде, не все наши студенты дотягивают до конца, но те, кто дотягивает, компенсируют эти потери”.

К тому времени я уже составил наконец по кусочкам сцену, которую он рисовал такими широкими неожиданными мазками: его первое Рождество в России – а для Фревина, несомненно, первое счастливое Рождество вообще, – и рядом с ним Сергей Модриян в роли распорядителя. Они находятся в каком-то большом московском зале с люстрами; речи во время презентации, на которой присутствуют пятьдесят тщательно отобранных статистов с Московского радио, и Фревин наверху блаженства, Фревин в раю, то есть именно там, куда его нужно было доставить Модрияну.

Потом так же внезапно, как он угостил меня своими воспоминаниями, он вдруг замолчал. Его глаза погасли, голова склонилась набок, брови насупились, будто он задумался о своем поведении.

Я осторожно возвратил его в настоящее.

– Так где же он? – спросил я. – Свиток, который вам вручили. Он здесь? Свиток, Сирил. Подтверждающий, что вы – почетный студент.

– Мне пришлось вернуть его Сергею. “Пока вы будете в Москве, Сирил, – сказал он, – он будет висеть у вас на стене в золотой рамке. Но не здесь. Я не хотел бы подвергать вас опасности”. Он продумал все, этот Сергей, и он совершенно прав, учитывая, что такие, как вы да ваше Управление, день и ночь выслеживают меня.

Я не сделал паузы, нисколько не изменил голос и не добавил в него беспечности. Я снова опустил глаза и снова полез во внутренний карман. Я был его кандидатом на место Сергея, и

он рассчитывал на меня. Он демонстрировал мне свои уловки и приглашал меня воспользоваться ими. Инстинкт подсказал мне, что надо заставить его побороться за меня еще. Я снова уставился в блокнот и заговорил так, будто справлялся об имени его деда по материнской линии.

– Ну и когда же вы начали передавать Сергею наши великие британские секреты? – спросил я. – То, по крайней мере, что мы называем секретами. Очевидно, то, что считалось секретным несколько лет назад, сегодня едва ли будет считаться таковым, не так ли? Мы ведь не победили в "холодной войне" при помощи секретности, не так ли? Мы победили благодаря открытости. Благодаря гласности.

Я во второй раз заговорил о передаче секретов, но теперь, после того как я помог ему перейти Рубикон, он не сопротивлялся.

– Верно. Именно так мы одолели ее. И вначале Сергею даже не нужны были никакие секреты. "Сирил, секреты не играют для меня важной роли, – говорил он. – Секреты, Сирил, в меняющемся мире, в котором мы живем – мне приятно это сказать, – не что иное, как наркотик на рынке, – сказал он. – Я бы предпочел не привносить официальности в нашу дружбу. Однако если мне понадобится нечто подобное, то я непременно дам вам знать. Тем временем, – сказал он, – будет вполне достаточно, если я дам ему несколько письменных отзывов о качестве программ Московского радио, чтобы успокоить его начальство. Например, хорош ли прием. Можно было бы предположить, что они это знают, но это не так. Откровенно говоря, невежество русских проявляется порой совсем неожиданно. Это не придирки, это факт". Его также интересовало мое мнение об уроках, общий уровень преподавания, что я мог бы посоветовать Борису и Ольге на будущее, тем более что я оказался нестандартным учеником.

– Так отчего же все изменилось?

– Что изменилось? Пожалуйста, Нед, говорите яснее. Я ведь, знаете ли, не никто. Я не мистер Немо. Я – Сирил.

– Отчего же Сергей захотел вдруг получать от вас секреты?

– Это его посольство потребовало. Твердолобые. Варвары. Это они, как всегда. Они заставили его. Они отказываются смириться с ходом истории; они предпочитают жить, как троглодиты в своих пещерах, и продолжать эту никчемную "холодную войну".

Я сказал, что не понимаю его. Что немного не дорос до этого.

– Ничего удивительного. Дело обстоит таким образом. Прежде всего, в их посольстве многие недовольны тем, что столько внимания уделяется культурным связям. Между собой соперничают два лагеря. Я был невольным свидетелем этого. Голуби – те, естественно, за культуру и прежде всего за гласность. По их мнению, культура заполнила собой пустоту, образовавшуюся на том месте, где была вражда. Это мне объяснил Сергей. Ястребы же, включая, к моему сожалению, самого посла, хотели, чтобы Сергей продолжил старые традиции, то есть то, что от них осталось, чтобы он собирал разведданные и вообще действовал агрессивно и скрытно, независимо от перемен в мировом климате. Твердолобым из посольства наплевать, что Сергей идеалист. Как, например, и Горсту. Признаться, Сергею пришлось ступить на весьма опасную тропу и лавировать между теми и другими. Я счел своим долгом действовать как он. Мы вместе занимались культурными делами: немного языком, немного искусством или музыкой; а затем, чтобы ублажить ястребов, немного секретами. Нам приходилось ладить и с теми, и с другими, так же как вам со своим Главным управлением, а мне с "Танком".

Он ускользнул, я опять терял его. Пришлось прибегнуть к помощи кнута.

– Так когда же? – спросил я нетерпеливо.

– Что "когда"?

– Не хитрите со мной, Сирил, прошу вас. Мне это нужно зафиксировать. Смотрите, сколько уже времени. Когда вы начали давать Сергею Модрияну информацию, что вы ему давали, зачем, за сколько, когда это прекратилось и почему, ибо прекрасно могло продолжаться по сей день? Я еще хочу воспользоваться остатком уикенда, Сирил, так что прошу вас. Как и моя жена. Я бы хотел расслабиться перед теликом. Мне сверхурочные не платят, знаете ли. Мы работаем сдельно. А как дело доходит до зарплаты, то у всех одинаково. Да будет вам известно: мы живем в век хозрасчета. Смотрите, говорят, как бы вас не приватизировали.

Он меня не слышал. Не хотел слышать. Он где-то блуждал мыслями, стараясь отвлечься, найти какое-то укрытие. Моя злость была не совсем наигранная. Я начинал ненавидеть Модрияна. Я злился при мысли, что мы в своем стремлении выжить так сильно зависим от доверчивости невинных. Мне было тошно, что такой ловкач, как Модриян, ухитрился превратить одиночество Фревина в предательство. Мне становилось страшно при мысли, что любовь может быть антитезой долга. Я проворно встал на ноги, все еще используя злость как союзника. Фревин безучастно сидел на краю резного табурета в стиле короля Артура с эмблемой Королевского флота, вышитой на сиденье.

– Покажите мне свои игрушки, – приказал я.

– Какие игрушки? Я, простите, мужчина, а не ребенок. Я у себя дома. Не смейте мной командовать.

Я вспоминал технику Модрияна, то, чем он снабжал своих агентов. Я вспоминал свою собственную технику в те дни, когда выводил на советские цели агентов, похожих на Фревина, хоть и не настолько сумасшедших, как он. Я представлял, как бы обращался с таким ценным подарком, как Фревин, живущим чужим умом.

– Мне нужно увидеть вашу фотокамеру, Сирил, не так ли? – сказал я раздраженно. – Ваш скоростной передатчик, правильно, Сирил? Расписание передач. Одноразовые шифровальные таблицы. Кристаллы. Материалы для тайнописи. Ваши тайники. Я должен их видеть, Сирил, они должны быть у меня в портфеле к понедельнику. После этого я хочу попасть домой, чтобы успеть посмотреть матч "Арсенал" – "Юнайтед". Вы, может, футболом не увлекаетесь, а я – да. Так что нельзя ли побыстрее и без этого дерьма, прошу вас.

Я чувствовал, что его безумие выветривается. Он был опустошен, как и я. Он сидел, опустив голову, раздвинув колени и безучастно уставившись на свои руки. Я чувствовал, что близится конец: тот момент, когда кающийся грешник устает от своей исповеди и от эмоций, которые ее вызвали.

– Сирил, мое терпение на исходе, – сказал я.

И, поскольку он все еще молчал, я решительно подошел к телефону, тому самому, который благодаря усилиям подставного техника Монти был постоянно включен на подслушивание. Я набрал прямой номер Барра и услышал голос его шикарной секретарши, той самой, которая не знала моего имени.

– Дорогая, – сказал я. – Я задержусь здесь еще на час, если повезет. Медленно подвигается. Да, верно, я знаю, прости, пожалуйста. Я говорю, прости. Да, разумеется.

Я повесил трубку и укоризненно посмотрел на него. Он нехотя поднялся и повел меня наверх. Мансарда под самой крышей служила дополнительной спальней. Приемник стоял на столике в углу – немецкий, как правильно определил Монти. Я включил его под взглядом Сирила, и мы услышали женский голос с русским акцентом, возмущенно вещавший о преступной московской мафии.

– Почему они делают это? – напустился на меня Фревин, будто я был в том повинен. – Русские. Почему они все время поносят собственную страну? Раньше такого не было. Они ею гордились. Я тоже гордился. Их кукурузные поля, бесклассовое общество, шахматы, космонавты, балет, спортсмены. Это был рай, пока они не начали его всячески охаивать. Они забыли в себе все хорошее. Черт знает что – такой позор. Так я и сказал Сергею.

– Что же вы до сих пор их слушаете? – спросил я.

Он почти зарыдал, но я притворился, что не замечаю.

– Чтобы не пропустить их весточку…

– Короче, пожалуйста, Сирил!

– …что меня снова привлекают. Что я им опять нужен. "Вернитесь, Сирил. Вы прощены, с любовью, Сергей". Вот и все, что я хочу услышать.

– Как они это передадут?

– Белая краска.

– Поясните.

– "Собака испачкалась белой краской, Ольга"… "Эту книжную полку нужно покрасить белой краской, Борис"… "О боже, боже, Ольга, смотри, кто-то окунул хвост этой кошки в белую краску. Ненавижу жестокость", – говорит Борис. Почему он этого не говорит, когда я слушаю?

– Не отвлекайтесь, слышите? Итак, вы получили сообщение. По радио. Ольга или Борис или оба произносят слова "белая краска". Что дальше?

– Сверяюсь с расписанием передач.

Я вытянул руку и, щелкая пальцами, стал понукать его.

– Поторапливайтесь! – сказал я.

Он поторапливался. Нашел деревянную щетку для волос. Вынув из гнезда щетину, он запустил пальцы в отверстие и достал листок мягкой, воспламеняющейся бумаги с рядом цифр, обозначавших время дня и частоту волн. Он протянул его мне, полагая, что этого будет достаточно. Я взял его, не проявив эмоций, и сунул в блокнот, взглянув при этом на часы.

– Спасибо, – сказал я кратко. – Дальше, Сирил. Где шифровальные таблицы и передатчик? Только не утверждайте, что у нас их нет, у меня не то настроение.

Он схватил жестянку с тальком и стал открывать дно, отчаянно стараясь угодить мне. Он нервно заговорил, вытряхивая порошок в умывальник:

– Ко мне относились с уважением, понимаете, Нед, такое не часто случается. У меня их три. Ольга и Борис должны дать мне знать, какой из банок пользоваться, но тогда была белая краска, а сейчас – композиторы. Чайковский – значит, номер три, Бетховен – два, а Бах – один. Они идут в алфавитном порядке, латинском конечно, чтобы легче было запомнить. Обычно ведь возникают мимолетные знакомства, а не дружба, не так ли? Если только не встретишь такого, как Сергей.

Наконец он опорожнил банку. На ладони у него лежали три детекторных кристалла и миниатюрная шифровальная таблица с увеличительным стеклом.

– Он получил от меня все, Сергей то есть. Я отдал все. Он что-нибудь скажет – для меня это на всю жизнь. У меня плохое настроение, он тут же его исправляет. Он понимал. Он видел меня насквозь. У меня от этого возникало приятное чувство, что меня знают. А теперь все прошло. Все вернулось в Москву.

Меня пугала его беспорядочная речь. Как и его болезненное желание угодить мне. Будь я его палачом, он предупредительно ослабил бы узел своего галстука.

– Передатчик, – оборвал я его. – На кой черт вам кристаллы и таблица, если нечем передавать!

Так же торопливо он наклонился своим пухлым телом к полу и отогнул угол ворсового вильтонского ковра.

– Беда в том, что у меня нет ножа, Нед, – пожаловался он.

Не было его и у меня, но я не рискнул оставить его одного, боясь потерять над ним контроль. Я присел рядом с ним. Он возился с неприбитой половой доской, тщетно пытаясь

приподнять ее своими непослушными пальцами. Сжав кулак, я ударил по одному концу доски и с удовлетворением увидел, что противоположный ее конец приподнялся.

– Прошу вас, – сказал я.

Можно было догадаться, что ему дадут старье; такой техникой больше не пользуются: какие-то серые аппараты, съемный передатчик, шнуры для подключения к приемнику. Однако он с гордостью вручил мне всю эту кучу хлама.

В глазах его была страшная тревога.

– Понимаете, Нед, все, что от меня осталось, – это дыра, – объяснил он. – Не хочу вызывать у вас отвращения, но меня больше нет. И дом этот уже ничто. Я любил его. Он заботился обо мне, как я заботился о нем. Этот дом и я – мы ничего не стоили бы друг без друга. Позвольте заметить, если вы женаты, вам трудно понять, что значит для человека дом. Жена встревает между вами и им. То есть между домом и вами. Ваша жена. Вы и он. Модриян. Я любил его, Нед. Я потерял голову. "Остыньте, Сирил, расслабьтесь, у вас галлюцинации". Я не мог. Сергей был моим отдыхом.

– Камеру, – потребовал я.

Он не сразу понял меня. Он был одержим Модрияном. Он смотрел на меня, но видел Модрияна.

– Не надо так, – сказал он, ничего не понимая.

– Камеру! – заорал я. – Ради бога, Сирил, неужто у вас выходных не бывает?

Он остановился у шкафа. На дубовых дверцах были вырезаны мечи Камелота.

– Камеру! – завопил я еще громче, так как он все еще проявлял нерешительность. – Как можно незаметно передать другу пленку в опере, если до этого не были сфотографированы материалы?

– Не волнуйтесь, Нед. Успокойтесь, ладно? Пожалуйста. – Покровительственно улыбаясь, он запустил руку в шкаф. Он сверлил меня торжествующим взглядом, будто говорил: "Вот, полюбуйтесь". Он пошарил в шкафу, таинственно улыбаясь. Вынул театральный бинокль и направил его на меня, сначала правильно, а потом другим концом. Затем он передал его мне, чтобы я направил его на него. Я взял бинокль в руки и сразу почувствовал, что он слишком тяжел. Я повернул среднюю ручку, пока не раздался щелчок. Он одобрительно мне кивал, приговаривая: "Так, Нед, правильно". Схватил с полки книгу и открыл в середине. "Все танцоры мира", с иллюстрациями. Маленькая девочка исполняет "па-де-ша". Салли тоже ходила в балетную школу. Он отстегнул от бинокля ремешок, и оказалось, что тот служит своеобразным метром. Он отобрал у меня бинокль, направил его на книгу, измерил расстояние и повернул рукоятку до щелчка. – Понятно? – сказал он с гордостью. – Компрене, а? Его специально изготовили. Для меня. Для выходов в оперу. Сергей лично сконструировал его. В России много халтурщиков, но Сергей привлек лучших мастеров. Я засиживался в "Танке" допоздна и фотографировал для него все поступившие за неделю материалы, если у меня было настроение. Я потом передавал ему пленку, когда мы сидели в партере. Обычно я делал это во время исполнения какой-нибудь арии – это стало у нас вроде игры. – Он возвратил мне бинокль и отошел в другой конец комнаты, приглаживая голый череп, будто у него там копна волос. Затем он развел руки в стороны, как бы проверяя, не идет ли дождь. – Сергей взял от меня самое лучшее, Нед, и его больше нет. Се ля ви, скажу я вам. Теперь дело за вами. Хватит ли у вас мужества? Хватит ли у вас ума? Вот почему я вам написал. Я должен был. Я был опустошен. Я вас не знал, но вы были мне нужны. Мне был нужен приличный человек, который понял бы меня. Человек, которому я снова мог бы доверять. Дело за вами, Нед. У вас есть шанс. Бросьте все и живите, пока не поздно, скажу я вам. Судя по всему, жена ваша не очень вас балует. Посоветуйте ей жить своей жизнью, а не вашей. Мне надо было бы дать объявление, верно? – жутковатая улыбка, обращенная ко мне. – "Одинокий мужчина, некурящий, любитель музыки и острого словца". Я иногда просматриваю эти колонки – а

почему бы и нет? Порой мне даже хотелось ответить, но я не знал, как разорвать отношения, если я не подойду. Вот я и написал вам, верно? Мне казалось, я обращаюсь к богу, пока не появились вы в своем потертом пальто и не стали задавать свои дурацкие вопросы, несомненно составленные Главным управлением. Пора вам стать на собственные ноги, Нед, так же как и мне. Вас запугали, вот в чем беда. По-моему, отчасти в этом виновна ваша жена. Я прислушался к вашему голосу, когда вы извинялись, и вы произвели неважное впечатление. Вы не из тех, кто берет у других. И все же мне кажется, что я мог бы что-то из вас сделать, а вы могли бы что-то сделать из меня. Вы могли бы помочь мне копать бассейн. Я бы познакомил вас с музыкой. Одно другого стоит, верно? Перед музыкой никто не устоит. А сделал я это только из-за Горста. – Он вдруг воскликнул в ужасе: – Нед! Оставьте ее в покое, слышите! Прочь свои грязные руки от моей собственности, Нед! Сейчас же!

Я ощупывал его пишущую машинку “Маркус”. Она лежала под несколькими сорочками в шкафу, где он хранил свой бинокль. Подписано: А.Пэтриот, вспомнил я. Патриот, преданный тому, кому он понравится. Я догадался раньше, да и он сам подтвердил это, но при виде машинки мы оба почувствовали, что дело идет к концу, и пришли от этого в волнение.

– Так почему же вы порвали с Сергеем? – спросил я, проводя пальцами по клавишам.

На сей раз он не отреагировал на мою лесть.

– Не я с ним порвал. А он. С этим еще не покончено, коль вы занимаете его место. Уберите ее. Накройте как было, спасибо.

Я выполнил его просьбу. Я спрятал вещественное доказательство в виде машинки.

– А что он сказал? – спросил я небрежно. – Как он объявил вам об этом? Или оставил записку и сбежал? – Я снова подумал о Салли.

– Сказал немного. Много слов не скажешь, когда один торчит в Лондоне, а другой – в Москве… Молчание красноречивей слов.

Он подошел к радио и сел перед ним. Я следовал за ним по пятам, готовый остановить его.

– Давайте включим и послушаем хорошенько. Может, придет весточка: “Вернитесь, Сирил”, – кто знает?

Я смотрел, как он наладил передатчик, распахнул окно и выбросил наружу проволочную антенну, похожую на рыболовную леску, только со свинцовым грузилом вместо крючка. Я смотрел, как он вглядывался в расписание передач, как записал сигнал 505 и свои позывные на магнитофоне. Затем он соединил магнитофон с передатчиком и послал жужжащий сигнал в эфир. Он проделал это несколько раз, а затем перешел на режим приема. Он ничего не получил, да и не ожидал этого: он показывал мне, что больше этого не будет.

– Но Сергей все же сказал мне, что с этим покончено, – произнес он, не сводя глаз со шкалы. – Я не упрекаю его. Он это сказал.

– Что кончено? Шпионаж?

– О нет, шпионить будут всегда, не так ли? С коммунизмом покончено, вот с чем. Он сказал, что коммунизм в наши дни превратился в религию меньшинства, а мы этого не понимали. “Пора сушить весла, Сирил. Если провалитесь, лучше не приезжайте в Россию, Сирил. Новому режиму будет с вами несколько неловко. Нам, может, придется сделать жест и возвратить вас. Мы с вами отстали от событий. Это решение Московского центра. Сегодня Москва понимает только одно: твердую валюту. Как можно больше фунтов и долларов – вот то, что им нужно. Боюсь, что нас с вами сдали в архив, мы с вами лишние, пройденный этап, к тому же с нами никто не хочет иметь дела. Москва не может позволить себе иметь дело с шифровальщиком из министерства иностранных дел с допуском к секретной и сверхсекретной документации; они, пожалуй, считают нас скорее пассивом, чем активом, а потому отзывают меня домой. Поэтому мой вам совет, Сирил, взять длительный отпуск, показаться врачу,

позагорать на солнце и отдохнуть, поскольку, между нами, у вас проявляются нежелательные симптомы. Мы бы хотели как-то отблагодарить вас, да с твердой валютой у нас проблемы, по правде говоря. Если вы не против принять скромную пару тысяч, мы могли бы устроить это через швейцарский банк; что до более крупных сумм, то это дело будущего". Сказать откровенно, со мной говорил совсем другой человек, Нед, – продолжал он тоном героического непонимания. – Мы были такими большими друзьями, а теперь я ему больше не нужен. "Не относитесь к жизни так серьезно, Сирил", – говорит он мне. Твердит, что у меня перенапряжение, что я, мол, в разладе с самим собой. Возможно, он прав. Я прожил ненужную жизнь, вот и все. Но порой убеждаешься в этом слишком поздно, правда? Думаешь, что ты такой, а оказываешься совсем другим, совсем как в опере. И все же не надо унывать. Одолеем еще один день. Ищущий да обрящет. Нет худа без добра. Вот так-то.

Он развернул свои пухлые плечи и слегка надулся, как человек, стоящий выше всего происходящего.

– Вот так-то, – повторил он и бодро зашагал в гостиную.

Мы закончили. Осталось только получить недостающие ответы и составить перечень выданных секретов.

Мы закончили, но именно я, а не Фревин, не торопился сделать последний шаг. Сидя на подлокотнике кресла, он отвернулся от меня, наигранно улыбаясь и подставляя моему ножу свою длинную шею. Он ждал удара, а я отказывался его нанести. Круглая лысая голова его напряженно тянулась кверху, а сам он отстранился от меня, как бы говоря: "Ну, давай же, бей сюда". Но я не мог этого сделать. Я не двинулся с места. В руках у меня был блокнот с записями, которые ему предстояло подписать и тем самым уничтожить себя. Я не двигался. Я был на его дурацкой стороне, а не на их. Но что же это за сторона? Является ли любовь идеологией? Является ли преданность политической партией? А может, мы, торопясь поделить мир, поделили его неправильно, не обратив внимания, что настоящая война ведется между теми, кто еще находился в поиске, и теми, кто во имя победы свел свою слабость до наименьшего общего коэффициента безразличия? Я был на грани уничтожения человека за то, что он любил. Я привел его к ступеням его собственного эшафота, притворившись, что мы всего лишь совершаем воскресную прогулку.

– Сирил?

Мне пришлось еще раз повторить его имя.

– В чем дело?

– Полагается взять подписанное вами заявление.

– Можете сообщить Главному управлению, что я способствовал взаимопониманию между странами, – сказал он услужливо. Мне казалось, что, если бы он мог, он сам бы сказал им это вместо меня. – Скажите им, что я старался положить конец безумной и абсурдной вражде, которую много лет наблюдал в "Танке". Они тут же успокоятся.

– Ну, они, в общем, ожидали услышать нечто подобное, – сказал я. – Но есть еще кое-что, о чем вы не догадываетесь.

– Кроме того, напишите, что я прошу другую работу. Я бы хотел уйти из "Танка" и доработать до пенсии в открытом учреждении. Я согласен на разжалование. Денег мне хватает. Я не тщеславен. По мне перемена места работы лучше всякого отдыха. Куда вы идете, Нед? Удобства в другом месте.

Я шел к двери. Я шел в мир разума и свободы. Создалось впечатление, будто моим миром стала эта кошмарная комната.

– Иду в свой Отдел, Сирил. На час или около того. Не могу же я, как фокусник, вытащить вам ваше заявление из цилиндра. Его надо составить надлежащим образом и по форме. А что до уикенда, то, по правде говоря, я их просто не люблю. Между нами, эти уикенды – просто

дыры во Вселенной. – Что это я заговорил с его интонацией? – Не беспокойтесь, Сирил. Я сам найду выход. А вы отдохните.

Я хотел сбежать до их прихода. Глядя в окно мимо Фревина, я увидел, как Монти и двое его ребят вылезают из фургона, а к дому припарковывается черная полицейская машина – слава богу, Служба не имеет права производить аресты.

Но Фревин заговорил снова, как иногда неожиданно говорит умирающий, когда все думают, что он уже испустил последний вздох.

– Не оставляйте меня одного, Нед, прошу. Я больше не могу. Я не смогу объяснить незнакомому человеку, что я натворил, Нед, больше не смогу, и никто бы не смог.

Я услышал шуршание шагов по гравию, затем зазвенел звонок у входной двери. Фревин поднял голову, отыскал глазами мой взгляд, и я увидел, что в его глазах появилось понимание происходящего, которое сменилось неверием и появилось опять. Я не сводил с него глаз, пока отворял дверь. Рядом с Монти стоял Палфри. За ними – два офицера полиции в форме и человек по имени Редман, больше известный как “Бедлам”, из команды лекарей Службы.

– Потрясающе, Нед, – торопливо бросил мне Палфри, а остальные рванулись мимо нас в гостиную. – Настоящая сенсация. Вы заслужили медаль. Я прослежу за этим.

На Сирила надели наручники. Мне не приходило в голову, что они это сделают. Сирила заставили завести руки за спину, отчего его подбородок вздернулся кверху. Я проводил его до фургона и помог взобраться внутрь, но к тому времени он вновь обрел чувство собственного достоинства, и теперь ему было безразлично, чья рука поддерживает его под локоть.

* * *

– Не всякому по плечу расколоть подготовленного Модрияном агента между завтраком и обедом, – сказал Барр с мрачным удовлетворением. Мы ужинали в уютном ресторане “Чеккони”, куда по его настоянию отправились в тот же вечер. – Наши дорогие Братья по ту сторону Парка вне себя от ярости, злости, негодования и зависти, и это в общем-то неплохо. – Но он обращался ко мне из мира, который я временно покинул.

– Он сам раскололся, – возразил я.

Барр строго посмотрел на меня.

– Так не пойдет, Нед. Мне не доводилось видеть лучше разыгранной партии. Вы были проституткой. Другого выхода не было. Мы все проститутки. Проститутки, которым платят. Но вообще-то с меня довольно вашей меланхолии – надо же, сидит здесь на Нортамберлендском авеню, куксится, как грозовая туча, из-за своих дам. Если не можете решиться, это и есть решение. Оставьте свою маленькую любовь и возвращайтесь к Мейбл, вот вам мой непрошеный совет. Я к своей вернулся на прошлой неделе, и это – конец света.

Я вдруг рассмеялся, сам того не желая.

– Вот что я решил, – продолжал Барр после того, как мы решили осилить еще одно огромное блюдо спагетти. – Хандра перестает быть вашим образом жизни, и вы перестаете работать в Следственном отделе, где, по моим скромным наблюдениям, вы слишком долго занимались самолюбованием. Вам надлежит постелить свой коврик на Пятом этаже и заменить Питера Гиллама в качестве руководителя моего секретариата, что больше подходит вашему кальвинистскому складу, а мне позволит избавиться от одного офицера-бездельника.

Я последовал его совету – во всех отношениях. Не потому, что совет исходил от него, а потому, что эти слова наконец дошли до меня. На следующее же утро я сообщил Салли о своем

решении; это было отвратительно, но хоть как-то отвлекло меня от переживаний по поводу Фревина. В течение нескольких месяцев по ее просьбе я писал ей из Танбридж-Уэлс, но потом это стало так же трудно делать, как писать домой из школы. Салли была последней, по выражению Барра, маленькой любовью. Быть может, мне раньше представлялось, что, вместе взятые, они возместят одну большую любовь.

Глава 12

– Ну, вот и все, – сказал Смайли. Отблеск угасающего камина осветил забранную панелями библиотеку, скользя по провалам книжных полок с запылившимися книгами о путешествиях и приключениях, по ветхой, в трещинах, коже кресел, по побуревшим фотографиям исчезнувших батальонов офицеров в форме и со стеками в руках и, наконец, по нашим таким разным лицам, устремленным на Смайли, восседающего на почетном троне. Четыре поколения Службы расположились в этой комнате, но спокойный голос Смайли и обволакивающий комнату сигаретный дым, казалось, сплотили нас в одну семью.

Я не припомню, чтобы Тоби особенно настойчиво приглашали на встречу, но персонал, несомненно, ожидал его, и официанты бросились ему навстречу, как только он прибыл. Во фраке с широкими шелковыми отворотами и в жилете с балканской отделкой из сутажа он весьма походил на риттмейстера.

Барр прибыл прямо из аэропорта Хитроу и из уважения к Джорджу переоделся во фрак в своем “Ровере”. Он вошел, почти не привлекая к себе внимания, бесшумной походкой танцора, которой, похоже, легко овладевают крупные мужчины. Вот Монти Эрбак заметил его и тут же уступил ему свое место. Недавно Барр стал первым Координатором в возрасте тридцати пяти лет.

У ног Смайли расположилась последняя группа моих студентов – девушки в вечерних туалетах, похожие на букет цветов, юноши с живыми и свежими лицами после напряженного учебного года в Аргайлле.

– Вот и все, – повторил Смайли.

Что подействовало на нас? Его ли внезапное молчание? Его изменившийся голос? Или сделанный им почти пасторский жест, или его коренастая фигура, напрягшаяся то ли от благочестия, то ли от решимости? Я тогда не смог бы ответить на это, не могу и сейчас. Но, ни на кого не глядя, я почувствовал, что все как-то насторожились, будто Смайли призвал нас к оружию. Хотя то, о чем он теперь рассказывал, в одинаковой мере звучало призывом как сложить его, так и взять его в руки.

– Все кончено, закончил и я. Совершенно категорически. Пора опустить занавес перед бывшим воином “холодной войны”. И, пожалуйста, не просите, никогда не просите меня вернуться. Новым временам нужны новые люди. Ни в коем случае не старайтесь подражать нам.

Я думал, что он на этом и закончит, но Джордж, как всегда, был непредсказуем. Насколько мне известно, он заранее заучил свою заключительную речь, он работал над ней, репетировал каждое слово. Как бы то ни было, на него подействовало наше молчание, как, впрочем, и наше желание быть участниками церемонии. И в самом деле, в тот момент мы так сильно полагались на него, что, повернись он и уйди прочь, не сказав нам ни слова, наше разочарование превратило бы любовь к нему в раздражение.

– Я всегда думал только о человеке, – заявил Смайли. В типичной для него манере он начал с загадки, сделал паузу и только потом объяснил, что имеет в виду. – Мне всегда было наплевать на идеологию, если только она не преследовала безумных или злонамеренных целей. Я всегда считал, что надстройка не стоит составляющих ее частей и что политика служит лишь оправданием безразличия. Человек, а не массы – вот наш девиз. Именно человек покончил с “холодной войной” – на случай, если вам это невдомек. Не оружие, не техника, не армии и не кампании. А просто человек. И, кстати, так уж случилось, не человек с Запада, а

наш заклятый враг с Востока; это он вышел на улицы, подставляя себя под пули и дубинки, и заявил: с нас хватит. Именно у их короля, а не у нашего хватило мужества подняться на трибуну и признаться, что он голый. А идеология плелась за этими немыслимыми событиями как обреченный преступник, что характерно для идеологии, когда она отстает от жизни. А все потому, что у нее нет собственного сердца. Она – проститутка и ангел наших с вами устремлений. Когда-нибудь история назовет победителя. Если Россия станет страной демократии, тогда Россия будет победительницей. И если Запад захлебнется собственным материализмом, тогда Запад может оказаться побежденным. История хранит свои тайны дольше, чем большинство из нас. Но она обладает одной тайной, которой я поделюсь сегодня с вами при условии полной конфиденциальности. Иногда победителей не бывает вовсе. Иногда не нужно иметь и побежденных. Вы спросили меня: как сейчас следует относиться к России?

А спрашивали ли мы его об этом? Что побудило его сменить тему? Что верно, то верно, мы немного поговорили о развале Советской империи, мы рассуждали о неуклонном подъеме Японии и исторических сдвигах в области экономики. И во время непринужденной беседы после ужина, да, верно, кто-то коснулся моей службы в Русском Доме, кто-то поинтересовался ближневосточным вопросом и работой Смайли в комитете по правам рыболовства, что благодаря Тоби стало достоянием гласности. Но Джордж, кажется, счел нужным ответить на другой вопрос.

– Вы спрашиваете, – продолжал он, – можно ли доверять Медведю? Вам кажется забавным, вам немного не по себе от того, что с русскими можно говорить как с людьми и находить с ними много общего по ряду вопросов. Я дам вам сразу несколько ответов.

Первый – нет. Медведю нельзя доверять никогда. Прежде всего, Медведь сам себе не доверяет. Медведю грозит опасность, Медведь перепуган, и Медведь распадается на части. Медведь испытывает отвращение к своему прошлому, досадует по поводу настоящего и страшится будущего. Что с ним бывало не раз. Медведь разорен, ленив, капризен, некомпетентен, хитер, непомерно горд, опасно вооружен, порою блестящ, часто невежествен. Без своих когтей он превратится в еще одного безалаберного члена “третьего мира”. Но он отнюдь не потерял свои когти. И за один день он не может вывести свои войска из-за рубежа, хотя бы потому, что их негде расквартировать, нечем кормить, да и доверять им тоже нельзя. А поскольку наша Служба призвана не утрачивать бдительности, мы пренебрегли бы своим долгом, если бы на мгновение ослабили наблюдение за Медведем и его непокорными детенышами. Это мой первый ответ.

Второй ответ – да, мы можем целиком доверять Медведю. Медведь никогда прежде не заслуживал такого доверия. Медведь просится к нам, он жаждет переложить на нас свои беды, открыть у нас свой банковский счет, ходить по магазинам у нас на Главной улице и стать уважаемым членом нашего леса, так же как и своего, – и все потому, что его общество и экономика в состоянии развала, его природные богатства растаскиваются, а его руководители некомпетентны сверх всякой меры. Медведь так отчаянно нуждается в нас, что мы можем спокойно позволить ему в нас нуждаться. Медведь страстно желает покончить со своей страшной историей и выйти из мрака последних семидесяти или семисот лет. Мы для него и есть дневной свет.

Беда в том, что мы на Западе традиционно не доверяем Медведю, будь то Белому или Бурому, или Бело-Бурому, каким он сейчас и является. Без нас Медведь может попасть в беду, но многие полагают, что он именно это и заслужил. Точно так же было в 1945 году, когда находились люди, считавшие, что поверженная Германия должна оставаться в руинах до конца света.

Смайли замолчал и, казалось, раздумывал, все ли он сказал. Он взглянул на меня, но я предпочел отвести глаза в сторону. Вопрошающее молчание побудило его продолжить.

– Медведь будущего станет таким, каким мы его сделаем, а причин для того, чтобы сделать его каким-то, несколько. Первая – это обычное чувство приличия. Если ты помог невиновному человеку избежать тюрьмы, то самое малое, что ты можешь для него сделать, – это дать ему миску супа и возможность занять свое место в свободном мире. Вторая причина настолько очевидна, что, наверное, излишне ее упоминать. Россия, даже собственно Россия, без ее владений, – огромная страна с огромным населением, находящаяся в сердце земного шара. Бросить Медведя на произвол судьбы? Сделать так, чтобы он стал обиженной, отсталой, набитой вооружениями страной вне нашего лагеря? Или превратить его в партнера в ежедневно меняющемся мире?

Он взял свой шаровидный бокал и задумчиво уставился на него, вращая оставшееся в нем бренди. У меня возникло ощущение, что расставание дается ему тяжелее, чем он предполагал.

– Да. Хорошо, – пробормотал он, будто отвечая на собственные мысли. – Но вам придется не только свои головы переделывать, а сверхмощное современное Государство, сооруженное нами для защиты от того, чего уже не существует. Во имя свободы мы пожертвовали слишком многими свободами. А теперь нам нужно вернуть их.

Он застенчиво улыбнулся, и я понял, что он пытается рассеять собственные чары, под которыми мы оказались.

– Так что, прилежно исполняя свой долг перед Государством, сделайте мне небольшое одолжение: время от времени налегайте на его устои. В последнее время Государство несколько выросло из своей одежды. Было бы хорошо, если бы вам удалось подогнать его по ее размеру. Нед, я – зануда. Пора отправлять меня домой.

Он резко встал на ноги, будто стряхивая с себя что-то такое, что угрожало его свободе. Затем он нарочито медленно обвел комнату взглядом – не студентов, а старые фотографии и трофеи его времени, по-видимому, запоминая их. Он прощался со своим домом после того, как завещал его наследникам. Затем он вдруг принялся суетливо искать свои очки, пока не обнаружил их у себя на носу. Потом он расправил плечи и зашагал целеустремленно к двери, которую два студента бросились открывать перед ним.

– Так. Хорошо. Доброй ночи. И спасибо. Да, напомни им, чтобы приглядывали за озоновым слоем, хорошо, Нед? Для этого времени года в Сент-Эгнес что-то уж слишком жарко.

И он вышел, не оборачиваясь.

Глава 13

Ритуал выхода на пенсию в Службе, вероятно, не более мучителен, чем в любом другом ведомстве, но он по-своему пикантен. Здесь нет ностальгических церемоний: обедов со старыми знакомыми, приемов для сотрудников, обмена крепкими рукопожатиями с секретаршами старшего возраста со слезами на глазах, визитов вежливости в родственные учреждения. А вместо этого – процедура забвения, при которой вы мало-помалу освобождаетесь от специальных сведений, недоступных простым смертным. Для того, кто всю жизнь работал на Службу, включая три года во внутреннем секретариате Барра, эта процедура может быть тягостной и многоступенчатой, даже если сами секреты ушли в отставку гораздо раньше вас. Запертый наедине с Палфри в его затхлой юридической конторе, к счастью, нередко после вкусного обеда, я подписывал один эпизод своего прошлого за другим, покорно бормоча за ним одну и ту же скромную английскую клятву и каждый раз выслушивая его неискреннюю угрозу кары на случай, если тщеславие или деньги побудят меня эту клятву нарушить.

Я бы вводил нас обоих в заблуждение, если бы притворялся, будто совокупное бремя этих процедур постепенно не начинает давить на меня и не заставляет мечтать о том, чтобы приблизить день моей казни, а то и вовсе считать ее состоявшейся. Ибо с течением времени я стал себя чувствовать как человек, который смирился со смертью, но вынужден расходовать остаток своих сил на то, чтобы утешать остающихся в живых.

Поэтому для меня стало большим облегчением, когда однажды, сидя в отвратительном логове Палфри и ожидая, что через три дня меня наконец или отпустят, или посадят, я получил недвусмысленный приказ явиться к Барру.

– У меня для вас задание. Оно придется вам не по вкусу, – заверил он меня и бросил трубку.

Он все еще был вне себя, когда я вошел в его эффектный кабинет в стиле модерн.

– Вам надлежит прочитать его досье, затем отправиться в деревню и урезонить его. Постарайтесь его не обидеть, но если вы ненароком свернете ему шею, то убедитесь в моей терпимости.

– А кто он?

– Одна из последних реликвий Перси Оллилайна. Один из этих толстопузых магнатов из Сити, с которыми Перси любил играть в гольф.

Я посмотрел на обложку верхнего тома. "БРЭДШО, – прочитал я, – сэр Энтони Джойстон". И мелким шрифтом внизу: "индекс актива", что означает, что человек этот считался союзником Службы.

– Вам надлежит улестить его, это – приказ. Обратитесь к лучшей части его натуры, – сказал Барр тем же злым тоном. – Может, он прислушается к словам ветерана государственной службы. Верните его в отчий дом.

– А почему мне?

– Так пожелало святое министерство иностранных дел. А кто же, по-вашему?

– Почему бы им самим не улестить его? – сказал я, с любопытством вглядываясь в его послужной список на первой странице. – Мне казалось, им за это платят.

– Они пытались. Младший советник ездил его умасливать. Сэр Энтони лести не поддается. Ему слишком многое известно. Он может назвать ряд имен и указать перстом. Сэр Энтони Брэдшо, – Барр повысил голос с типичным для северянина взрывом возмущения. – Сэр Энтони Джойстон Брэдшо, – поправился он, – типичное английское дерьмо; прикидываясь, будто оказывает услуги нашей стране, он скорее собирал сведения о неблаговидной деятельности правительства Ее Величества, чем снабжал правительство информацией о наших соперниках. Соответственно он держит правительство Ее Величества за яйца. Ваше задание – убедить его – притом очень вежливо – ослабить хватку. Вашим оружием будут ваши седые локоны и явная доброта, которую, как я убедился, вы не прочь пускать в ход в неблаговидных целях. Он ждет вас сегодня в пять вечера, и ему нравится пунктуальность. Китти освободила для вас стол в приемной.

Некоторое время спустя мне объяснили, чем вызвано возмущение Барра. В нашей профессии ничто так не раздражает, как необходимость разгребать неаппетитные объедки предшественников; отвратительным примером этого служит сэр Энтони Джойстон Брэдшо, самозваный предприниматель-авантюрист и магнат из Сити. Оллилайн подружился с ним в своем клубе, естественно. Оллилайн завербовал его. Оллилайн прикрывал целый ряд его темных делишек, едва ли представлявших ценность для кого-либо, кроме самого сэра Энтони; уже тогда высказывались тревожные предположения, что Оллилайн входил с ним в долю. Когда возникала угроза скандала, Оллилайн укрывал сэра Энтони под надежным зонтиком Цирка. Но хуже всего, что многие из дверей, открытых Оллилайном для сэра Энтони, похоже, остались открытыми по той простой причине, что никто не удосужился их закрыть. И вот теперь Брэдшо вошел в одну из этих дверей, вызвав тем самым вопли возмущения со стороны министерства иностранных дел и половины Уайтхолла.

Я получил в библиотеке военно-топографическую карту, а в гараже взял "Форд-Гранаду" и в два тридцать отправился в путь, держа в голове материалы досье. Порой забываешь, до чего хороша Англия. Я проехал Ньюбери и начал взбираться по извилистой горной дороге,

окаймленной буковыми деревьями, продолговатые тени которых напоминали траншеи, вырытые в золотистом жнивье. Запах полей заполнил машину. Я достиг перевала, где меня поджидали замки из белых облаков. Должно быть, я вспомнил свое детство, потому что у меня вдруг возникло желание въехать прямо в эти замки; это часто мне снилось, когда я был еще ребенком. Машина качнулась вперед, перешла на какой-то момент в свободное падение, и вдруг подо мной открылась целиком вся долина с разбросанными по ней деревушками, церквами, пастбищами и лесами.

Я миновал трактир и вскоре оказался перед великолепными с позолотой воротами, установленными меж двух столбов, увенчанных каменными львами. Ладный молодой человек наклонился к открытому окну машины и окинул меня взглядом снайпера.

– К сэру Энтони, – сказал я.

– Имя, сэр?

– Карлайл, – ответил я, в последний раз прибегая к своему псевдониму.

Молодой человек удалился в сторожку, ворота открылись и, как только я проехал, сразу же закрылись. Парк был огорожен высокой кирпичной стеной, тянувшейся, по-видимому, на несколько миль. В тени каштанов лежали лани. Дорога пошла вверх, и передо мной предстал дом. Он был золотистого цвета, безупречно вылизан и огромен. Центральная его часть была выдержана в старом колониальном стиле. Боковые пристройки выглядели моложе, но не намного. Перед домом плескалось озеро, а позади него расположились огороды и парники. Старые конюшни были переоборудованы в служебные помещения с оригинальными наружными лестницами и остекленной галереей. Садовник поливал растения в оранжерее.

Дорога обогнула озеро и привела меня к парадному подъезду. Две арабские кобылы и лама разглядывали меня поверх ограды круглого манежа. По ступеням спустился молодой дворецкий в черных брюках и полотняном пиджаке.

– Поставить вашу машину за домом, мистер Карлайл, после того, как я вас представлю? – спросил он. – Сэр Энтони любит, чтобы фасад был по возможности свободным, сэр.

Я отдал ему ключи и последовал за ним по широким ступеням. Я насчитал их девять, хотя не могу сказать, почему я их считал; быть может, потому, что на занятиях по развитию наблюдательности в Сэррате мы обучались чему-то подобному, а последние несколько недель моя жизнь из непрерывного процесса превратилась в мозаику разных периодов и переживаний. Если бы ко мне энергичной походкой подошел Бен и схватил за руку, я, пожалуй, тоже не особенно удивился бы. Если бы появились Моника и Салли с обвинениями в мой адрес, у меня были бы наготове ответы.

Я вошел в огромный зал. Великолепная двойная лестница вела на открытую площадку. Сверху вниз на меня смотрели портреты благородных предков – все мужского пола, – но мне почему-то было сомнительно, что они принадлежат к одной семье или что долго здесь прожили без женщин. Я прошел через бильярдную, обратив внимание, что и стол, и кии были новыми. Возможно, я видел все так отчетливо, потому что делал это как бы в последний раз. Я проследовал за дворецким через солидную гостиную, пересек еще одну комнату, забранную в зеркала, а потом и еще одну, считавшуюся, видимо, не парадной, где стоял телевизор размером с одну из тех старинных тележек мороженщиков, которые солнечными вечерами останавливались возле нашей начальной школы. Мы оказались перед величественной двойной дверью, в которую и постучал дворецкий. Затем мы ждали, пока кто-нибудь отзовется. Будь Брэдшо арабом, нам пришлось бы ждать часами, подумал я, вспомнив Бейрут.

Наконец я услышал протяжный мужской голос: "Войдите", – и дворецкий, сделав шаг внутрь комнаты, объявил: "Мистер Карлайл, сэр Энтони, из Лондона".

Я не говорил ему, что я из Лондона.

Дворецкий отступил в сторону и позволил мне в первый раз взглянуть на хозяина, хотя последнему понадобилось больше времени, чтобы впервые увидеть мистера Карлайла.

Он восседал за письменным столом длиной в двенадцать футов, инкрустированным бронзой и с гнутыми ножками. Позади него висели современные портреты маслом, изображавшие избалованных детей. Его почта лежала на подносах из толстой стеганой кожи. Это был крупный упитанный мужчина, явно работящий, потому что он разделся до синей сорочки с широким, как у акушерки, белым воротником; на нем были подтяжки красного цвета. Он был так занят, что не обратил на меня внимания. Вначале он читал, водя по строчкам золотой ручкой, затем той же золотой ручкой поставил свою подпись. Потом он задумался, все еще не поднимая головы и сосредоточив свои великие мысли на кончике золотой ручки. Его золотые запонки были не меньше старинного пенни. Наконец он положил ручку и с обиженным, почти страдальческим видом поднял голову и сперва обнаружил меня, а затем оценил по своим меркам, в которых мне еще предстояло разобраться.

В тот самый момент природа так распорядилась, что сноп закатного солнца проник через доходящее до пола окно и упал на лицо Брэдшо, дав и мне возможность оценить его: грусть в его припухлых глазах, будто он достоин жалости за свое богатство, жесткий маленький рот, неровно втиснутый в морщинистый подбородок, выражение лица решительное, но от слабости, от подозрительности ребенка в мире взрослых. В сорок пять этот упитанный ребенок был не умиротворен и винил одного из отсутствующих родителей за полученные блага.

Ни с того ни с сего Брэдшо вдруг зашагал по направлению ко мне. Крадучись? Или как идут вброд? В Англии власть имущие обладают сейчас особой походкой, представляющей собой соединение сразу нескольких вещей: самоуверенность – одна из них, налет спортивности с ленцой – другая. Но в ней просматриваются и угроза, и нетерпение, и спокойная агрессивность, о которой говорят расставленные по-крабьи локти, не дающие никому прохода, и сутулые по-боксерски плечи, и игривая пружинистость в коленях. Еще задолго до того, как пожать ему руку, вы знаете, что он держится в стороне от целой категории явлений повседневной жизни, начиная с искусства и кончая общественным транспортом. Вас молчаливо предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию, если вам это было невдомек.

– Вы один из ребят Перси, – сообщил он на случай, если я вдруг об этом позабыл, оценив тем временем мою руку и придя к неутешительному выводу. – Ну, ну. Давно не виделись. Лет десять, больше. Угощайтесь. Возьмите шампанское. Берите что хотите. – Последовало приказание Саммерсу: – Принесите нам бутылку шампуня, ведерко льда, два бокала и отваливайте. И орешков! – прокричал он ему вслед. – Кэшью. Из Бразилии. Кучи этих чертовых орешков – любите орешки? – вопросил он неожиданно с располагающей теплотой.

Я сказал, что люблю.

– Хорошо. Я тоже. Люблю их. Вы пришли, чтобы зачитать указ о бунте. Верно? Валяйте. Я не из стекла сделан.

Он распахивал окна, чтобы я мог лучше полюбоваться его владениями. Для этого маневра он избрал другую походку, с раскачиванием рук в ритме неслышного марша. Открывая окна, он показал мне свою спину; он поднял руки и уперся ладонями в раму, наподобие мученика, ожидающего стрелу. Типичная для Сити прическа, подумал я: много волос у воротника с небольшими рожками над ушами. Долина в золотистых, коричневых и зеленых тонах мягко растворялась в вечности. Нянька гуляла с младенцем среди оленей. На ней коричневая шляпка с поднятыми кверху полями и коричневое платье, наподобие униформы девочек-скаутов. Поляна была подготовлена для игры в крокет.

– Мы всего-навсего обращаемся к вам с просьбой, сэр Энтони, – сказал я. – Просим вас еще об одном одолжении, как в свое время это делал Перси. В конце концов, вы ведь благодаря Перси получили титул, не так ли?

– Да пошел он, этот Перси. Умер, наверное? Никто ничего мне не дает, благодарю покорно. Сам беру. Что вам нужно? Выкладывайте, прошу вас. Мне тут одну проповедь уже прочитали. Этот надутый Сейвори из министерства иностранных дел. Я стегал его еще в школе, а он подхалимничал передо мной. Хныкал тогда, хныкает и сейчас.

Он продолжал стоять с поднятыми руками, его спина агрессивно напряглась. Я мог ответить, но почему-то чувствовал себя не в форме. За три дня до ухода на пенсию я начинал понимать, что весьма поверхностно знаком с реальным миром. Саммерс принес шампанское, открыл его и наполнил два бокала, которые подал на серебряном подносе. Брэдшо схватил один из них и вышел в сад. Я последовал за ним на середину травянистой аллеи. По обе стороны от нас росли высокие азалии и рододендроны. В дальнем конце аллеи в обрамленном камнем бассейне играл фонтан.

– Вы получили право владения поместьем, когда купили этот дом? – спросил я, полагая, что небольшой светский разговор поможет мне собраться с мыслями.

– Предположим, получил? – огрызнулся Брэдшо, и я понял, что он не желает, чтобы ему напоминали, что он купил, а не унаследовал этот дом.

– Сэр Энтони, – сказал я.

– Ну?

– Речь идет о ваших взаимоотношениях с бельгийской компанией “Астрастил”.

– Я о такой не слышал.

– Но вы ведь с ними связаны, не так ли? – сказал я с улыбкой.

– Не связан и никогда не был связан. То же самое я говорил Сейвори.

– Но у вас в “Астрастил” есть авуары, сэр Энтони, – возразил я терпеливо.

– Ноль. Полная чушь. Другой мужик, неверный адрес. Говорил ведь ему.

– Но вы стопроцентный собственник компании “Оллметал оф Бирмингем лимитед”, сэр Энтони. А “Оллметал” из Бирмингема владеет компанией под названием “Евротех Фандинг энд Импорте лимитед” на Бермудах, не так ли? А “Евротех” с Бермудских островов является собственницей бельгийской “Астрастил”, сэр Энтони. Так что можно утверждать, что между вами и компанией, являющейся собственностью компании, которой владеете вы, существует определенная связь. – Я все еще улыбался, все еще пытался урезонить его.

– Никаких авуаров, никаких дивидендов и влияния на дела “Астрастил”. Все это далеко от меня. Я уже говорил Сейвори, повторяю то же и вам.

– Тем не менее, когда Оллилайн предложил вам – в старые времена, но не так уж, верно, давно, правда? – сделать поставки кое-каких товаров в кое-какие страны, не входящие, строго говоря, в список покупателей этих товаров, вы прибегли к помощи именно “Астрастил”. А “Астрастил” поступила так, как вы ей велели. Ибо в противном случае Перси к вам бы не обратился, так ведь? Вы были бы ему бесполезны. – Улыбка застыла у меня на лице. – Мы – не полицейские, сэр Энтони, мы не налоговые инспекторы. Я просто напоминаю вам о некоторых взаимоотношениях, которые – как утверждаете вы – неподвластны закону, но которым и полагалось, при активном вмешательстве Перси, быть таковыми.

Мое выступление показалось мне таким неубедительным, таким беззубым, что Брэдшо, решил я, и не подумает как-то на него отреагировать.

В общем, я был прав, потому что он лишь пожал плечами и произнес:

– Какого хрена вы это сюда приплели?

– По многим причинам. – Я почувствовал, как во мне заиграла кровь, и я ничего не мог с собой поделать. – Мы просим вас угомониться. Прекратить. У вас есть титул, огромное состояние, вы обязаны выполнять свой долг перед страной, как и двадцать лет назад. Поэтому убирайтесь с Балкан и прекратите будоражить их с помощью сербов, прекратите вмешиваться

в дела Центральной Африки, перестаньте завлекать их продажей оружия в кредит, прекратите, наконец, наживаться на войнах, которых вообще могло бы не быть, если бы вы и вам подобные не грели на них руки. Вы – британец. У вас в кармане больше денег, чем большинство из нас имело за всю жизнь. Прекратите. Это все, о чем мы просим. Времена изменились. Мы в эти игры больше не играем.

Я вообразил на мгновение, что произвел на него впечатление, ибо он обратил свой тусклый взгляд на меня и оглядел, будто человека, которого в конце концов стоило, пожалуй, купить. Но его интерес тут же погас, и он снова погрузился в уныние.

– К вам обращается ваша страна, Брэдшо, – по-настоящему разозлился я. – Господи, да что же вам еще нужно? Неужто у вас нет и зачатков совести?

Я приведу его ответ слово в слово, потому что по просьбе Барра я положил в карман пиджака магнитофон и резкий гнусавый голос Брэдшо записался очень отчетливо. Я постараюсь как можно точнее передать и его голос. Он говорил так, будто английский не был его родным языком, хотя никаким другим он не владел. Он говорил, по свидетельству моего сына Адриана, "небрежно глотая слова", что характерно для протяжного кокни обитателей Белгрейвии, ухитряющихся так произносить окончания, что и не угадаешь, об одной вещи идет речь или о нескольких, и почти полностью пренебрегающих такой формальностью, как предлоги. У них свой лексикон, разумеется: у них "повышение" – это "эскалация", если возможность, то "блестящая", а любое событие – обязательно "сенсационное". Их речь характерна педантичной неточностью, что должно выделять их из среды нечистых, в результате чего возникают такие перлы, как "что касается вам". Но даже и без магнитофона я, кажется, запомнил бы каждое его слово, ибо его монолог прозвучал как вечерний боевой клич из мира, который я оставлял на произвол судьбы.

– Прошу прощения, – начал он, что уже было неправдой. – Мне послышалось или вы действительно апеллировали к моей совести? Хорошо. Отлично. Сделаю официальное заявление. Не против? Начинаем. Пункт первый. Вообще-то только один пункт и есть. Мне насрать. Разница между мной и остальными такова: я это признаю. Если орда черномазых – да, я сказал – черномазых и не оговорился – черномазых, – если эти черномазые завтра перестреляют друг друга с помощью моих игрушек, а я на этом кое-что заработаю, то лучшего мне не надо. Потому что, если не я продам им товар, то продаст кто-нибудь другой. Правительство раньше понимало это. А коль они дают теперь слабину, то это их головная боль. Пункт второй. Вопрос: слышали, чем сейчас занимаются молодцы из табачного бизнеса? Забивают высокотоксичный табак этим волосатым: он-де развивает похоть и лечит простуду. И что эти молодцы? Думаете, сидят дома и страдают, что туземцы заболевают раком легких? Как бы не так. Хорошо подать товар умеют – и точка. Возьмите наркотики. Вам лично не нравятся. Вам они не нужны. Ладно. Если есть добровольный продавец и добровольный покупатель, мой вам совет: отойдите в сторонку, пусть столкуются между собой, и привет им горячий. Если не помрут от наркотиков, то окочурятся от загрязненной атмосферы или поджарятся от глобального потепления. Говорите, британец. Между прочим, горжусь этим. Горжусь также своей школой. Умением владычествовать. Эта традиция по наследству передается. Если кто мне перечит, я того ломаю. Или он ломает меня. Дисциплина, кстати, тоже имеет значение. Порядок. Брать на себя ответственность за свой класс и воспитание, побеждать иностранца на его поле. Думал, вы-то уж точно в эту игру играете. Видно, ошибся. Нарушена связь. Что беспокоит, так это качество жизни. Этой жизни. Точнее, ее нормы. Старый мир – наплевать. Эти нормы. Напыщенный, думаете. Пусть я напыщенный. Хрен с вами. Я – фараон, верно? Если нужно, чтобы несколько тысяч рабов погибли на строительстве моей пирамиды, пускай. Такова природа. А если они сумеют заставить меня помереть за их хренову пирамиду, честь им и хвала. Знаете, что у меня в подвале? Железные кольца. Ржавые железные кольца, встроенные в стены, когда сооружался этот дом. Знаете, кому они предназначались? Рабам. Это – тоже природа. Бывший владелец дома, тот, кто его построил,

человек, который заплатил за него, человек, который послал архитектора в Италию учиться ремеслу, этот человек был владельцем рабов, и жили они у него в подвале. Думаете, сейчас нет рабов? Думаете, капитал не зависит от рабов? Боже правый, чему вас только учат? Обычно не люблю философствовать, но, боюсь, не люблю и когда мне читают мораль. Этого не потерплю, понимаете. Во всяком случае, не в своем доме, благодарю покорно. Это меня раздражает. Вообще-то зря я не завожусь, знаменит своей выдержкой. Но имею свой взгляд на природу: даю людям работу, беру свою долю.

Я промолчал, и это – тоже на пленке.

Что можно сказать, когда имеешь дело с абсолютной категорией? Всю свою жизнь я боролся против зла, возведенного в устои. У него было название и нередко была страна обитания. У него были общественное предназначение и общественная цель. Но зло, стоявшее передо мной сейчас, было страшным младенцем из нашей собственной среды, и я в свою очередь тоже превратился в младенца, обезоруженного, безмолвного младенца, которого предали. В какой-то момент я подумал, что всю свою жизнь я боролся не с тем врагом. Затем мне показалось, что Брэдшо лично похитил плоды моей победы. Я вспомнил афоризм Смайли о том, что праведные люди терпят поражение в "холодной войне", а неправедные побеждают, и хотел было повторить его в обидной для Брэдшо форме, но потом решил, что все это было бы впустую. Я хотел было сказать, что после поражения коммунизма нам надо приняться за капитализм, но я не это имел в виду: зло не в системе, а в человеке. К тому же тут он вдруг поинтересовался, не пожелаю ли я остаться на ужин; я вежливо отклонил предложение и уехал.

Как бы то ни было, на ужин меня пригласил Барр, и мне приятно сказать, что помню о нем довольно мало. Через два дня я сдал свой пропуск в Управление.

** * **

Смотришь на свое лицо и не узнаешь самого себя. Вспоминаешь, куда девалась любовь, что нашел, чего добивался. Хочется сказать: "Я поразил дракона, и мир стал безопаснее". Но не можешь, пока не можешь. Вероятно, я не смог бы никогда.

Мы с Мейбл живем хорошо. Не сожалеем о том, чего нельзя изменить. Не ссоримся. Мы – цивилизованные люди. Купили коттедж на побережье. За ним протянулся участок, которым мне хочется заняться, посадить деревья и сделать аллею с видом на море. Я участвую в работе парусного клуба для детей из бедных семей; мы привозим их из Хэкни, и детишкам здесь нравится. Меня собираются выдвинуть в местный совет. Мейбл посещает церковь. Время от времени я езжу в Голландию, где у меня несколько родственников.

Иногда нас навещает Барр. Это мне в нем нравится. Он хорошо ладит с Мейбл, что не удивительно. Не пытается умничать. Болтает с ней о ее акварелях. Не высказывает суждений. Мы открываем бутылку, готовим цыпленка. Он рассказывает мне последние новости и возвращается в Лондон. О Смайли ни слуха, ни духа, но этого он и хотел. Ему ненавистна ностальгия, несмотря даже на то, что он – часть ностальгии других.

На самом деле отставки как таковой не существует. Порой слишком много знаешь, а справиться с этим не можешь; по-моему, все дело в возрасте. Я много читаю. Разговариваю с людьми, езжу в автобусах. Я – новичок в этом открытом мире, но я его познаю.

[1] Эксетер-колледж – один из старейших колледжей Оксфордского университета. Основан в 1314 году. (Здесь и далее примечания редактора.)

[2] Тайный агент (жарг.).

[3] Пайд Пайпер – герой поэмы Браунинга.

[4] Военное училище сухопутных войск, которое находится близ деревни Сандхерст.

[5] На Западе первый этаж соответствует нашему второму.

[6] Регбийный стадион в предместье Лондона.

[7] Известный крикетный стадион в Лондоне.

[8] До бесконечности (лат.).

[9] Несравненна (фр.).

[10] Монах, член ордена траппистов.

[11] Счастливого возвращения (нем.).

[12] Капитан I ранга (нем.).

[13] Не так ли, Белла? Ведь станешь крупным профессором? (нем.)

[14] Домашняя куртка (нем.).

[15] Конечно (нем.).

[16] Фешенебельный лондонский клуб путешественников; обязательное условие членства – поездка не менее чем на 500 миль от Лондона.

[17] Улица в Лондоне, на которой находятся редакции большинства крупнейших газет.

[18] Желаю удачи (идиш).

[19] Свод правил профессионального бокса. Составлен в 1867 году.

[20] "Крысы пустыни" – название 7-й бронетанковой дивизии (по эмблеме дивизии – изображению тушканчика). В 1941 – 1942 годах дивизия вела бои в Африке.

[21] Крест Виктории – высший военный орден; им награждаются военнослужащие и гражданские лица за боевые подвиги. Учрежден королевой Викторией в 1856 году.

[22] Лондонский спортивный клуб. На его закрытых кортах проводятся матчи по скуошу.

[23] Фешенебельные районы Лондона.
